

СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ
РУСИСТИКА



Маркус Ч. Левитт
ЛИТЕРАТУРА И ПОЛИТИКА:
ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
1880 ГОДА

ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО



СОВРЕМЕННАЯ
ЗАПАДНАЯ
РУСИСТИКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

Маркус Ч. Левитт

ЛИТЕРАТУРА

И ПОЛИТИКА:

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

1880 ГОДА

МСМХСІV

83.34 США

Л36

Studies of the Harriman Institute
LEVITT, MARCUS C.
**Russian Literary Politics
and the Pushkin Celebration of 1880**

Перевод с английского
И. Н. Владимирова (гл. I—IV) и *В. Д. Рака* (гл. V—VI)
Перевод комментариев *М. Б. Кутеевой*

Научный редактор
доктор филологических наук
В. Д. Рак
Председатель редакционной коллегии серии
«Современная западная русистика»
Б. Ф. Егоров

ISBN 5—7331—0024—9

© Cornell University Press, 1989

© Гуманитарное агентство «Академический проект», перевод с разрешения издательства Корнельского университета (США), 1994

© В. В. Бродский, оформление, 1994

Литература — это и наш Парламент. Книгопечатание, необходимо следующее за письменностью, как я часто говорил, равноценно демократии: с изобретением письменности демократия становится неизбежной. <...> Народом управляют те, чей голос народ слышит: вот что такое, собственно, демократия. Прибавьте к этому только необходимость всякой существующей власти постоянно совершенствовать себя; работая тайно, под повязками, во мраке, среди помех, она не будет знать покоя, покуда не научится действовать открыто, беспрепятственно, очевидно для всех. Раз возникшая демократия непременно станет осязательной.

Томас Карлейль. «О героях, о культе героев и о героическом в истории» (1840).

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет.

Н. В. Гоголь. «Несколько слов о Пушкине» (1834).

... новое мнение о таком великом явлении, как Пушкин, не могло образоваться вдруг и явиться совсем готовое; но, как все живое, оно должно было развиваться из самой жизни общества; — каждый новый день,

каждый новый факт в жизни и в литературе должны были изменять и образ воззрения на Пушкина.

В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина» (1843).

Он растворен в воздухе, которым мы дышим. Он в хлебе, который мы едим, в вине, которое пьем. Разве его стихи стоят у нас на полке? Нет, они всегда с нами, растворены в нашей крови.

Александр Кушнер. «Слово о Пушкине» (1987).

И уже не столько Пушкин — наш национальный поэт, сколько отношение к Пушкину стало как бы национальной нашей чертой.

Андрей Битов. «Статьи из романа» (1986)..

ВВЕДЕНИЕ

ПУШКИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В 1880 г. И КРИЗИС РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В первых числах июня 1880 г. в Москву на торжества по случаю открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину собрался цвет русской интеллигенции. Впервые в Москве был воздвигнут памятник не полководцу, не государственному деятелю, а человеку, прославившемуся своими заслугами на ниве отечественной культуры, и сооружен этот памятник был по предложению общественности и на собранные ею пожертвования. Торжества продолжались три дня и включали в себя публичные речи, парадные обеды, заупокойную литургию и панихиду, литературно-музыкальные вечера, а также тщательно продуманную во всех подробностях церемонию собственно открытия памятника. Они вызвали огромный, небывалый отклик. Никогда еще для того, чтобы воздать честь русской литературе, не собиралось в одном месте столь много ведущих деятелей отечественной культуры и законодателей общественного мнения: выдающихся романистов, поэтов, драматургов, издателей и редакторов газет и журналов, критиков и журналистов, деятелей просвещения и ученых, актеров, художников, музыкантов, официальных представителей городской и государственной власти. Список принявших участие представляет собою нечто вроде справочника «Кто есть кто» в русской культуре 1860-х — начала 1880-х годов, включая имена Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Г. И. Успенского, И. С. Аксакова, Н. Н. Страхова, П. В. Анненкова, А. А. Краевского, А. С. Суворина, М. Н. Каткова, Н. Г. Рубинштейна, В. О. Ключевского и мн. др.

Современники «Пушкинских дней» 6—8 июня 1880 г. сознавали, что на их глазах совершается важное историческое событие. Газеты провозглашали: открытие памятника «знаменует перелом в нашей жизни» («Русский курьер»); «Эти минуты чистого восторга перед великим образом русского гения занесутся неизгладимыми чертами в летописи русской литературы», «...событие (...) громадной важности для истории нашего развития и культуры» («Голос»);¹ «Никогда еще празднества подобного рода, бывшие на Руси, не имели (...) такого общего значения, не принимали (...) такого общественного характера», это торжество «получило крупное историческое значение» («Неделя»);² «Вчерашний день (6 июня 1880.— М. Л.) должен быть отмечен в истории развития России, в истории Москвы! (...) Первою заветною вехою в дальнейшем, безостановочном развитии русского народа ставим мы этот грандиозный, полный высокого смысла праздник. (...) Прожитые знаменательные дни, мы верим, послужат эпохой, поворотным пунктом» («Современные известия»);³ И. С. Аксаков назвал торжества «истинным событием в историческом развитии русского общества, — великим актом нашего народного самосознания, новою эрою, поворотным пунктом для наших молодых поколений».⁴ Даже крайне консервативный К. Н. Леонтьев, осуждавший то, как «либералы» использовали празднование в своих целях, предположил (не без иронии?), что оно предвещало «глубокий исторический переворот» в русской жизни, сравнимый с крещением Руси и насильственной европеизацией России Петром Великим.⁵

Сам тип «литературного праздника» был заимствован из-за границы и восходил, по меньшей мере, к знаменитому Шекспировскому юбилею, проведенному в 1769 г. Дэвидом Гарриком и впоследствии служившему образцом для других подобных празднеств, которые к 1880 г. стали обычными на сцене европейской культуры.⁶ Как и юбилей, распорядителем которого был Гаррик, Пушкинский праздник длился три дня, проходил в торжественных актах с тематическими речами, музыкальных концертах, общественных манифестациях, а также других мероприятий и привлек к себе большое внимание. Как и Шекспировский юбилей, торжества в Москве дали толчок крутому повороту общественного мнения о поэте и резко количественному всплеску текстологических и литературоведческих исследований.

Однако задолго до Шекспировского юбилея политическая и культурная жизнь Англии обрела прочность и

устойчивость, в то время как в России вопрос о значении Пушкина оказался в центре острой полемики, в которой высказывались сомнения, существуют ли вообще на самом деле русское общество и русская культура. Имя Пушкина получило огромное символическое значение, далеко выходящее за пределы чисто литературной ценности его сочинений. В 1880 г. эта исключительная семиотическая функция Пушкина была очевидна всем. Ведущий газетный обозреватель того времени В. И. Михневич писал: «...дело тут было вовсе не в гг. Тургеневых и Достоевских и не в их чтениях, вовсе даже не в Пушкине, а в той *идее*, выражением и воплощением которой они все стали в глазах публики и в тех невыказанных, но всеми нами ясно — яснее, чем когда-нибудь — почувствованных общественно-интеллектуальных стремлениях, которые носились в атмосфере пушкинских пиршеств и составляли, как бы, душу-живу всего пережитого нами события».⁷

В данной книге предпринята попытка выяснить, в чем состояла эта «идея», и определить ту исключительную роль, которую получил «Пушкин» в русской культуре и культурном самосознании. Поэтому в книге почти ничего не говорится о Пушкине как собственно писателе и о месте его творческого наследия в русской литературе и литературной критике, а внимание сосредоточено на отдельном моменте русской истории, когда политические и духовные чаяния касательно будущего страны вылились в представление об освободительной миссии и подобающем месте независимой литературы, олицетворяемой Пушкиным. Рассматривается в книге и та единственная в своем роде конвергенция сил, которая вызвала это явление.

Поиск русской культурной идентичности

Причины, по которым Пушкин приобрел такое важное значение в глазах своих соотечественников, и то, как это произошло, ярко высвечивают исключительную роль, которую стала играть русская литература в современной культурной жизни России и национальной идентичности. Воздание почестей Пушкину в 1880 г. сулило решение мучавших десятилетиями русскую интеллигенцию «проклятых вопросов» касательно политического будущего России и судьбы ее культуры. С начала века интеллигенция спрашивала себя, когда же Россия, признанная уже вели-

кой европейской державой, перестанет рабски подражать Европе в культурной и умственной сферах жизни. Они знали, что в «цивилизованной» Европе «немая, молчащая» Россия часто упоминалась как культурная пустыня, где нет никаких ростков умственной жизни.⁸ В 1840 г., через три года после смерти Пушкина, Томас Карлейль все еще считал возможным написать, что «царь всея Руси, он силен множеством штыков, казаков и орудий, он совершает великий подвиг, сохраняя политическое единство на таком обширном пространстве; но говорить он еще не умеет. До сих пор он остается громадным немым чудовищем. Его пушки и его казаки превратятся в ржавую труху и канут в небытие, а голос Данте по-прежнему будет звучать. Народ, у которого есть Данте, сплочен так крепко, как не может быть объединена никакая немая Россия».⁹ Чувство нескрываемого превосходства, которое внушало людям, подобным Карлейлю, сознание того, что у них есть свои Данте и Шекспиры, отражалось с русской стороны грызущим чувством неудовлетворенности и даже отчаяния от сознания своей культурной неполноценности. В первой половине XIX в. русские критики постоянно жаловались на то, что «у нас нет литературы», и даже в 1880 г., после плодотворного периода развития литературы, который, с сегодняшней точки зрения, может своим богатством соперничать с Грецией времен Перикла и Елизаветинской эпохой в Англии, многие русские все же сомневались в самом существовании у них и в жизнеспособности общества и культуры.¹⁰

Карлейль сформулировал одну из основных антиномий русской «умственной жизни» — резкое противоположение *государства* со всею его мощною грубою силою и *народа*,¹¹ понимаемого как общая умственная и нравственная жизнь людей, выражаемая его поэтами. Национальный поэт, Данте или Шекспир, олицетворяет собою «голос» народа, его душу, степень его самоудовлетворенности и собственного достоинства; иметь своего Данте значит обладать национальным своеобразием. Непрерывный кризис сознания русской интеллигенции как при царизме, так и при комиссарах имел двойственную природу: с одной стороны, политический гнет и поиски своей надежной, признанной ниши в системе, где все подчинено государству; с другой — ненормальное положение *vis à vis* народа, т. е. вопрос о взаимоотношениях с «простым народом», неграмотным и не подвергшимся европеизации русским крестьянством. Традиционными для русской интеллигенции были вопросы: «Есть ли у нас „умственная

жизнь“?» и «Если есть, то какова должна быть наша роль и какую систему ценностей мы представляем?» Политически не признанный государством, а духовно отделенный от молчащей массы глубокою пропастью, русский интеллигент беспрерывно оказывался перед необходимостью определить свою сущность и хронически ощущал свою отчужденность.

Именно в Пушкине русские обрели своего Данте, оправдание и мерило национального самоуважения, а Пушкинские торжества стали форумом, на котором совершилось признание этого самоуважения, кратким моментом опьянения, когда показалось, что длительный и болезненный конфликт между государством и народом найдет удовлетворительное решение, моментом, когда пути становления и укрепления современной русской национальной идентичности сошлись к литературе, а в центре их схождения оказался Пушкин.

Читатели и общественное мнение

Полный ответ на вопрос, почему так случилось, почему русская литература — и Пушкин — заняли центральное место в русском самосознании, должен учитывать сложное взаимодействие социальных, духовных, умственных, литературных и политических процессов в XIX в. в России. Несколько наметок исследования этой проблемы предлагаются в данной книге. Истоки тесной связи между Пушкиным и становлением современной русской национальной идентичности можно в первую очередь искать в той важнейшей роли, которую играла литература в формировании слоя людей, осознавших свою общность и выразивших ее названием «интеллигенция». Самые ранние упоминания о существовании этой новой аморфной общественной группы встречаются в описаниях толпы, стоявшей в последних числах января 1837 г. у дома умиравшего поэта. Например, барон Геккерн, посланник Нидерландов и приемный отец убийцы Пушкина, признал: «Долг чести повелевает мне не скрыть того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали. Однако необходимо пояснить, что это мнение принадлежит не высшему классу (...). Мнение, о котором я говорю, принадлежит лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс промежуточный между аристократией и высшими долж-

ностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, — с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, *национальных* коммерсантов высшего полета и т. д. Смерть г. Пушкина открыла существование, — по крайней мере, так, кажется, считают власти, — целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту, в высшей степени русскому». ¹² Хотя, вопреки опасениям царя, не обнаружилось никакой революционной «партии», этот новый «промежуточный» класс начинал отчетливо заявлять о себе. Нарождавшаяся интеллигенция представляла не столько новые социальные слои общества, сколько в первую очередь интеллектуальный слой — новых, европеизированных читателей. ¹³ Через десять лет после смерти Пушкина Белинский признавал, что русская литература сыграла главную роль в формировании нового «особенного класса», обладающего своим корпоративным сознанием, и в зарождении в России начатков «общественного мнения». Белинский писал, что «литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от обыкновенного *среднего* сословия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе». ¹⁴ Этот «особенный класс», вызванный к жизни Пушкиным и его собратьями по перу, нуждался в руководстве, которое должны были принять на себя литературные критики. Белинский, потрудившийся более других для возведения Пушкина в достоинство «национального поэта», выдвинулся на роль главного в России общественно-литературного критика, предопределив тем самым на будущее общественное назначение искусства и отношения критика с автором и с общественностью в «умственной жизни» России.

Возможен ли русский Шекспир? Нападки на Пушкина слева и справа

Пушкина, еще при жизни, несколько раз называли — и каждый раз безответно — кандидатом в «национальные поэты», чьи творческие достижения могли бы восстановить равновесие между государством и народом. Тогда помешали этому признанию идеологические соображения и политические события, подобно тому как и Белинский позднее отвернулся от Пушкина, отдав предпочтение искусству, занявшему, как ему представлялось, более определенно выраженную общественную позицию. В начале 1820-х годов Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер, Туманский и их друзья высказывали надежду, что Пушкин выступит спасителем российской словесности, хотя уже тогда некоторые из них критиковали Пушкина за отход от свободомыслия и бунтарского байронизма «Цыган» к гедонистическому дендизму, который они усматривали в первых главах «Евгения Онегина». Однако поражение в 1825 г. восстания декабристов и последовавшая в царствование Николая I политическая реакция положили конец пробным начаткам культа Пушкина и создали условия в высшей степени неблагоприятные и для творчества Пушкина, и для признания его «национальным поэтом».

На декабрьское восстание и на своего рода отчаяние, выразившееся в первом «Письме о философии истории» П. Я. Чаадаева отрицанием существования русской культуры, Николай I ответил печально знаменитой доктриной «официальной народности». Как и советская пропаганда, эта государственная идеология покоилась на утверждении, что (говоря словами графа А. Х. Бенкендорфа, исполнявшего по отношению к Пушкину функцию Немезиды) «прошлое России замечательное, настоящее — более чем великолепное, а что касается будущего, даже самое богатое воображение не в силах его нарисовать: такова, мой друг, точка зрения, с которой следует осмыслить и писать историю России».¹⁵ Крайнее недоверие к общественному мнению в сочетании с подобным откровенным лицемерием в том, что касалось культуры, лишь еще далее отчуждало русскую интеллигенцию и усиливало ее пессимизм относительно будущего России. В глазах медленно формировавшейся русской интеллигенции самодержавная николаевская Россия олицетворяла государство в худшем его виде. Доктрина «официальной народности» включала всех без исключения людей полностью в сферу влияния государства. Она притязала на

владение всей полнотою «умственной жизни» — обществом, общественным мнением, культурою и простым народом, русскими людьми; никакие неофициальные проявления «народности» не допускались и не признавались. Пушкина опасность подстерегала с двух сторон: в глазах многих (включая Белинского) он был скомпрометирован близостью к двору, а его высочайшие «благодетели» ему не доверяли и всячески его стесняли, видя в нем скрытого декабриста. Более того, понятие официальной народности было разработано и инструментовано теми самыми высшими чиновниками, злейшими врагами Пушкина, Бенкендорфом и графом С. С. Уваровым, которые после смерти поэта старались последовательно не допустить его общественного признания.

Те, у кого реакционная политика Николая I вызывала негодование и отвращение, не могли, само собою разумеется, заставить себя согласиться с заявлениями о том, что у России есть свой национальный гений. При том печальном состоянии, в каком находилась Россия, самые ярые приверженцы Пушкина должны были делать оговорку (как Гоголь в 1836 г.), что Пушкин — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». ¹⁶ Даже столь консервативно настроенный человек, причастный к литературным кругам, как Я. К. Грот, который более всех содействовал успеху Пушкинского праздника в 1880 г., сомневался, что Россия способна произвести шекспиров или гете. В письме от 17 сентября 1848 г. он спрашивал своего друга П. А. Плетнева: «Разве при нынешнем состоянии русского общества возможны у нас Шекспир и Гете? Таланты верно во всех веках встречаются равно сильные, но только в веках самого цветущего просвещения они достигают полноты развития. Карамзин, Жуковский и Пушкин служат масштабом высшего литературного достоинства, какое могло созреть в нынешнем русском обществе; но разве они достигли всей высоты, на какой могли бы стоять при других условиях общества?» ¹⁷ Объявить Пушкина гением мирового значения значило в какой-то мере оправдать деспотический порядок, установленный в России в политике, экономике и культуре.

Поэтому «вопрос о Пушкине» стал предметом бурной полемики, широко развернувшейся в 1860-е годы, когда интеллигенция начала сознавать свое особое назначение в новом обществе, порожденном отменой крепостного права. Именно в это время вошло в употребление и само слово «интеллигенция». В этом слове отражалось преоб-

ладавшее в то время убеждение в том, что образованные люди составляли немногочисленный, прогрессивный слой, который должен был взять на себя руководство политическим освобождением, а также интеллектуальным и духовным просвещением только что получивших свободу остальных масс.¹⁸

Эти взгляды в самом крайнем их выражении, а именно восхвалении разумного эгоизма и полном отрицании «официальной» России, представлял «нигилизм» Писарева. Если Бенкендорф характеризовал Россию как лучший из миров и утверждал, что история достигла своих целей (картина полного покоя), то Писарев менял полюса утопического мышления, объявляя идеалом перемены и разрушение сами по себе. «Что можно разбить, — заявил он, — то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится; что разлетится вдребезги, то хлам».¹⁹ Если официальная народность не допускала в России независимой «умственной жизни», то Писарев представлял себе «мыслящий пролетариат» — малочисленную элитную группу практически мыслящих угнетенных масс.²⁰ Как виделось Писареву, эта элитная группа и общественное мнение, носителем которого она выступала, выполняли функцию чистого отрицания — разрушения всяческих авторитетов, всего старого и укоренившегося. «Народничество» следующего десятилетия было нигилизмом наизнанку: надежду на возможности «критически мыслящих» людей народники заменили верою в революционные инстинкты крестьянства; отказавшись от всех притязаний на политические права и власть, они своим самоуничтожением перед простым народом старались искупить вину, испытываемую ими за свое привилегированное положение в обществе.

Самой знаменитой жертвой нигилизма Писарева был Пушкин. (Народники, исповедуя провозглашенное Писаревым «разрушение эстетики», пренебрегали поэтом.) Показательно, что обе крайние системы ценностей — и нигилизм, и официальная народность, претендовавшие на то, что говорят от имени соответственно народа и государства, — питали одинаковую неприязнь к поэту.²¹ И революционер, и реакционер видели в Пушкине «маркер» крайнего отрицательного значения, потенциально опасный авторитет, который следовало «свергнуть с пьедестала». Некоторые причины возникновения подобного положения устанавливаются в главе I, где в связи с кампанией за сооружение памятника поэту рассматривается образ Пушкина, сложившийся в русской критике. Споры 1860-х годов

о Пушкине, в которых боролись две полярно противоположные точки зрения, велись в образных выражениях свержения с пьедестала или возведения на пьедестал, преклонения перед кумиром или оплевывания могилы поэта; среднего, нейтральной полосы в этих спорах не было.

Пушкин в роли примирителя: Нейтральная культурная зона

Именно Пушкинские торжества обозначили подобную нейтральную зону, позицию компромисса между монолитным государством и проникнутым настроениями радикализма народом. По существу, Пушкинские торжества показали возможную модель организации русского общества, являвшую собою альтернативу тем полярно противоположным системам, которые предлагали фанатики самодержавия и фанатики революции. Русские специалисты по семиотике Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский показали, что двухполюсная шкала ценностей, которой я воспользовался применительно к официальной народности и нигилизму, приложима к многим явлениям русской культуры до конца XVIII в.²² Лотман и Успенский противопоставляют эту типично поляризованную русскую модель (дающую только двоичный выбор: рай или ад, все или ничего, выиграть или проиграть) тройственной модели (т. е. имеющей также «нейтральную зону» — не только рай и ад, но и чистилище), которая, как утверждают они, появилась в Западной Европе на исходе Средневековья. В историческом процессе нейтральная зона, вначале находившаяся в ненадежном положении, постепенно расширила свои пределы, став преобладающей ценностью и создав условия для становления светских учреждений, не допускавшихся двухполюсной, средневековой системой ценностей, например банковского дела и прессы.²³ В то время как двухполюсная модель предполагает только революцию или состояние уравновешенной неподвижности, а отсюда способствует возникновению утопической идеализации либо прошлого, либо будущего, трехчленная модель сосредоточивается на настоящем и воспринимает перемены не в апокалиптических образах, а как компромисс и реформу. В этой системе ценностей крайности (применительно к нашему предмету — революционеры-фанатики и непреклонные монархисты) исключены или по крайней мере отеснены к самой кромке модели, а новая

«нейтральная зона», общая почва взаимотерпимости и компромисса, приобретает все большее значение. В 1880 г. эту нейтральную зону обозначили Пушкин и Пушкинские торжества, символизировавшие собою независимость общества как от государства, так и от самозванных левых радикалов. Как писал известный журналист И. Ф. Василевский, «идея» Пушкинского торжества состояла в том, что «в этих празднествах все было общественное: общественный почин, общественное участие, общественная мысль и общественное слово. Они не знали ни опеки, ни указки, ни формы и наружной окраски, сообщенных канцелярию. Общественное желание впервые развернулось у нас на безусловно законной почве и в безусловно законных, безукоризненно законных пределах, с такою широкою свободою. <...> Разумные надежды на будущее (рожденные этими торжествами. — М. Л.) <...>, — нет надобности скрывать их, в них нет ничего масонского, — сводились к свободе мысли, к свободе слова, к большему простору общественной самодеятельности на пользу государственного и народного блага. Общественное слово празднеств лелеяло и окрыляло эти мечты. <...> Слово это говорило, что русское общество существует не в представлении, но в живой действительности; что есть в нем цемент, который связывает его в одну одухотворенную массу; что оно дозрело и возмужало; что оно думает, скорбит и сознает себя; что к числу своих природных, врожденных потребностей относит оно свободу мысли и свободу слова; что литературою оно заработало себе аттест зрелости. . .».²⁴

Новая (и оказавшаяся недолговечной) надежда на то, что в «умственной жизни» России установится новое для нее состояние терпимости, была обусловлена рядом обстоятельств. Частично она обещала разрешение политического кризиса, зревшего в России после окончания в 1878 г. войны с Турцией. «Революционеры и либералы, царь, его сановники — представители всех общественных течений и группировок — сходились в одном: Россия стоит перед решающими событиями, находится на крутом повороте».²⁵ Торжества проходили в период «оттепели» (слово, на самом деле употребленное в это время Тургеневым),²⁶ когда казалось, что государство вот-вот покончит с самодержавием, то ли даровав конституцию, то ли как-либо иначе осуществив частичное разделение политической власти в русском обществе. Несмотря на публичные ссоры между разными группами, принимавшими участие в организации праздника и бравшими на себя смелость говорить

от имени общественного мнения, даже благодаря этим скандалам, вызывавшим живой интерес, Пушкинский праздник казался подлинным проявлением самоуправления.

Современники не преминули также отметить, что (как выразила эту мысль одна газета) «открытие памятника Пушкину есть событие знаменательное не только по своей мысли, но и по способу ее исполнения». ²⁷ Большое внимание в данной книге уделено истории поисков «середины» не только как идеи, сформулированной русской критикой, но также и ее реальному воплощению в институтах литературной жизни России, принимавших участие в организации Пушкинского праздника, как то: в периодической печати и в книгоиздательском деле, в литературных и научных обществах и кружках, в цензуре и других государственных учреждениях, имевших то или иное отношение к литературной жизни.

Перспективы и парадоксы либерализма

Однако процесс создания подобной «нейтральной земли», где установились бы свобода слова и демократический плюрализм, не был гладким, а протекал беспокойно и в противоречиях. Кроме открытых угроз и искушений, которые пускали в ход и правительство, и революционеры, выказываемое стремление к демократической открытости непрерывно грозили погасить внутренние распри и групповщина среди интеллигенции. Тургенев, признаваемый всеми в 1880 г. главою русского либерализма, придавал огромное значение его организационным вопросам и добивался того, чтобы на праздновании русские литераторы выступили единым фронтом; он даже вошел в заговор, имевший целью не допустить на торжества своего злейшего врага — консерватора Каткова. История побед и неудач Тургенева в 1880 г. отражает его шаткое положение в роли защитника либеральной позиции. В своей организационной деятельности Тургенев практически столкнулся с двумя трудными вопросами, на которые интеллигенция непрестанно и мучительно искала ответ и которые он затронул в произнесенной на торжествах речи: проблемой получения интеллигенцией от государства политической свободы и вопросом о праве интеллигенции говорить от имени простого народа. В обоих случаях Тургенев четко держался принципов ли-

берального западничества сороковых годов. Государство должно было дать самоуправление, а неграмотный простой народ рано или поздно дорастет до усвоения ценностей своей серьезной литературы.

Обе части уравнения были подвергнуты сомнению. Н. К. Михайловский, главный публицист народников, продолжавший традиции критики шестидесятых годов, весьма скептически оценивал как перспективы разделения политической власти в русском обществе, так и усмотренную Тургеневым новую волну популярности Пушкина. Тургенев утверждал, что Пушкинские торжества знаменовали собою общее «возвращение к Пушкину» интеллигенции и разумный отказ от «заблуждений» нигилизма, представлявшего, по его мнению, неудачную, но, может быть, необходимую стадию общественного развития России; из чего следовало, что интеллигенция была уже готова принять на себя ответственную политическую роль. Михайловский возражал, что во всех этих заявлениях желаемое выдано за действительное; он не находил никаких видимых признаков того, что в русском обществе произошли какие-либо перемены, включая и отношение к Пушкину: «Пушкин тут был предлог, символ, прикрытие, всё, что хотите, но только не непосредственный герой торжества. <...> Люди, постоянно вращающиеся в сфере мысли и общественных дел, естественно должны либо сами выработать себе стоящее шума дело, либо пристроиться к какому-нибудь готовому». ²⁸ Михайловский сомневался в способности интеллигенции составить политический противовес инерции взятого в целом общества царской России; к тому же, верный духу народничества, он был склонен считать борьбу за буржуазные политические права служащей узким, групповым целям и безнравственной. То общественное мнение, о котором столько шло речи, выражало (полагал он) взгляды лишь незначительного меньшинства. Мечта либералов о будущем России как, говоря его словами, «сплошном перманентном пушкинском празднике» (!) ²⁹ могла быть теоретически здоровой и даже привлекательной, однако Михайловский требовал более убедительного свидетельства происходивших якобы перемен, нежели обещания и символические празднования.

Широко разглашенный отказ Толстого на поступившее от Тургенева приглашение принять участие в праздновании отражал подобное же неприятие общественного мнения, но диктовался не собственно политическими соображениями, а все более ясным пониманием того, какая глубокая пропасть отделяет образованных людей от простого

народа. К этому времени Толстой уже начал сомневаться в правомерности существования в России европеизированной, светской культурной и умственной жизни, чуждой, как он ощущал, духу народа; он боялся последствий сотворения ложных кумиров для общего поклонения; он уже обратился к изучению религиозных идеалов народа и подошел почти вплотную к полному отрицанию самой русской литературы.

В своей знаменитой речи о Пушкине, ставшей экстаической кульминацией Пушкинского праздника, Достоевский призвал к всеобщему примирению, однако, подобно Михайловскому и Толстому, отказал интеллигенции в политической и культурной автономии. Он перевернул на оборот тургеневскую либеральную интерпретацию общественного мнения, предложив совершенно иное прочтение Пушкина. Понятие «общее мнение» (иногда «общественное мнение») получало у различных идеологических группировок разные толкования и, подобно общеупотребительным словам «либерал» и «консерватор», приобретало в русском языке значения и оттенки, далекие от привычных на Западе. В русском языке слово «общее» передавало всю неопределенность, которую несло в себе понятие «общество», переводимое на английский язык обычно существительным «society». ³⁰ Для Тургенева, стоявшего может быть, ближе всех к классическому западному либерализму, эти слова подразумевали политическое право человека на самовыражение и европейский парламентаризм. У Достоевского и славянофилов (особенно К. С. Аксакова) выражение «общее мнение» ассоциировалось со священным принципом «общины». «Свобода слова» понималась прежде всего как нерушимое нравственное правило и лишь потом как одно из гражданских прав; единственно подлинное «общее мнение» свою высшую силу получает от народа (the nation) в целом — церковного, державшегося общинного уклада жизни народа, который может включать, а может и не включать интеллигенции. ³¹ Достоевский полностью отвергал понятие о «нейтральной зоне» без установленных ценностей, т. е. «общее мнение» европейского типа, опирающееся на права личности. В отличие от Тургенева и его друзей он видел в Пушкине не либерала, требующего индивидуальной свободы, а пророка, посланного Богом напомнить о смирении и самоотречении, вернуть заблудшую интеллигенцию в лоно народа (понимаемого в широком значении этого слова и неотделимом от него — для Достоевского — более узком смысле «простой народ») и донести до умирающей цивили-

лизации Европы «новое слово» России о спасении.³² В Пушкинских торжествах Достоевский увидел начальные строки новой главы Священной истории. Он выступил против всех этих зарубежных и отечественных карлейлей, не признававших национального величия России, и, как указывали его критики, попытался превратить празднование интеллигенцией своей самостоятельности в скрытую апологию царского самодержавия.

Проблемы историографии

В 1880 г. многие русские, понимавшие, какие великие исторические события свершаются на их глазах, высказывали пожелание, чтобы все статьи, обзоры, передовицы, речи, тосты и другие материалы, относящиеся к празднику, были собраны, систематизированы, описаны, сохранены и напечатаны в тематических сборниках и иллюстрированных изданиях, откуда будущие историки запечатлели бы эти «неизгладимые черты» в своих трудах. Общество любителей российской словесности, организовавшее праздник, выпустило большим форматом богато иллюстрированный альбом под заглавием «Торжество открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, 6-го июня 1880 г., с биографией А. С. Пушкина»,³³ а молодой журналист Ф. И. Булгаков издал в 1880 г. анонимно сборник «Венок на памятник Пушкину»,³⁴ в который включил самые яркие речи, тосты, телеграммы и другие материалы этих торжеств. Кроме того, Александровский лицей, начавший в свое время сбор пожертвований на памятник, издал указатель литературы о торжествах, составленный неутомимым библиографом В. И. Межовым. Этот указатель («Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 году: Сочинения и статьи, написанные по поводу этого торжества». СПб., 1885) содержит более тысячи записей.³⁵

Однако бесплодность «оттепели» 1880—1881 гг. и дальнейшая мучительная история России в значительной мере определили судьбу Пушкинского праздника в историографии. В эпоху гнетущей политической реакции, наступившей после убийства в начале 1881 г. Александра II, смелые надежды и возвышенные декларации 1880 г. сменились глубоким в них разочарованием, а Пушкинский праздник стал всего лишь подстрочным примечанием в литературной и политической истории России. Тот факт,

что раз за разом самоуправление и свобода слова не могли утвердиться в России и были выброшены на «свалку истории», существенно повлиял на оценки советскими и западными историками русского либерализма и мировоззрения интеллигенции. Среди советских ученых, особенно в годы правления Сталина, когда литературный праздник и поклонение Пушкину достигли невероятного масштаба, преобладала тенденция умалять торжества 1880 г. как узкогрупповой праздник русской либеральной интеллигенции (в противоположность «массовому» советскому празднику); более поздние оценки рассматриваются в Заключении. Подобно радикалам XIX в., ортодоксальные марксисты-ленинцы не допускают мысли о возможности обозначенного Пушкинским праздником «примирения» общественных, культурных, политических и классовых интересов. Более того, советские ученые последовательно принижали заслуги дореволюционной интеллигенции или присваивали их себе, в том числе и популяризацию Пушкина, и борьбу за гуманистические ценности, сформулированные великой литературой.³⁶ В то же время советские ученые выделяли для детального изучения лишь борьбу интеллигенции против самодержавия, не учитывая должным образом или совершенно игнорируя атмосферу кризиса и неуверенности, в которой родилась русская литература.

Если на Западе и помнили о Пушкинских торжествах, то лишь как о событии, когда Достоевский произнес свою идиосинкразическую «пушкинскую речь», а Тургенев публично унизил Каткова, отказавшись с ним чокнуться.³⁷ До недавнего времени западные историки тоже игнорировали или представляли искаженно силу и интеллектуальную жизнеспособность русского либерализма, полагая основной чертой интеллигенции ее узкополитическую, оппозиционную ориентацию. Главным образом исследователи занимались вопросом, почему русский либерализм не добился успеха. «Был ли на самом деле либерализм жизнеспособно альтернативой революции, а если был, то почему оказал столь слабое сопротивление давлению как реакции, так и радикалов?» — спрашивал в 1959 г. Марк Райефф и утверждал, что «лишь в 1905 г. создались подлинные объективные условия для существования либерализма».³⁸ За годы, прошедшие с тех пор, как Райефф поставил этот вопрос, ученые уделили большое внимание характеристике русского либерализма и определению его роли как «мощной силы» в общественном движении России в XIX в.³⁹ Пушкинский праздник служит дополнитель-

ным свидетельством реального существования и жизнеспособности «либерального» выбора в культурной жизни России и открывает новые подходы к давней проблеме характеристики корпоративного исторического сознания интеллигенции.

Политическое бесправие интеллигенции и отсутствие у нее прочной социальной и экономической основы играли, без сомнения, решающую роль в ее развитии. Поскольку интеллигенция была принудительно исключена из «действительного круга жизни»⁴⁰ России, ее теоретики часто предавались поиску конечной, универсальной Истины и склонялись к возведению в абсолют либо антигосударственных (свойственных нигилистам), либо антиправовых (свойственных народникам) воззрений. Однако резко разделять интеллигенцию, как часто поступали историки, по признаку исключительной оппозиционности либо политическому режиму, либо гражданским правам значит принимать симптомы за причины.

Общественное признание русской интеллигенции

Многие современники увидели в Пушкинских торжествах многообещающие признаки того, что наконец русская интеллигенция обрела свои права. Газеты называли Пушкинские торжества «праздником русской интеллигенции», «торжеством русского общественного мнения», событием, обозначившим место, которое по праву принадлежит интеллигенции, и подтвердившим ее готовность взять на себя роль «среднего» класса, служить посредником между государством и народом. Реформы шестидесятых годов показали необходимость существования такого промежуточного класса и способствовали его возникновению и развитию, а Пушкинские торжества можно рассматривать как попытку претворить реформы в приемлемую политическую и культурную идеологию. В этом качестве Пушкинские торжества позволяют взглянуть под неожиданным углом зрения на давние поиски интеллигенцией своего политического и интеллектуального «я». Для многих торжества знаменовали общественное признание самого существования интеллигенции. В торжествах видели осуществленную мечту, экстатическое, пьянящее «нравственное чудо», «душевную электрификацию», особый, высший момент оправдания собственного существования и самоутверждения, когда, по словам одного участника,

люди «жили во всю, всеми фибрами своего внутреннего „я“». ⁴¹ В редакционной статье газета «Русский курьер» писала: «В жизни всякого общества бывают такие события, в которых оно отражает, более или менее полно, свое внутреннее содержание, — те духовные интересы, которыми оно живет, те надежды и упования, которые оно возлагает на будущее. То, что при обыкновенном течении жизни заглушено шумом ежедневных нужд и забот, что скрыто злобою дня, — то в эти минуты высказывается во всеуслышание, громко и внятно; то, что обыкновенно выражается слабо и нерешительно и ускользает от внимания наблюдателя, то теперь ярко выступает наружу и принимает, так сказать, видимые и осязаемые очертания. Такие события (...) бывают, конечно, в жизни всякого общества. Но особый смысл и особое значение они имеют там, где общество лишено возможности высказывать свои думы (...). Здесь более, чем где-либо, не следует проходить мимо таких событий, ибо они — желанные знамения времени. По ним нужно судить о действительном настроении умов; на основании их следует делать расчет на будущее. Иначе самый мудрый и прозорливый политик легко может ошибиться и принять за выражение общественной мысли крикливый голос патриота *suī generis* или сметливого дельца, который знает, где раки зимуют. Таковы именно были Пушкинские дни в Москве». ⁴² Это был момент, продолжал автор статьи, когда русское общество доказало, что в нем «прочно росло, мужало и крепло здоровое общественное сознание», торжества послужили ответом единомышленникам Каткова, утверждавшим, что «образованное общество исполнено разрушительных элементов, что оно находится в процессе разложения и чуть ли не накануне своего полного банкротства». Непосредственное политическое значение торжеств состояло в том, что они высветили (говоря словами одной газеты того времени) столкновение «между защитниками и противниками самоуправления и свободного выражения мнений (...) Между теми и другими, в сущности, нет середины». ⁴³

Успешная организация литературного праздника (согласились многие) доказала зрелость интеллигенции и ее право выступать в качестве нравственного и духовного руководителя народа. Более того, Пушкинские торжества продемонстрировали, что в русском обществе ощущается «несмолкающая, рвущаяся наружу потребность (...) дружного действия ради общей цели, ради того, чтобы общественные силы, дремлющие и немые, получили наконец возможность проявляться на благо страны». ⁴⁴ Торже-

ства вселяли надежду на то, что уже преодолен раскол между государством и народом и стало возможным примирение давних мучительных распрей, раздиравших русское общество. Они показали, что самым сильным желанием интеллигенции было действовать во имя общественного блага самостоятельно, но пользуясь притом общественным признанием; что в стране, имеющей «национального поэта» и великую литературу, неизбежна демократия. Как бы отвечая Карлейлю, ведущая либеральная газета «Голос» писала в редакционной статье: «...при могущественном, тысячелетнем господстве государства над обществом, могло часто казаться, в разные, более или менее, печальные моменты нашей истории, особенно же казаться иностранцам, что в этом, величайшем в мире, государстве, в этих всепоглощающих формах государственности, официальности и казенщины, нет, как и в азиатских государствах, самостоятельного общества, нет души. Эта-то душа громко, неотразимо сказала на пушкинском празднике». ⁴⁵

Дальнейший ход событий принес разочарование в рожденных Пушкинскими днями надеждах, которые в его свете выглядели простыми беспочвенными мечтаниями. Однако если взглянуть на Пушкинские торжества как на событие, выражающее дух и характер всей эпохи, они явились на самом деле водоразделом в истории России, хотя и не в том плане, как представлялось современникам. В ретроспективе становится понятно, что они завершили эпоху освобождения крестьян, развеяли упования на реформы сверху и знаменовали собою начало конца старого режима. Если принять во внимание, что вскоре после них умерли Достоевский (1881) и Тургенев (1883), а Толстой отрекся от литературы и предался религиозным исканиям, то они возвестили конец блестящей литературной эпохи и начало нового века грамотности и массовой культуры, опиравшейся в большей своей части на русских классиков, века более сложной и разнообразной «умственной жизни». ⁴⁶ Самым долговечным наследием Пушкинских торжеств было, возможно, новое представление о русской национальной идентичности, которая с тех пор оказалась тесно связанной с именем Пушкина. Пушкин, а с ним и другие классики русской литературы XIX в. принесли с собою новую, светскую, «культурную, а не политическую или религиозную национальную идентичность, независимую как от царя, так и от церкви — традиционных оснований, на которых формировались представления русских о самих себе». ⁴⁷

Наконец, Пушкинские дни пробудили у интеллигенции новое, ясное чувство своей корпоративной общности. По словам анонимного фельетониста газеты «Голос», имевшей в то время самый широкий круг читателей, «Пушкинское торжество явилось очень кстати» как «неотложное и всем понятное свидетельство силы и крепости русской интеллигенции». ⁴⁸ Оно подтвердило, писал В. О. Михневич, что «интеллигенция» была уже не абстрактным понятием, о котором велись споры на страницах толстых журналов, а реальной живую силою: «Собравшаяся со всех концов России для этого праздника, наша интеллигенция, как бы впервые сознала здесь себя, увидела себя в живой плоти, уразумела, что она есть на самом деле, как живой реальный организм, и что ей нужно». ⁴⁹ Если Пушкинские торжества и не дали ничего иного, то, во всяком случае, показали явственно, что и русская интеллигенция, и великая русская литература, которой она вдохновлялась, существовали на самом деле. Что же касалось будущего, то, по словам «Голоса», представляемое интеллигенцией общественное мнение выросло в силу «уже такую, на которую можно опереться поборникам мирного народного развития и с которою нужно считаться врагам его» ⁵⁰ — или же столкнуться с серьезными последствиями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПОЛЕМИКИ: ВОПРОС О ПАМЯТНИКЕ ПУШКИНУ

1837—1866

Смерть Пушкина и превентивные меры правительства

Мысль о сооружении памятника Пушкину возникла уже на следующий день после смерти поэта. Жуковский и ближайшее окружение Пушкина из числа собратьев по перу и ценителей его таланта были твердо убеждены в том, что трагическая гибель поэта в возрасте тридцати семи лет была, по выражению Дениса Давыдова, «une calamité publique». ¹ Жуковский обратился к Николаю I с письмом, в котором убеждал царя проявить заботу о семье покойного, оплатить все долги, обеспечить вдову и детей и в их пользу издать посмертное полное собрание сочинений Пушкина. Однако на первое место, прежде всех этих своих просьб, он поставил предложение о памятнике, играя при этом несколько грубовато на тщеславии Николая I: «Пушкин всегда говорил, что желал бы быть погребенным в той деревне, где жил, если не ошибаюсь, во младенчестве, где гробы его предков <...> Не можно ли с исполнением это<й> воли мертвого соединить и благо его осиротевшего семейства и, так сказать, дать его сиротам при гробе отца верный приют на жизнь и в то же время воздвигнуть трогательный, национальный памятник поэту, за который вся Россия, его потерявшая, будет благодарна великодушному соорудителю?» ² Николай I выкупил Михайловское, родовое имение Пушкина, и удовлетворял большинство просьб Жуковского, но отказался издать манифест о заслугах Пушкина перед Отечеством и воздвигнуть «национальный памятник», который был бы, как надеялся Жуковский, «достойным ее <России. — М. Л.> первого поэта и ее монарха». Подобным образом в 1826 г.

почтил Николай I скончавшегося Карамзина, но проводимая Жуковским в письме параллель между покойными писателями не убедила государя. «Ты видишь, что я делаю все, что можно для Пушкина и для семейства его, и на все согласен, — сказал он Жуковскому, — но в одном только не могу согласиться с тобою: это — в том, чтобы ты написал указы, как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской, а Карамзин умирал, как ангел». ³

Но не только «нехристианское» поведение Пушкина — его участие в дуэли, нарушавшее и гражданские, и церковные законы, — побудило царя отказаться воздать посмертно честь поэту. Ни сам Николай I, ни шеф жандармов граф Бенкендорф, питавший к Пушкину глубокое недоверие и даже, вероятно, замешанный в интригах с целью подтолкнуть его к дуэли, не могли простить ему вольнодумства молодости, за которое он был сослан на юг, и личных связей с декабристами. Царь и жандарм, кажется, искренне верили в то, что Пушкин возглавлял некую подпольную организацию, которая могла бы использовать его общественные похороны для того, чтобы зажечь новое восстание; они были напуганы огромными толпами (по оценкам современников, от двадцати до пятидесяти тысяч), собиравшимися у дома умирающего поэта 28—29 января. Присланные Жуковскому и графу Орлову два анонимных письма с требованием к царю немедленно принять жесткие меры в отношении убийцы Пушкина Дантеса и его покровителя, барона Геккерна, равно как и многочисленные слухи об угрозе общественного возмездия врагам Пушкина, еще более встревожили Николая I. ⁴ По его приказу Бенкендорф начал систематическую кампанию по подавлению любых проявлений общественного протеста. Как объяснил позднее сам Бенкендорф в «Отчете о действиях корпуса жандармов» за 1837 г., «собрание посетителей при теле было необыкновенное, отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми (...). Мудрено было решить, не отосились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами

негласными устранить все почести, что и было исполнено». ⁵

Отпевание Пушкина, назначенное в Исаакиевском соборе, ⁶ было без объявления перенесено в небольшую, находившуюся в стороне от многолюдных улиц Конюшенную церковь, хотя и были уже разосланы приглашения в Исаакиевский собор. К утру перед заупокойной службой царь вывел войска, около 60 тысяч пехоты и кавалерии, под предлогом внезапного смотра, но в действительности, как предположил один советский исследователь, на случай восстания. ⁷ В полночь 31 января на квартиру Пушкина прибыл отряд полицейских и перевез тело Пушкина в церковь, чтобы избежать скопления людей, собиравшихся у квартиры днем. ⁸ Бенкендорф распорядился закрыть панихиду для широкой публики, а давний недоброжелатель Пушкина министр народного просвещения С. С. Уваров запретил профессорам и студентам университета на ней присутствовать. В ночь после заупокойной службы, 3 февраля, тело Пушкина было тайно вывезено из города под охраной полиции, а Бенкендорф заблаговременно направил губернатору Пскова распоряжение пресекать в пределах его полномочий любые выходящие за рамки «того, что делается для всякого дворянина», проявления скорби или возмущения. ⁹ Поэт был похоронен в Святогорском монастыре по соседству с Михайловским, никого из членов семьи на погребении не было, присутствовало лишь несколько человек друзей. Бенкендорф и Уваров, чье министерство ведало цензурой, также приняли меры к тому, чтобы заглушить все иные публичные отклики на смерть Пушкина. Были изъяты и сожжены отпечатанные траурные портреты поэта, запрещены постановка «Скупого рыцаря» и любые упоминания в печати об обстоятельствах смерти Пушкина, его похоронах и о том, как они совершались.

Похороны Пушкина как историческая проблема

Смерть и похороны Пушкина (вернее, их отсутствие) были одним лишь эпизодом в длинной цепи событий, способствовавших тому, что в общественном сознании сложился нечеткий, неоднозначный образ поэта. Отсутствие публичного осуждения обстоятельств смерти Пушкина оставило нерешенными многие сложные вопросы, относящиеся к его литературному наследию и политическим

взглядам. В последние годы его жизни критики говорили о «падении» Пушкина-писателя. Это объясняется как тем, что Николай I выступал личным цензором поэта, через графа Бенкендорфа, вследствие чего некоторые из лучших произведений Пушкина остались при жизни неизданными, так и неспособностью критиков оценить художественное новаторство Пушкина. Не получили объяснения и его политические взгляды. Его патриотические стихи начала тридцатых годов и его двусмысленное положение при дворе (в котором он оказался в немалой степени благодаря жене, увлеченной вихрем светской жизни) загломили собою его неизменную на протяжении всей жизни верность «вольнoлюбивым» идеалам своей молодости и мысли о нравственной и правовой независимости русской литературы.¹⁰ Кроме того, компрометации поэта в глазах поднимавшегося поколения разночинцев способствовали приписываемые ему «аристократизм» и двойственное отношение к положению писателя (эту точку зрения выдвинул в начале 1840-х годов С. Е. Раич, а в следующем десятилетии она получила широкое распространение через Кс. А. Полевого и П. В. Анненкова).

Неприятнь самодержавия к Пушкину в последние годы его жизни и после его смерти долгое время затмевалась великодушием, проявленным Николаем I по отношению к понесшей утрату семье поэта. Но к 1880 г. начало проявляться действительное состояние дел. В 1879 г. в журнале «Русский архив» были опубликованы письма друга Пушкина, князя П. А. Вяземского, великому князю Михаилу Павловичу, в которых выражалось возмущение вмешательством полиции в похороны поэта, а «Русская старина» предала гласности «официальную» позицию, выраженную в замечании, сделанном А. А. Краевскому. После смерти Пушкина Краевский осмелился напечатать в редактируемом им литературном приложении к правительственной газете «Русский инвалид» краткий трогательный панегирик поэту, начинавшийся словами: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался...».¹¹ Уваров был очень раздражен и поручил председателю Цензурного комитета князю М. А. Дондукову-Корсакову сделать автору строгое замечание; одновременно Уваров отдал распоряжение о недопущении подобных случаев в Москве.¹² Выговаривая Краевскому, Дондуков-Корсаков вопрошал: «К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну да это еще куда бы ни шло! Но что это за выраже-

ния! „Солнце поэзии!“ Помилуйте, за что честь такая? „Пушкин скончался... в середине своего *великого поприща!*“ Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стихи не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще! Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от таких публикаций». ¹³

Эти и другие документы побуждали видеть в Пушкинском празднике долгожданное торжество общественного мнения и долг русского общества перед Пушкиным, который оно наконец-то было готово отдать.

Они также способствовали формированию в 1880 г. образа Пушкина как «отца русского либерализма», ¹⁴ человека, боровшегося за политическую независимость, и жертву подавления государством общественного мнения. Многие журналисты указывали на опасное сходство между той Россией, которая уничтожила Пушкина, и Россией 1880 г. Но вместо того чтобы обвинять исключительно Николая I или царизм в гибели Пушкина, в 1880 г. многие объясняли трагедию Пушкина отсутствием в России гражданской ответственности и общественного мнения, о чем сожалел сам Пушкин. ¹⁵ Чествование Пушкина означало и запоздалый возврат долга, и признание права и обязанности общества его возвернуть. В написанной В. Я. Стоюниным солидной биографии поэта, публиковавшейся в «Историческом вестнике» в 1880 г., утверждалось, что Пушкин ошибся, приняв «за народный голос журнальную брань и светское равнодушие к его поэзии. <...> Пушкин не заметил, что дух той публики, которая недавно ценила его, был подавлен, если не задушен; что теперь со своим голосом явилась другая публика, в руководители которой поставлен Булгарин с братией, а на смену первой только подрастала другая ценительница его поэзии; у нее еще не было голоса; но она воспитывала себя „сладкими звуками и молитвами“ поэта среди казарменной атмосферы. Это были юноши, оканчивающие курс в разных учебных заведениях, даровитые натуры, которых не умели подавить тупые педагоги; они тайком учили наизусть лучшие произведения нашего поэта. <...> Этой публики Пушкин еще не знал, а в ней-то и хранилась народная любовь». ¹⁶ Причи-

ной трагедии Пушкина (как указывал ранее Страхов¹⁷) были незрелость и слабость русской общественности. Но эта общественность созрела; юноши 1837 года — Анненков, Тургенев, Достоевский, Стоюнин и их сверстники — теперь наконец-то были готовы отдать Пушкину заслуженную дань.

Публикации о борьбе Пушкина с цензурой и тайной полицией подкрепляли доводы тех, кто в конце 1870-х — начале 1880-х годов боролся за свободу печати. Новые документы меняли восприятие Пушкина. В шестидесятые годы радикалы отвергали поэта как легкомысленного человека, политически подозрительного эстета, скомпрометированного близостью ко двору; теперь же в Пушкине стали видеть «мыслящего, честного журналиста», который был «человеком, безусловно независимым в политическом отношении».¹⁸ В статье Анненкова «Общественные идеалы А. С. Пушкина», напечатанной в «Вестнике Европы» во время Пушкинских торжеств, приводились биографические доказательства того, что Пушкин был «либералом», который, как заключил Анненков, «всею душою постоянно желал для своей родины умножения прав и свобод в пределах законности и политического быта, утвержденного всем прошлым и настоящим России».¹⁹ Во время торжеств один журналист из «Молвы» выразил надежду, что Пушкин станет российским «новым Моисеем», который укажет «по крайней мере ту обетованную землю, в которую должна же наконец войти когда-нибудь Россия после столь тяжелого блуждания в безводной и бесплодной пустыне».²⁰

Посмертные «Сочинения» Пушкина и памятник как метафора

Хотя Николай I не согласился с предложением Жуков-ского воздвигнуть Пушкину памятник, издание за счет правительства собрания сочинений Пушкина состоялось. В течение нескольких лет критики заявляли о «падении» Пушкина и холодном отношении к нему публики, но стихийное массовое проявление скорби по случаю его смерти явилось свидетельством столь широкого признания, что государственная опека над его имуществом, в ожидании повышенного спроса, подняла тираж посмертного издания его сочинений с десяти до тринадцати тысяч экземпляров.²¹ В 1838 г. вышло восемь томов, а еще три, содержавшие

ранее не опубликованные произведения, появились в 1841 г. Однако издание оказалось одним из самых известных неудачных предприятий в истории русского книгопечатания, хотя и имело то преимущество, что рекламой и продажей занимались государственные служащие.²² Попешное редактирование, неполнота, разный формат томов и их непривлекательный вид вкупе с относительно высокой ценой привели к неудаче. Кроме того, в те годы, когда собрание сочинений находилось в продаже, книгоиздательское дело переживало серьезный упадок, вызванный как сокращением спроса вследствие неурожаев во многих местностях, так и перепроизводством книг, последовавшим за всплеском на книжном рынке в середине тридцатых годов.²³ К ноябрю 1838 г. было продано только семь тысяч экземпляров и получено немногим более половины ожидавшихся денег. В 1845 г. это собрание рекламировалось в газетах по цене, составлявшей менее трети от первоначальной (что было по-прежнему слишком дорого для Варвары Доброселовой, героини вышедшего в 1846 г. первого романа Достоевского «Бедные люди», которая, выторговав скидку 25 процентов, должна была все же занять еще несколько рублей для покупки).

Тем не менее издание 1838—1841 гг. вновь поставило вопрос о национальном значении Пушкина. Мысль о памятнике возродилась в виде метафоры в статьях о Пушкине. В 1846 г. самый влиятельный критик Пушкина, В. Г. Белинский, завершил свой цикл из одиннадцати посвященных поэту статей, содержащий и обзор всей истории современной русской литературы, критическим замечанием об этом новом издании и предсказанием того, что «придет время, когда он (Пушкин. — М. Л.) будет в России поэтом *классическим*, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство... Конечно, придет время, когда потомство воздвигнет ему вековечный памятник; но тем страннее для его современников, что они не имеют еще порядочного издания его сочинений...».²⁴ В данном случае Белинский парафразирует написанное в 1836 г. стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», которое впервые было опубликовано в посмертном собрании сочинений (и по цензурным соображениям несколько изменено Жуковским).²⁵ Это стихотворение, из которого несколько строк было высечено на пьедестале памятника Пушкину в 1880 г. и которое сегодня знает наизусть любой русский школьник, оказало большое влияние на представления русских о значении Пушкина.

Здесь не место для подробного анализа или истории восприятия стихотворения, о котором столь много сказано.²⁶ Тем не менее уместно сделать несколько замечаний, особенно в связи с тем, что это стихотворение служило в некотором роде опорным «текстом» для пушкинских торжеств 1880 г. и всех последующих пушкинских юбилеев, русских и советских. Ведущий советский литературовед М. П. Алексеев, посвятивший этому стихотворению отдельную монографию, отметил почти полное единодушие читателей в том, что это стихотворение представляет собою «завещание» Пушкина, оценку поэтом как всего своего творчества, так и своей славы.²⁷

Мысль поэта движется «в строгой градации от отдаленного и абстрактного к близкому и конкретному».²⁸ В начальных строках, написанных высоким, торжественным слогом, поэт заявляет, что его душа, запечатленная в его творениях, бессмертна и превышает всех памятников, воздвигнутых земными царями; слава его не пройдет в «подлунном мире» до тех пор, пока будет жив хотя бы один поэт, один читатель. Когда-нибудь слух о нем дойдет до всех населяющих Российскую империю многих народов. Далее, по мере того как поле обзора все более сужается, в предпоследней строфе он обращается к своему, русскому народу, простому народу, которому он любезен своею любовью к свободе, а в последней, где сильнее всего проявляется «оттенок религиозно-мудрой кротости», он обращается к своей лире и набирается мужества продолжать свое дело, несмотря ни на что. Стихотворение, общеизвестное под названием «Памятник», в разные времена служило важною опорой многочисленных идеологических и культурных представлений, таких как социальный императив искусства и творчества Пушкина; различных трактовок политических взглядов Пушкина, в первую очередь его отношения к Александру I и декабристам; русификации народов империи; европеизации самого русского народа через Пушкина и «серьезную» литературу. Это стихотворение оказалось глубоко созвучным последующим поколениям, отчасти потому, что с большою силою выражало горечь положения Пушкина — непризнанного гения, обращающегося к потомкам. Образ памятника приближал к восприятию неграмотных слушателей и только что овладевших начатками грамоты читателей далекий от них и малопонятный мир литературы, а также способствовал превращению Пушкина — и реального памятника ему — в икону-святыню новой, светской, национальной культуры.²⁹

С конца XVIII в. отождествление литературного творчества с памятником прочно укоренилось в представлениях русских людей о литературе. Знаменитая ода Горация, переложением которой является стихотворение Пушкина, долгое время была одним из любимых произведений русских поэтов, а критики часто использовали банальный классический образ, представляя литературу в виде храма или пантеона, заполненного памятниками великим писателям. В тех же выражениях формулировал задачу критика Белинский. Например, он хвалил «романтическую критику», которая «осмелилась сказать правду» о русских поэтах восемнадцатого века — Сумарокове, Хераскове и Петрове — и свергла «их глиняные кумиры» с пьедесталов. Они были «глиняными кумирами» потому, что «развалились от этого толчка; ведь глина — не медь и не мрамор!»³⁰ Белинский, несомненно, думал, что критика создает более долговечные литературные «кумиры» из мрамора и бронзы — например (как он полагал) Пушкина.

Пушкин и проблема общественного мнения в шестидесятих годах XIX века

Белинский сделал больше любого другого критика для признания Пушкина национальным поэтом России, хотя, судя по всему, и считал, что он принадлежит целиком прошлому как писатель, чье творчество утратило злободневность в свете общественных проблем ушедшего вперед времени.³¹ Амбивалентная точка зрения Белинского, заявлявшего, с одной стороны, о главенствующем положении Пушкина в качестве национального поэта, а с другой — отрицавшего «содержание» в произведениях Пушкина, в значительной мере предопределила столкновение мнений различных группировок в пресловутой полемике шестидесятих годов XIX в. о Пушкине, которая одновременно была и борьбой вокруг критического наследия и авторитета Белинского. Подробная история сложных споров шестидесятих годов увела бы в сторону от основной темы, тем не менее имеет смысл посмотреть на них под открываемым метафорическим образом памятника углом зрения, под которым становятся видны исходные позиции в спорах и выполнявшаяся литературной критикой несвойственная ей роль подмены политической дискуссии.³² Тогда как в 1880 г. и впоследствии Пушкинские торжества рассматривались как «ответ» на радика-

лизм и, в частности, на попытку Писарева «свергнуть с пьедестала» Пушкина, именно критики-публицисты³³ перевели споры о Пушкине в плоскость борьбы вокруг вопроса об общественном мнении. Именно они создали тот идейный контекст, в котором сооружение в 1880 г. памятника приобрело глубокий символический смысл, означая отказ от тактики радикализма и доказательство необходимости общественного мнения.

Критические баталии вокруг Пушкина завязались с началом выхода в 1855 г. нового собрания его сочинений, издававшегося П. В. Анненковым. Критики-публицисты, утилитаристы, возглавляемые Н. Г. Чернышевским, ссылаясь на Белинского, провозглашали превосходство «гоголевского», «сатирического» направления над «пушкинским». С другой стороны, обычно сдержанный критик А. В. Дружинин, откликнувшись на появление собрания сочинений, объявил Пушкина идеалом истинного художника. Он назвал труд Анненкова «первым памятником великому писателю от потомства» и уподоблял испытываемое им перед Пушкиным благоговение чувствам верующего, преклоняющего колени перед мраморным образом. Он писал: «С появлением последнего издания „Сочинений Пушкина“ (<...> завеса, скрывавшая от нас посмертный бюст нашего поэта, падает навеки. Перед нами уже не вялое создание праздной фантазии света, а строгий мрамор, изображающий собою истинные черты того, кем мы гордимся! С благоговением подходим мы к холодному, вечному мрамору (<...> Вот они — истинные черты художника, вот его взгляд и поза, — вот его нелицемерное изображение! Мы видим, что перед нами поэт истинный,— и, преклоняя свои головы, вновь и вновь рыдаем над его прахом!»³⁴

Откровенное поклонение кумиру в статье Дружинина, написанной в прямую поддержку «искусства для искусства», вкупе с энергичными нападками на литературу «гоголевского» направления, сделали Пушкина броской мишенью. В показном, как им представлялось, обожествовании Пушкина Дружининым и другими защитниками поэта радикалы улавливали повелительные интонации навязываемой, обязательной точки зрения, которая несла угрозу самостоятельному мнению и свободе слова. Когда за отказ признать Пушкина «национальным поэтом» С. С. Дудышкина, критика «Отечественных записок», обвинили в «плевании на могилу Пушкина», Ю. А. Волков перевел спор именно в плоскость проблемы создания нового «мыслящего» общественного мнения: «Зачем отни-

мать право на сочувствие или несочувствие у нас, зачем стеснять свободу мнения резким осуждением? Суд — есть итог всех мнений, и кто бы что ни говорил — большинство всегда одержит верх, и этот верх, эта победа будут справедливы, если они представляют действительно общее мнение, сложившееся из действительно личных частных мнений, а не из рутины, верящей на слово другим, не из слабости и лени, успокоившейся на авторитетах... Зачем же называть *плеванием на могилу писателя* какое бы то ни было мнение, свободно и печатно высказанное о его произведениях? Зачем прибирать такие имена, как бы ни были они звучны и славны, для которых обязательны только фамиамы?»³⁵

Ограничения свободы слова вынуждали критиков-публицистов использовать литературную критику для политических дискуссий. Литературный (т. е. политический) мир представлялся им полем боя между старой литературой и новой, а «старая литература» — литература аристократов, подобных Пушкину, — «недопустимой роскошью», которая отвлекала читателя от злобы дня. Один такой критик, прощаясь со старой литературой, назвал ее «всеобщим бесхарактерным, всеми ласкаемым другом, добрым старичком-дедушкой, что дарил всем только конфеты в красивых бумажках!» Теперь же, по его словам, литература должна иметь друзей или врагов; старая литература, «роскошь духовной жизни» и «избыток образования», должна уступить дорогу литературе утилитарной; прежний читатель-«ребенок» стал «читателем-критиком». Вследствие этого «освободилась мысль читателя от печатного гнета, от захваченной себе произвольно власти; возвысило современное направление читателя, человека в собственном его мнении, — он судья теперь; он теперь верит в свое убеждение, он не раб чужого; есть в нем залог теперь к самостоятельному развитию, а из него, из такого развития только, всякое благо, всякая польза».³⁶

После отмены крепостного права в 1861 г. проблема ответственности образованных слоев перед народом — центральная проблема русской интеллигенции на протяжении всей ее истории — стала особенно острой по мере политической поляризации общества. В освободительных реформах радикалы видели капитуляцию перед помещиками за счет народа и считали своим долгом воспитывать сознательных, независимых граждан, которые умели бы бороться и защищать себя. Писарев добился огромного успеха, доведя ход этих рассуждений до крайности в своей решительной кампании против Пушкина и эстетики

в 1865 г.³⁷ Употребленное им словосочетание «читающая публика» стало прозрачным эвфемизмом вместо «общественного мнения», а «разрушение эстетики» и «низвержение Пушкина» — призывом к восстанию против навязанных авторитетов. Писарев совершил самый, возможно, дерзкий в истории литературы акт поругания кумиров, объявив пушкинский шедевр «Евгений Онегин» «не чем иным, как яркой и блестящей апофеозой самого безотрадного и самого бессмысленного status quo»,³⁸ а также экстраполировав утверждение Белинского об отсутствии у Пушкина содержания в блестяще аргументированное отрицание легкомысленного и социально вредного эстетства. Это был, как бы мы ни интерпретировали причины успеха Писарева, приговор Пушкину, который, по словам Д. Д. Благого, «в течение почти целых пятнадцати лет (...) сохранил за собою значение последнего и решающего слова о Пушкине и его творчестве».³⁹

«Низвержение» Пушкина было своего рода шоковой терапией для «публики», попыткой разбудить ее и заставить пересмотреть свои ценности. Это не просто означало, что Пушкин должен пасть, но что харизматическим примером поведения для современников должен служить новый «мыслящий человек», который ставит разум и пользу выше устаревших авторитетов. В этом мог присутствовать даже элемент намеренного, в духе Макиавелли, «введения в заблуждение» общественности для ее же собственного блага.⁴⁰ Главный нигилистический тезис Писарева — «что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится; что разлетится вдребезги, то хлам»⁴¹ — освобождает критика от конечной ответственности за его нападки. Если бы Пушкин не выдержал удара, это было бы то, чего он заслуживал; если бы «публика» позволила ему устоять, это было бы по крайней мере осознанным и критичным суждением. При таких условиях Писарев всегда оставался прав.

Писарев, однако, безоговорочно приписывал себе право говорить от имени «большинства» русских, которое, как он заявил, «или вовсе не читает» Пушкина и других признанных писателей, «или прочитывает их один раз, для соблюдения обряда, и потом откладывает в сторону и почти забывает». Отсюда было рукою подать до утверждения, что «публика» уже отвергла Пушкина «де факто». Писарев предварял свои знаменитые нападки на Пушкина предположением, что «Пушкина мы все еще не решаемся забыть, или, вернее, мы боимся признаться самим себе, что мы его почти совсем забыли».⁴²

Любопытно, что Пушкин служил мишенью для нападок и радикалов из противоположного политического лагеря — тех, кого обычно называют «реакционными славянофилами»; но их аргументы, направленные против поэта, были поразительно схожи с суждениями Писарева. В 1860 г. В. И. Аскоченский озаглавил свою филиппику против Пушкина «Позвольте сметь свое суждение иметь!»⁴³ Как и А. И. Мартынов, написавший ряд антипушкинских статей в начале сороковых годов, Аскоченский полностью отвергал современную русскую литературу и обличал Пушкина с позиций православия. По мнению обоих, Пушкин и его восторженные почитатели находились под влиянием ложных атеистических, эгоистических и безнравственных европейских ценностей, которые продолжали начатое Петром Великим разрушение национального наследия. Хотя «реакционные» нападки на Пушкина практически полностью игнорировались современниками, они представляют собой точный «славянофильский» аналог «западнической» позиции Писарева; там, где Аскоченский видел ложный авторитет атеистического Запада, Писарев усматривал ложный авторитет старой, патриархальной России. Оба они сходились в своей оценке опасности пушкинского эстетства.

Вырождение полемики

Лучший литературный критик своей эпохи Аполлон Григорьев, скончавшийся в 1864 г., за год до выступления Писарева против Пушкина, безуспешно пытался противопоставить господствующим утилитарным литературным доктринам Чернышевского свою «органическую эстетику». В критике он отстаивал возврат к Белинскому раннего романтического периода, а в искусстве — признание всеохватного гения Пушкина; ибо «критическое сознание» Белинского «столько же наше сознание, сколько наше творчество — творчество Пушкина».

«Пушкин, — провозгласил он в 1859 г., — наше все...»⁴⁴ — и эта фраза стала знаменитой. Страстная защита Григорьевым Пушкина как носителя русского национального идеала нашла отклик в статьях Достоевского шестидесятых годов, а впоследствии в его знаменитой «пушкинской» речи 1880 г. Но в то время идеи Григорьева остались невостребованными, как и более сдержанные попытки Анненкова и Каткова отстоять Пушкина,

защищая мысль о том, что любое подлинное искусство воспитывает гражданские добродетели.

В шестой статье о Пушкине Белинский определил двойственную задачу критика, состоящую в том, чтобы сначала дать эстетическую оценку произведения, а затем вынести сознательное суждение о его содержании. В последующих работах Белинского и большинства критиков шестидесятых годов обе эти функции, обозначаемые и в английском языке, и в русском одним словом «критика», радикальным образом расходились и вступали в резкое столкновение. Публицистическая критика, достигшая своей высшей точки в статьях ученика Чернышевского Н. А. Добролюбова и у Писарева, отрицала самостоятельную ценность литературного произведения и эстетического опыта, присваивая себе исключительное право выносить критические оценки; критика стояла выше искусства. С другой стороны, ее оппоненты в борьбе с нею отстаивали авторитет литературы и определяли положительное «содержание» эстетической «формы» — либо как гражданскую добродетель (Анненков и Катков), либо как национальный дух (Григорьев), либо как самодостаточность «искусства для искусства» (Дружинин, Б. Н. Алмазов). Нигде древняя платоновская вражда эстетики и философии не протекала в столь драматических формах, как в России.

Поклонникам Пушкина было трудно отражать политические, в сущности, нападки со стороны критиков, мало понимавших в художественной литературе и проявлявших к ней интерес лишь постольку, поскольку находили в ней предлог для рассуждений на политические темы. Французский биограф Писарева Арман Кокар показал, что антипушкинские аргументы Писарева не допускали никакого ответа в рамках литературной полемики, потому что исходно они были построены либо на полном нарушении, либо на временном, применительно к обстоятельствам, забвении самых элементарных основных правил литературной критики.⁴⁵ В этой аргументации игнорировалось фундаментальное различие между литературным произведением и политическим либо философским сочинением, не допускающим художественного вымысла. «Якобинская» риторика нигилистов была направлена исключительно на уничтожение их идеологических оппонентов и исключала всякие правила журналистской этики; она подразумевала непримиримую враждебность и делала обмен мнениями невозможным. Поклонники Пушкина жаловались на «чрезмерное, почти исключительное

развитие полемического элемента в нашей литературе»⁴⁶ и подвергали сомнению тот путь, по которому пошли последователи Белинского — критики-публицисты, выбравшие себе роль «няньки или гувернантки несовершеннолетней публики». Пытаясь «образовать» «публику», они сами впадали в тот же авторитарный тон, который должны были изменить. Сторонники Пушкина утверждали, что «полемический элемент» вновь продемонстрировал, что русская литература находится в «детском состоянии», в «интеллектуальном несовершеннолетии»; нападки на Пушкина выявили всю ее «невоспитанность» и «невежество». ⁴⁷ «Но ни в чем, может быть, не высказалось с такой полнотой и ясностью печальное направление нашей современной критики, как в суждениях о Пушкине, которые с некоторого времени начали появляться в наших передовых журналах»,⁴⁸ — делал вывод еще один журналист в 1860 г. С триумфом Пушкина в 1980 г. подобные аргументы обернутся своей противоположностью и будет провозглашена культурная зрелость России.

Другие защитники Пушкина считали главным виновником нездорового развития полемики ненормальный политический и интеллектуальный климат в России. При отсутствии свободных и честных дискуссий, а также сильного общественного мнения русские мыслители имели обыкновение доводить свои теории до крайности. Как сформулировал это один журналист, «у нас еще нет под ногами той твердой почвы, на которой мысль работает самобытно. — Литературные органы мнения никогда не являлись прежде полной независимости его... Наконец мы работаем большею частью вне действительного круга жизни и действуем не столько на практические стороны общества, сколько на теоретическое воспитание его». ⁴⁹ Некоторые защитники Пушкина видели причину распространения нигилизма и скандальной популярности нападок на Пушкина в отсутствии в России свободы слова. Они считали, что если бы свобода слова была разрешена, то радикальное «помрачение ума» предстало бы во всем своем недомыслии и его влияние быстро сошло бы на нет. Так рассуждал М. Н. Лонгинов, возражая Писареву в 1866 г. Если будет объявлена полная свобода прессы, утверждал Лонгинов, «тогда окончательно падет кредит ее, поддерживаемый теперь тем, что на нее может пока ссылаться тот, кому это нужно, и защищать себя общим мнением, будто бы выражающимся в известного рода периодических изданиях, благо они еще не „договорились“, а потому еще и не опозорены достойным образом». ⁵⁰

Эта аргументация подразумевает, что цензура, в противовес своему назначению, играет на руку радикалам, служа своего рода прикрытием, из-за которого они могут безнаказанно осуществлять свои нападки. Как уже было отмечено, выпады нигилистов против Пушкина изначально явились, по крайней мере отчасти, косвенным протестом против цензуры; в этом смысле «полемический элемент» затемнял общее для «пушкинистов» и «антипушкинистов» отвращение к цензуре, объединявшее обе стороны в порочном кругу, внутри которого никакое общение не было возможным. Для каждой стороны суть проблемы заключалась не столько в оппонентах (даже не в противоположных взглядах на Пушкина), сколько в ненормальном положении дел в России, которое было порождено отсутствием свободы слова.⁵¹

Для сторонников Пушкина, тем не менее, существование цензуры никоим образом не служило оправданием нападков на поэта, которые выглядели в их глазах бесчестной уловкой для приобретения подписчиков и скандальной известности, «succès de scandale». Они отказывали радикальным критикам-публицистам в праве считаться единственными выразителями общественного мнения. Как настаивал один анонимный автор, несмотря на «крестовый поход наших передовых журналов на Пушкина» (так он озаглавил свою статью), поэт остался героем в глазах большинства русских читателей. Он восклицал: «Нет, Пушкина у нас любят, как только можно любить отжившего деятеля почти через четверть века после его смерти. <...> Где же тут холодность! Неужели наша публика холоднее к Пушкину, чем немецкая к Гете или английская к Байрону? Да и какими же путями может у нас выразиться любовь к поэту? — памятниками, юбилеями что-ли? Но ведь и Мольеру памятник поставлен не сейчас же после смерти, и Шиллеру юбилей праздновался только в сотую годовщину его рождения».⁵²

Вполне естественно родилась мысль о памятнике как прямом и открытом способе выразить уважение и любовь к Пушкину. Еще до того, как полемика вокруг Пушкина разгорелась в полную силу, писательница Н. С. Соханская (псевдоним Надежда Кохановская) в статье «Степной цветок на могилу Пушкина», написанной в 1857 г. (и напечатанной в 1859), выступила с эмоциональным обращением создать памятник. Подобно Гоголю, Дружинину, Аполлону Григорьеву и другим, Соханская испытывала трепетное благоговение перед Пушкиным и связывала с поэтом все свои надежды на спасение русской

культуры. В своей статье Соханская защищала Пушкина как «пламенного пророка», героя-поэта (в духе Карлейля) и как личного духовного наставника в жизни. Она сокрушалась, что «...у Пушкина нет памятника! <...> Двадцать первый год наступил со дня роковой кончины нашего первого великого поэта, и что же мы сделали в память его? Ничего. И неужели пройдет и двадцатипятилетие, этот условленный срок времени, когда правительство и общественная жизнь привыкли признавать и запечатлевать наградами услуги людей, заявивших себя на поприще государственной деятельности и общественного блага, — неужели пройдет это двадцатипятилетие со дня смерти Пушкина, и, в стыд себе, наша общественная благодарность ничем не поклонится на могилу родного великого поэта? <...> Неужели эта мысль <о прекрасном памятнике из мрамора. — М. Л.> не шевелит нам сердца, и также она придет и пройдет, как приходит и проходит многое... О да будет же нам стыдно! Да будет нам стыдно перед нами самими, и стыдно перед теми людьми великого будущего, которые придут и в благодатной силе их настоящего съдут судить нас!»⁵³

Из этого страстного призыва видно, что еще до того, как была открыта подписка на памятник Пушкину, вопрос общественного признания поэта ставился не только в политической плоскости, но также в философской и даже метафизической.

Памятники и юбилеи в России

«Да и какими же путями может у нас выразиться любовь к поэту? — памятниками, юбилеями что-ли?» — Как писала в своей статье Кохановская, в России уже давно существовала традиция чествовать видных государственных деятелей и полководцев «юбилейными» торжествами, а иногда увековечивать их память монументами. Начиная с середины восемнадцатого века государство часто возводило памятники царям, национальным героям и военачальникам для того, чтобы увековечить знаменитые победы или великие события отечественной истории. Так, были воздвигнуты знаменитый памятник Петру Великому работы Фальконе (1782), памятник Минину и Пожарскому (1818), памятники полководцам Кутузову и Барклаю де Толли (1837), Николаю I (1859), а также адмиралу Крузенштерну (1874). За исключением памятника

Минину и Пожарскому, все они находятся в Петербурге. Церемония их открытия часто обставлялась большою помпою и несла определенный политический смысл.⁵⁴ Государство также часто отмечало официальными торжествами юбилейные даты рождения членов императорской фамилии, династические события, крупные сражения или важные договоры, память великих царей.⁵⁵ Празднование юбилеев и годовщин стало традицией в университетах и других высших учебных заведениях (что, вероятно, было заимствовано из Германии): чествовались выдающиеся профессора, отмечались значительные даты в истории учреждения. Эта традиция охватила ученые и другие общества, академии, гимназии, школы, а со временем и различные государственные и частные учреждения (фабрики, газеты, департаменты, театры и т. д.). В литературных кругах вошло в обычай устраивать торжественные обеды в честь пятидесятилетия литературной деятельности писателя. В тридцатые и сороковые годы Уваров, препятствовавший общественным проявлениям скорби по поводу смерти Пушкина, следил за тем, чтобы литературные чествования проходили строго в рамках официального протокола.⁵⁶ В 1844 г., когда Уваров взял на себя организацию похорон Крылова, писатель Н. И. Греч откликнулся на это следующей эпиграммой:

Враг Пушкина, приятель фон-дер-Фуру,
Хоронит русскую литературу.
Крылова прах несет
И в гроб его медаль кладет.
Дай нам возможность, Боже,
Над ним скорее сделать то же.

Памятники писателям устанавливались редко, и их открытие всякий раз было главным образом государственным событием. До 1880 г. было воздвигнуто шесть таких памятников. Пять из них находилось в провинции: в Архангельске (М. В. Ломоносову), Казани (Г. Р. Державину), Воронеже (А. В. Кольцову), Симбирске (Н. М. Карамзину), Поречье (Жуковскому); памятник Крылову был сооружен в городе, где жил баснописец, — в Санкт-Петербурге, однако в Летнем саду, где, как указывали некоторые, было сужено поле обзора и потому умалялось значение самого монумента. Средства на памятники Ломоносову, Крылову и Жуковскому собирались — как позднее и на памятник Пушкину — «повсеместной» подпиской, санкционированной царем и прово-

дившейся Министерством народного просвещения. Деньги поступали главным образом от императорской семьи, двора, богатых родственников писателей и местного дворянства.⁵⁷ Открытие этих памятников было событием сугубо местного масштаба, что, очевидно, являлось государственной политикой. Известный историк и журналист М. П. Погодин вспоминал, как в 1845 г. Уваров пресек попытки придать большое значение открытию памятника Карамзину. Когда Уваров отказался послать Погодина делегатом на открытие памятника, Погодин все-таки отправился туда как частное лицо. «Не понимаю, по какой причине, — вспоминал Погодин. — Удивительное дело. Ни одно из высших учебных учреждений не думало принять участие. Правительство как будто бы хотело открыть памятник молча. Хорошее ободрение для автора.»⁵⁸

Два юбилея — столетие смерти Ломоносова и столетие рождения Карамзина — отмечались в 1865 и 1866 гг. Первый из них был важным событием в жизни Московского университета, основанного Ломоносовым, и Академии наук, где он служил. Торжество сопровождалось публичными заседаниями, церковными службами, речами, лекциями, обедами и юбилейными статьями.⁵⁹ Юбилей Карамзина проходил скромнее, несмотря на усилия Погодина придать торжествам большой вес и значение. Некоторые консервативные газеты вяло попытались использовать юбилей Карамзина, чтобы раздуть поддержку политики России в Польше, но, как сообщил «Голос», «весь праздник заключился в стены университета, и кроме произнесенных на акте и за обедом речей решительно ничего из него не выжмешь».⁶⁰

Вторая попытка создания памятника

Через восемнадцать лет после смерти Пушкина и обращения Жуковского к царю с просьбой о создании памятника, именно в то время, когда в печати разгорались споры о Пушкине, была предпринята вторая и столь же неудачная попытка поднять вопрос о создании памятника. Докладная записка была составлена в одном из кабинетов Министерства иностранных дел, видимо, коллежским асессором Василием Познанским, который первым подписал ее, а за ним еще восемьдесят два человека, в основном советники средних классов, секретари, асессоры и регистраторы. В записке говорилось: «Александр

Сергеевич Пушкин принадлежит бесспорно к доблестнейшим деятелям нашего Отечества. Памятники, воздвигнутые уже Ломоносову, Карамзину и Крылову, свидетельствуют, что мы, Русские, подобно всем просвещенным народам, признательны к плодотворным заслугам наших великих писателей; в отношении, однако, гениальнейшего из наших поэтов, пробудившего дивными песнями столько прекрасных чувств и стремлений в соотечественниках, столько сделавшего для Русского слова, эта признательность не имеет пока внешнего выражения: Пушкину не поставлено еще памятника! в сих словах слышится упрек народу русскому; они напоминают ему неисполненный долг благодарности, давно у нас сознаваемый и устно и печатно, но остающийся без исполнения потому единственно, что между словами и делом главнейшее препятствие — первый шаг.

Если никто не решается на этот трудный шаг, почему же завидная честь его сделать не может принадлежать Министерству Иностранных Дел, той самой Иностранной Коллегии, в списки которой занесено было, когда-то, другое имя великого поэта.⁶¹

Одушевленные такими мыслями, чиновники Министерства ласкают себя надеждой, что просвещенный Начальник их, Князь Александр Михайлович Горчаков, как ревнитель отечественной славы, как совоспитанник по Лицею всеми любимого поэта, удостоит благосклонным вниманием единодушное желание его почитателей и не откажется предстательствовать у Милостивого монарха о разрешении открыть повсеместную в России подписку для сооружения в С.-Петербурге памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Можно смело сказать, что ответом на такое разрешение будет сочувствие всей России, а служащие в Министерстве Иностранных Дел почли бы себя счастливыми наполнить своими именами первые страницы подписки». Эта записка, сохранившаяся в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве, имеет в конце приписку, датированную 1899 годом: «Эту записку я представлял, в 1855 году, через посредство Егора Петровича Ковалевского, князю Горчакову, но его сиятельство уклонился от участия в этом деле. В. Познанский».⁶²

Текст записки напоминает написанный два года спустя страстные слова Соханской о «неисполненном долге признательности», «упреке» русскому народу и прямо отсылает к тем голосам в прессе, которые призывали создать памятник. Трудно представить себе более неподходящее

время и менее надежный канал для подачи подобного меморандума — Министерство иностранных дел во время поражения в Крымской войне. Помехой могли также стать закулисные политические интриги: новый либеральный министр народного просвещения Е. П. Ковалевский был, вероятно, не в самых лучших отношениях с консерватором Горчаковым. Возможно, Горчаков не хотел тревожить больного царя Николая, который умер в начале 1855 г. от нервного расстройства. Более вероятно, что записка была адресована вступившему на престол Александру II, но, как показывает приписка, так и не попала ни к одному из них.⁶³ Б. С. Мейлах не соглашался с мнением исследователей о том, что Горчаков, товарищ Пушкина по Лицею и адресат многих сердечных строк, написанных поэтом, был и его близким другом. Мейлах утверждает, что «из всех лицеистов Горчаков был человек наиболее чуждый, наиболее противоположный Пушкину»: Горчаков, первый ученик в классе, его «гордость», нацеленный на блестящую карьеру в царской бюрократии, а Пушкин — не слишком усердный лицеист, пренебрегающий государственной службой.⁶⁴ Как бы мы ни трактовали их отношения, Горчаков впоследствии демонстративно отстранился от подготовки и участия в пушкинских торжествах. Его не было в числе тех, кто затевал подписку в 1860 г., он не входил в специальный комитет, созданный в 1870 г. для наблюдения за осуществлением проекта, к тому же не присутствовал он и на открытии памятника в 1880 г., сославшись на болезнь.⁶⁵

«Пушкинский Лицей» начинает подписку

«Честь» начала подписки принадлежала другим выпускникам Лицея. Безусловно, они полагали, что у них были веские основания укреплять репутацию Пушкина — которая, конечно, зачастую отождествлялась ими с репутацией Лицея. Лицей тех лет, когда там учился Пушкин, был уникальным заведением, изначально задуманным как школа для двух младших братьев Александра I,⁶⁶ предусматривавшая энциклопедическое и гуманитарное образование на исключительно высоком уровне. На самом деле, в соответствии со своим уставом, составленным знаменитым царским министром-реформатором М. Н. Сперанским, Лицей имел те же права и привилегии, что и российские университеты, хотя его учащиеся были гимна-

зического возраста. Первоочередной его задачей была подготовка воспитанников к государственной службе, как заявил Александр II в 1861 г., «для образования достойных деятелей по всем отраслям государственного управления». Его воспитанники, отмечал Д. Ф. Кобеко, говоря о становлении Лицея, «соделавшись орудиями верховной власти, соделаются вместе органами общего мнения и предстоятелями народа перед лицом монарха». ⁶⁷

В последние годы правления Александра I Лицей утратил свое исключительное положение и привилегированный академический статус; ссылка Пушкина в 1820 г. и отзыв В. К. Кюхельбекера из-за границы в 1821 г. совпали с основательной реорганизацией Лицея и, по всей вероятности, ее подтолкнули. Директор Лицея Е. А. Энгельгардт и несколько профессоров и преподавателей были уволены, а гуманитарная учебная программа значительно урезана. В 1822 г. руководство Лицея было передано из ведения Министерства народного просвещения в ведение Управления военно-учебных заведений, а после 1826 г. Николай I применил еще более жесткие меры в отношении этого учебного заведения, которое ассоциировалось у него с вольнодумством и декабристами. ⁶⁸

19 октября 1861 г. Лицей отмечал пятидесятую годовщину. Теперь это был уже не «Царскосельский лицей» пушкинской эпохи, но «Александровский лицей», переехавший в 1843 г. из Царского Села в Петербург. В 1860 г. двадцать бывших лицейстов из 18 выпусков (и один бывший питомец лицейского «пансиона») собрались вместе для подготовки к юбилею. В этом кругу родилась инициатива создания памятника Пушкину. С этой идеей они обратились к директору Лицея Н. И. Миллеру, который, в свою очередь, обратился с этим вопросом к Петру Георгиевичу принцу Ольденбургскому. Принц был только что назначен главой недавно созданного Четвертого отделения, которое заменило Департамент Императрицы Марии Федоровны, в чье ведение был передан Лицей со времени переезда в Петербург; с этого момента принц стал попечителем Лицея. ⁶⁹ Друг и двоюродный брат Александра II, он возглавлял также консервативную группировку в правительстве, противостоявшую движению реформ. ⁷⁰ Как глава Четвертого отделения он мог сыграть важную роль в поддержке Лицея и идеи памятника. Комитет по проведению торжеств 1861 г. запросил согласия на объявление «повсеместно» подписки на памятник поэту, который был бы достоин «народной его славы, в местности, где благоугодно будет указать Его

Величеству». Принц изложил суть вопроса Александру II, рекомендовав «составление (...) проектов и самое сооружение памятника, руководствуясь бывшими в последнее время примерами, исполнить по соглашению с министром народного просвещения, Академиею художеств и Главным управлением путей сообщения и публичных зданий». ⁷¹ Это предложение, изложенное в подобной обтекаемой форме, встретило одобрение царя, который написал резолюцию: «Согласен, и памятник поставить в Царском Селе, в бывшем Лицейском саду», — подходящем, хотя и не слишком посещаемом месте.

Кампания по сбору средств на памятник

Многотомная переписка относительно сбора средств на строительство памятника Пушкину в шестидесятых годах частично сохранилась до наших дней и позволяет в общих чертах проследить ход подписки. 18 декабря 1860 г. министр внутренним дел С. С. Ланской разослал по различным министерствам циркуляр, в котором объявлялось о подписке, и ко дню лицейского юбилея, 19 октября 1861 г., она уже велась. Месяцем ранее Ланской проинформировал Министерство финансов о решении царя и приступил к налаживанию механизма принятия пожертвований. Деньги должны были собирать уездные казначейства и пересылать их в главные губернские казначейства, которым, в свою очередь, следовало переводить деньги в главное казначейство в Петербурге; в марте было установлено, что деньги должны быть переданы во вновь созданный Государственный банк для накопления процентов. ⁷² Как и в случае с посмертным изданием сочинений Пушкина в 1838—1841 гг., для реализации частного, в сути своей, почина использовался государственный бюрократический аппарат вследствие слабости независимых коммерческих и иных структур. То, что инициатива исходила от частных лиц, приобрело огромное значение в 1880 г., когда организаторы Пушкинских торжеств и газеты доказывали, что общественное мнение наконец-то нашло своим чувствам, при том что официальные учреждения выступали «как самостоятельные общественные единицы», как подлинные орудия и представители народной воли. ⁷³

Православная церковь колебалась относительно активного участия в подписке, но все-таки согласилась объявить

о ней по Духовному ведомству посредством публикаций в церковном журнале и епархиальных ведомостях, с тем чтобы пожертвования могли попасть в должное место. Есть, однако, свидетельство того, что по крайней мере в одном случае подписка на памятник дошла до самых низших слоев церковной иерархии. Епископ Нижегородской губернской консистории, получив циркуляр министра внутренних дел, разослал его по различным церковным учреждениям своей епархии. Сдержанная реакция на его обращение выявила страшную нищету сельских священников в России той поры. Священник села Адашева, некий Иоанн Колосев, сообщил, что «по бедности своего состояния священно-церковно-служители пожертвовать не могут».⁷⁴ Но от более восьмидесяти маленьких деревень, от священников, дьяконов, ризничих и пономарей деньги потекли тонкой струйкой, всего лишь по 2, 5, 7 и 10 копеек. 7 декабря 1861 г. Колосев сдал деньги в сумме 13 рублей 84½ копейки губернскому казначею Нижегородской епархии.

Министерство финансов регистрировало пожертвования со всех концов империи.⁷⁵ Поступили деньги, собранные чиновниками Варшавского таможенного ведомства (108 рублей 16 копеек); Главным управлением путей сообщения и публичных зданий (13 рублей 86 копеек); начальством Астраханских заводов (274 рубля 2,75 копейки); Забайкальским и Якутским областными правлениями и управлением Войска Донского (36 рублей 80 копеек); от «жителей Царства Польского» (108 рублей 10,5 копейки); от Нерчинского горного правления (23 рубля 28,75 копейки); от Военного губернатора Приморской области Восточной Сибири (36 рублей 80 копеек); от обер-провиантмейстера войск Оренбургского края (10 рублей); и от губернских комитетов, школ, солдат, управляющих и даже цензоров.

Дела Министерства финансов содержат ежемесячные отчеты разных губернских казначейств, весьма точно отражающие ход подписки на местах. За первые три месяца было собрано более 200 рублей, а в следующие три месяца эта цифра почти удвоилась. С июля 1861 г. по июль 1862 г. двадцать или даже более губерний присылали ежемесячные пожертвования. Из общей суммы — 13 541 руб. на 16 ноября 1868 г. — 55 % было собрано в Санкт-Петербурге, центре всего начинания.⁷⁶

Подписка затухает

О начале подписки газеты оповестили без помпы в январе 1861 г., и она нашла спокойный, но в целом положительный отклик. Пять с половиной лет спустя фельетонист «Петербургского листка» спрашивал своих читателей, могут ли они вспомнить, когда началась подписка, в 1860 или в 1861 г., и добавлял, что «желательно бы было знать, в каком положении находится вопрос о памятнике». ⁷⁷ Через некоторое время он сам ответил на собственный вопрос, сообщив 6 августа 1866 г., что собрано только четырнадцать из необходимых восьмидесяти тысяч рублей. Как ему удалось выяснить, начиная с 1863 г. «сбор едва ли увеличился, так как никто даже не знает, где принимается эта подписка. (...) В таком деле, касающемся всей читающей публики, особенно необходима гласность и общедоступность подписки, без этого она едва ли достигнет требуемого размера». ⁷⁸ Хотя жертвования, поступавшие через государственные казначейства, продолжали регистрироваться еще осенью 1863 г., к этому времени подписка фактически прекратилась.

Проблема, по-видимому, заключалась в том, что комитет по празднованию Лицейского юбилея, давший толчок всему предприятию, изжил себя после лицейских торжеств и прекратил свое существование; подписка продолжалась фактически по инерции. Когда несколько лет спустя, весной 1871 г., подписка была наконец возобновлена, известный консервативный педагог М. Ф. де-Пуле жаловался в «Санкт-Петербургских ведомостях», что «подписка прекратилась именно от того, что о ней хранилось непонятное молчание, продолжавшееся 11 лет (...) Более небрежного отношения к делу, несомненно самой высокой популярности, большего пренебрежения к публике со стороны прежних распорядителей, нельзя себе и представить». ⁷⁹

Трудно не прийти к выводу о том, что набиравший силу радикализм в русском обществе вкупе с «крестовым походом против Пушкина», который был в разгаре именно в это время, помог подавить энтузиазм кампании по сбору средств на памятник. Внимание общества было поглощено революционным движением. К 1866 г. (когда Каракозов стрелял в царя), ознаменовавшему конец «оттепели» шестидесятых годов, интерес к начинанию постепенно угас по вине организаторов и, судя по всему, общественности.

Вялая организация подписки оказала свое влияние и на Академию художеств, где произошел небольшой

инцидент вокруг вопроса о том, кому доверить создание памятника. Когда был опубликован циркуляр, оповещавший о начале подписки, несколько профессоров Академии, с одобрения принца Ольденбургского, начали готовить эскизы памятника, состоялось даже несколько презентаций проектов царю.⁸⁰ Но поскольку официально конкурс с указанием точных условий не объявлялся, среди художников и в самой Академии наблюдались некоторые признаки разочарования. В конце января 1862 г. царь высказался за проведение открытого конкурса; но спустя несколько дней, после вмешательства принца Ольденбургского, он заказал памятник профессорам Бахману и Лаврецкому. В отличие от широко обсуждавшихся в печати конкурсов на памятник Пушкину в 1870-х годах этот вопрос практически не вызвал в то время никакой реакции общественности, и даже после того как царь принял решение, князь Гагарин, вице-президент Академии художеств, объявил дискуссию в целом преждевременной «по случаю неполученных сведений о средствах, имеющихся для сооружения памятника Пушкину». В 1866 г., хотя царь и «окончательно» доверил Лаврецкому заказ на создание памятника по проекту Бахмана, оба художника, в связи с тем что была собрана столь малая сумма и что «едва ли можно было рассчитывать, чтобы впоследствии подписка пошла успешнее», попросили возместить им большие расходы. 1 апреля 1866 г. принц Ольденбургский выплатил им 1900 рублей из фондов Четвертого отделения с условием, что они отказываются от всяких претензий на сооружение монумента, если он будет возведен в будущем.⁸¹ Он также распорядился «снести с Министерством внутренних дел о возобновлении приглашения к пожертвованиям на памятник Пушкину». Сделано ничего не было. Казалось, что вся история с памятником зашла в тупик.

ТЕ, КТО НЕ ДАВАЛ ОГНЮ УГАСНУТЬ:
ПУТЬ К ПАМЯТНИКУ
1869—1880

Постепенное снижение темпов подписки и прекращение ее в конце 1860-х годов совпали с писаревским «низвержением» Пушкина и выглядели подтверждением сурового приговора, вынесенного ему радикалами. Но оставалось несколько литературных обществ, которые сознательно ставили себе цель сохранить «пушкинские» традиции в русской литературе и защитить те литературные и общественные ценности, которые старались уничтожить нигилисты.

Пушкин и «лицейский культ»

В 1869 г. небольшая группа питомцев Лицея, возглавляемая братьями К. К. и Я. К. Гротами, попыталась возобновить подписку на памятник Пушкину. Они считали, что неудача подписки произошла «от недостатка своевременных распоряжений для <ее> распространения и поддержания», а, безусловно, «не от охлаждения общества к памяти самого популярного из русских поэтов <...>». Значение Пушкина так сознается всеми, права его на памятник так несомненны, что к сказанному прибавлять нечего». ¹ Гроты включились в это дело, по их словам, потому, что «на них лежала нравственная обязанность возобновить его, чтобы сделанные пожертвования могли быть употреблены по назначению и задуманное дело не рушилось окончательно». ²

Гроты более чем кто-либо способствовали формированию и поддержанию знаменитого «лицейского культа», названного так самим Я. К. Гротом.³ Начиная с 1860 г. они организовывали ежегодные совместные встречи пятого, шестого и седьмого выпусков (соответственно 1829, 1832 и 1835 гг.).⁴ Бывшие однокашники собирались в одном из лучших петербургских ресторанов на обеды с тостами и на вечера «светлых и грустных воспоминаний о минувшей молодости, о прожитом времени», годах, проведенных в Лицее.⁵ Я. К. Грот, профессор литературы в Лицее с 1853 по 1862 г. и лучший знаток истории «Пушкинского лицея», читал на собраниях группы свои статьи о Пушкине и Лицее, а также письма, стихотворения и другие документы из лицейского архива, который он собирал.⁶

Ни одно из этих собраний не проходило без чтения стихов Пушкина, посвященных Лицею. Особым успехом пользовалось опубликованное Я. К. Гротом «Девятнадцатое октября» (1825).⁷

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Протокол встречи 1868 г. подтверждает, что именно пушкинские стихотворения, посвященные Лицею, послужили стимулом для встреч: «Приступая, по общему желанию, к чтению „19-го Октября“, секретарь предварительно обратил внимание слушателей на значение Пушкина в истории Лицейских собраний, которые без его поэтического слова едва ли бы получили прочное существование и настоящий свой характер». Чтение было выслушано «с общим горячим сочувствием» и часто прерывалось «громким выражением его».

В стихотворениях, посвященных Лицею, Пушкин противопоставляет безмятежные дни, там проведенные, несчастливым дням ссылки, а впоследствии — печальной судьбе своих школьных товарищей-декабристов.⁸ В цитированном выше стихотворении поэт удивляет своих однокашников тем, что предлагает выпить за здоровье Александра I и простить ему его «неправое гоненье», по-

сколько именно «он взял Париж, он основал Лицей». Примечательно, что эти строки были вычеркнуты из публикации Грота.⁹ Вообще для братьев Гротов и их товарищей встречи имели совсем другое политическое значение, нежели для Пушкина. Судя по протоколам, которые вел К. К. Грот, встречи были, кажется, только возможностью для лояльных и самодовольных «отцов» тридцатых годов устроить разнос политически непослушному новому поколению «сыновей». Например, для Ф. Н. Анненского, выпускника шестого курса, чиновника по особым поручениям в Министерстве внутренних дел, Лицей представлял собой бастион консервативных ценностей. Обращаясь к собравшимся в 1865 г., он говорил, что Лицей олицетворяет просвещение, прогресс и «полезное развитие», что положительно; однако, «к несчастью, вместе с новыми научными истинами и новыми элементами гражданского и экономического быта, отразившимися благотворно на государственной и народной жизни, в нее вошли отчасти и новые нравственные принципы, угрожающие совершенную деморализацию будущего поколения: безверие, эмансипация женщины, посягательство на разрушение семейного начала, отрицание всего изящного, высокого, святого... Могли ли мы, чтя предания родного, первобытного Лицея, сочувствовать подобным грустным и безобразным порождениям новейшей цивилизации? Нет, товарищи!.. Остаемся навсегда, как были до сих пор, упорными, непреклонными староверами в религиозных и нравственных убеждениях». (Отметим тонкую парафразу приведенного выше пушкинского стихотворения. Следует также отметить, что «первобытный Лицей» — это не пушкинский Лицей, но оплот официальной народности конца двадцатых — тридцатых годов.)¹⁰

Несколько лет спустя, на встрече 1872 г., Я. К. Грот дал свое толкование лицейской «идеи» — некое сентиментальное и анахроничное прочтение пушкинских стихотворений, посвященных Лицею: «В чем же заключается эта идея? Честь и благородство во всех отношениях и делах, любовь ко всему прекрасному, к искусству и особенно к поэзии, уважение к науке и труду, к нравственному достоинству, наконец товарищество в самом лучшем смысле слова, таковы были отличительные черты духовной жизни Лицея, в стенах которого мы провели молодость».

Подписка возобновляется и пересматривается

Вполне закономерно, что именно эти люди, для которых «Пушкин» и «Лицей» символизировали все, подлежащее, как они были уверены, в России сохранению, и заслон против радикализма, возродили инициативу создания памятника.¹¹ Следует отметить, однако, что подобный взгляд на Лицей и его традиции в розовых тонах был далеко не общепринятым. В конце тридцатых и в сороковых годах углублялось размежевание среди лицейстов, между консервативными «аристократами» типа графа Д. А. Толстого из двенадцатого выпуска, будущего министра народного просвещения и обер-прокурора Священного Синода, и такими, как лицейст следующего выпуска М. Е. Салтыков (Щедрин), будущий сатирик и критик царизма, который примкнул к новому общественному и интеллектуальному движению, возглавляемому Белинским и Грановским.¹² В начале сороковых годов Салтыков вместе со многими соучениками попал под влияние старшего по возрасту М. В. Буташевича-Петрашевского, лицейста десятого выпуска, арестованного в 1849 г. вместе с Достоевским и другими членами кружка за пропаганду идей утопического социализма. Хотя учившийся в Лицее на казенном коште Салтыков и принимал участие в лицейских встречах на протяжении шестидесятих годов, а возможно, и позже, он возражал против «аристократической» природы лицейского культа.¹³ Впоследствии он скептически относился к Пушкинским торжествам 1880 г.

На встрече 19 октября 1869 г. К. К. Грот предложил «возобновить вопрос о памятнике Пушкину и с этою целью назначить комитет из гг. Шторха, Корнилова, Кавелина, К. Грота и Я. Грота».¹⁴ Этот общественный комитет обратился непосредственно к принцу Ольденбургскому с просьбой, чтобы «дело ведено было под главным наблюдением и при содействии Его Высочества».¹⁵ 7 апреля 1871 г. царь утвердил несколько измененный состав комитета под формальным председательством принца Ольденбургского. В него вошли два соученика Пушкина: адмирал Ф. Ф. Матюшкин (являвшийся также членом комитета по организации лицейского юбилея) и барон М. А. Корф, а также братья Гроты, Л. И. Колемин, Ф. Д. Корнилов и Н. А. Шторх; Горчаков, напомним, отказался от участия. Матюшкин скончался в 1872 г., Корф — в 1876 г., Шторх — в 1878 г.; позднее в комитет вошел М. Н. Похвинец.¹⁶

Прежде всего комитет пересмотрел свою стратегию. Поскольку «избранием удобнейшего для памятника места обуславливается и самый успех подписки», рассудил комитет, то Лицейский сад для него не самое лучшее место. Здесь памятник был бы «вне центра общего движения» и «не вполне отвечал бы идее общенародного значения». Матюшкин предложил Москву. Все остальные согласились, объяснив это тем, что в Петербурге уже установлено много памятников, в Москве же — мало, а монументов писателям нет вообще. Может быть, здесь отозвались антипетербургские настроения. «Москва, — рассуждали члены комитета, — есть месторождение Пушкина, и по значению его произведений для всего русского мира, памятник его, поставленный в этом городе, по всей вероятности, привлечет бы наиболее симпатий, и объявленная в этом смысле подписка вызвала бы наиболее пожертвований».¹⁷ Царь утвердил изменения 20 марта 1871 г. и 16 июня 1872 г. одобрил выбор места для памятника в конце Тверского бульвара напротив Страстного монастыря¹⁸ — на улице, которая, как отмечал П. И. Миллер, «имеет такое же первенствующее значение для Москвы, какое имеет Невский проспект для Петербурга».¹⁹ Комитет из городских представителей и хорошо известных московских литераторов (включая И. С. Аксакова, М. П. Погодина, Ю. Ф. Самарина и М. Н. Каткова) выбрал место, а Московская городская дума отвела участок почти шестьдесят пять квадратных метров в конце бульвара под небольшую площадь для памятника.

В 1880 г. газета «Русский курьер» объявила, что выбор места для монумента в Москве на Тверском бульваре возвестил новую эру в сооружении общественных памятников. Памятник Пушкину, писала газета, «стоит <...> совершенно порознь от тех более или менее банальных, возводимых обыкновенно казенным способом, монументов, которые десятками украшают собой площади Берлина или Петербурга, изображая (часто в обязательной римской тоге) различных полководцев старого и нового времени <...> Их <мирных геров. — М. Л.> место не там, куда обыкновенно прятали до сих пор статуи немногих русских писателей, удостоивавшихся монумента, — например, не в садах, не во внутренних дворах казенных зданий».²⁰ Когда Высочайше учрежденный Комитет для сооружения памятника Пушкину объявил о своем существовании, он оставил вопрос о месте памятника (в Москве или в Петербурге) открытым и предложил обсудить его в прессе.

Но поскольку откликов последовало немного, планы в отношении Москвы остались в силе.²¹

Снижение авторитета Пушкина и упадок литературной критики

Возобновление подписной кампании прошло почти незамеченным прессою. Казалось, что «вопрос о Пушкине» решен окончательно, причем не в пользу Пушкина. Но время от времени защитники Пушкина давали о себе знать. Кое-кто пытался, довольно неуклюже, пробудить интерес к памятнику, используя его как предлог для пропаганды единения вокруг идеи панславизма, популярного в конце шестидесятых и в семидесятых годах.²² Другие продолжали выставлять Пушкина в качестве образца, на который должна была ориентироваться русская литература. Консервативный журнал Каткова «Русский вестник» высказывал недовольство существующим положением вещей, при котором радикальные журналы находились в состоянии непримиримой вражды ко всему лучшему, что есть в русской литературе, и писал об отсутствии подлинной литературной критики. «Тенденциозная печать сумела обставить этот вопрос всяческою ложью, против которой наша читающая масса не имеет другого оружия кроме сохранившегося в ней здравого смысла и художественного чутья. Мы должны были восходить к Пушкину, чтобы найти действительное русло того литературного течения, которое публика различает ощупью и которое одно только и имеет право на внимание критики».²³ Когда в 1873 г. была переиздана биография Пушкина, написанная Анненковым, Н. Н. Страхов, сильно озабоченный состоянием духовного здоровья в России конца шестидесятых годов в связи с отношением к Пушкину, уверял своих читателей в неизбежном конечном триумфе поэта: «Из всех испытаний, из всякого тревожления мнений и разных прогрессов, из тумана, которым время застилает все прошлое, образ поэта выходит неуязвимым, не только не потускневшим, а сияющим все больше и больше. (...) Пройдет много лет, и все-таки будущий либеральный ритор, развязно доказавши, что мрак и дикие похоти составляли все содержание прошлой русской литературы, с тайным озлоблением запнется перед образом поэта, которого всепобедная красота осталась все так же неотразима, как была. (...) Понимание Пушкина находится в великом упадке

в наше время. Нельзя сказать, чтобы подписка на памятник шла очень блистательно и быстро. Наши журналы, кроме нескольких веских слов, сказанных „Московскими Ведомостями“,²⁴ встретили это дело глухим молчанием; они не нашли здесь повода поговорить о Пушкине, не сочли возможным сделать из этого самый крошечный современный вопрос, и хоть на минуту отвлечь внимание читателей от более важных предметов».²⁵

Годом позже Страхов продолжал настаивать, что «магическое действие» имени Пушкина вовсе не исчезло, но «продолжается до сих пор и даже становится глубже»²⁶ и сильнее.

«Истинно народное предприятие»

В своем «Историческом очерке создания памятника Пушкину», прочитанном перед собравшимися на Пушкинских торжествах 5 июня 1880 г., Я. К. Грот объявил, что вновь сформированный комитет положил «в основание своих действий два коренные начала — гласность и строгую отчетность».²⁷ Через несколько дней после утверждения царем комитета было разослано объявление всем ведущим петербургским и московским газетам и нескольким журналам, гласившее, что подписка собрала 17 114 рублей (с процентами — 18 254 рубля). Далее комитет объявил, что «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», «Вестник Европы» и «Русская старина» в Петербурге, а также «Московские ведомости», «Современные известия», «Русский архив» и «Русская летопись» в Москве согласились оказать помощь в сборе денег, а несколько ведущих книготорговцев — Базунов, Глазунов, Кожанчиков и Исаков, владелец прав на издание сочинений Пушкина, — также принимают пожертвования.

Для того чтобы обеспечить «строгую отчетность» и снова запустить подписку, комитет отпечатал книжки для регистрации пожертвований. Шторх, только что ставший главным помощником принца Ольденбургского по Четвертому отделению, возобновил подписку в чиновничьих кругах, рассылая сотнями эти книжки.²⁸ Значительное их число было распространено через Министерство народного просвещения при содействии министра, воспитанника Лицея, графа Д. А. Толстого, принимавшего участие в работе юбилейного комитета 1861 г. Пожертвования перево-

дидлись через учреждения Министерства финансов или направлялись непосредственно в Четвертое отделение.

На этот раз подписка шла равномерно. В ноябре 1871 г. Комитет сообщил, что за восемь месяцев после ее возобновления поступило 10 375 рублей, что составляло более половины суммы, собранной за предыдущее десятилетие.²⁹ «Голос», «Вестник Европы», «Русская старина» и другие периодические издания печатали списки сотен людей, приславших пожертвования. Среди них были преподаватели гимназий, чиновники всех классов, солдаты, литераторы, члены императорской фамилии, губернские общества и всевозможные комитеты, губернаторы и таможенники; суммы пожертвований колебались от нескольких рублей до нескольких сотен. В месяц собиралось три-четыре тысячи рублей. На 1 января 1872 г. новая подписка превысила сумму 18 254 рубля, которая была собрана в шестидесятые годы. К концу первого года своего проведения она собрала 31 414 руб. 91 коп. В сумме это дало чуть менее 50 000 рублей. Пожертвования не иссякали, и к январю 1873 г. общий итог был более 70 000 рублей — и цель была уже близка.³⁰ Окончательная сумма, которую Грот огласил перед собравшимися делегатами на Пушкинских торжествах 1880 г., составила 83 992 руб. 61 коп. и около 22 000 рублей процентов за двадцать лет, ушедших на создание памятника, — а всего 106 575 руб. 40 коп. Это было, сказал Грот, «истинно народное предприятие, совершенное по частному почину, безо всякой примеси бюрократического или приказного характера, без дополнительных пособий от казны и притом со сбережением довольно значительно суммы».³¹

Выбор нового проекта памятника продолжался три года и явился также причиной задержек его создания. Конкурс на лучшую статую Пушкина вызвал в прессе оживленную дискуссию, в которой приняли участие ведущие художники и художественные критики.³² Споры велись в том числе вокруг того, какой должна быть подлинно «национальная» скульптура, и отражали борьбу с господствовавшей неоклассической школой, представители которой хотели видеть пьедестал украшенным аллегорическими персонажами, иллюстрирующими жизнь и произведение Пушкина (как на памятнике Крылову). В пятой главе седьмой части «Анны Карениной» Левин критикует аллегорическую модель памятника Пушкину М. М. Антокольского как воплощающую ложное «вагнеровское направление» в современном искусстве. В 1872 г. был установлен восьмимесячный срок для создания моде-

лей, но на выставке в марте 1873 г. было присуждено только пять из шести премий, поскольку ни один из представленных пятнадцати проектов не был признан удовлетворяющим требованиям. Год спустя публике было представлено еще девятнадцать моделей — результаты второго конкурса, и опять победитель не был назван. Жюри попросило двух финалистов — П. П. Забелло и А. М. Опекушина — продолжить работу над своими моделями, и только после третьего конкурса хорошо ныне известная статуя задумчивого Пушкина была признана лучшей. Вся работа по созданию монумента была поручена русским: статую должны были отлить в Санкт-Петербурге, пьедестал спроектировал архитектор И. С. Богомолов, а весь ансамбль был сооружен под руководством подрядчика А. А. Баринаова. Статуя работы Опекушина знаменовала становление «национальной», реалистической традиции в русской монументальной скульптуре и стала образцом для многих русских и советских монументов.³³

В марте 1878 г., когда работа над статуей Опекушина была уже в полном разгаре, К. К. Грот объявил о необходимости вернуть все подписные книжки. Министерство народного просвещения с некоторой растерянностью докладывало, что только один округ полностью завершил подписку и что более трети подписных книжек еще не возвращено (хотя некоторое их число, вероятно, было направлено непосредственно в Четвертое отделение). Когда в апреле 1878 г. директор вяземской Александровской гимназии Смоленского земства Н. А. Зак ответил на запрос окружного центра, что «пожертвований на этот предмет не поступило», он получил следующую холодную отповедь (что подвергает сомнению утверждение Грота, согласно которому подписка была полностью свободной от какого бы то ни было «бюрократического или приказного характера»): «Не допуская возможности, чтобы служащими и учащимися Вяземской гимназии была оставлена в пренебрежении память народного гениального поэта, и предполагая, что предместниками Вашими по управлению гимназиею просто была забыта эта подписная книжка, я имею честь обратно возвратить ее к Вам, Милостивый Государь, покорнейше прося Вас предложить желающим в среде служащих и учащихся вверенной Вам гимназии сделать посильные, хотя бы в самом скромном размере, пожертвования на памятник Пушкина». ³⁴ (К 8 июня удалось собрать 24 рубля.) Другие провинившиеся держатели подписных книжек также почувствовали себя неловко и вынуждены были принести

извинения вкупе с пожертвованиями. Во многих учреждениях за семь прошедших лет подписные книжки потеряли из виду. Чиновники из Тверской губернии отвечали, что им ничего не известно о судьбе одной из них — она могла затеряться среди бумаг или сгореть при пожаре.³⁵ Судьба некоторых других также осталась невыясненной. Главный инспектор школ Восточной Сибири, где была затруждена связь и велика текучесть среди служащих, сообщил, что одна книжка «была получена бывшим штатским смотрителем училищ Иркутского округа Поповым, но где она находится и были ли собраны по ней деньги, из дел не видно и разыскать за смертью Попова не представляется возможным». Другая книжка «была получена бывшим штатным смотрителем училищ Киренского округа Кривошапкиным; но по приеме от него дел настоящим штатным смотрителем таковой не было сдано и за всеми стараниями последний найти не мог. Сам же Кривошапкин умер».³⁶

— Или умильная шутка?

Это был подходящий материал для сатиры, и Салтыков, разделявший скептицизм радикалов в отношении Пушкина (а позднее и в отношении Пушкинских торжеств), не замедлил высмеять подписку. «Отечественные записки» с иронией сообщали, что в 1876 г. полицейские власти, производя «сборы» среди населения на разные цели, ухитрились раздобыть для памятника Пушкину по 5 и 10 коп. «Вообще, — писал журнал, — становой пристав, собирающий пожертвования (<...> среди купцов и крестьян, не имеющих никакого понятия о Пушкине, это — такая комедия, которую едва ли где-нибудь встретишь, кроме российского государства».³⁷ В 20-й главе «Современной идиллии» (печатавшейся в 1877—1883 гг.) купец Онуфрий Петрович Парамонов представляет свое жизнеописание — список ежегодных взяток и других расходов, которые он вынужден был нести. Среди них он упоминает и мизерное пожертвование на памятник Пушкину:

	Руб.	Коп
«В 1863 году призывал генерал и чаем потчевал. Дадено на общепользное устройство	25 000	—

	Руб.	Коп.
В 1864 году оному же генералу на по- купку имения займа дадено	40 000	—
В 1865 году, по случаю чудесного избав- ления	30 000	—
В сем же году немецкий прынец приез- жал, чай у нас в доме кушал, займа да- дено	6200	—
Оный же прынец отъезжая, вновь займа выпросил	6200	62
Адъютанту его	3000	—
Прочим всем	3200	—
В 1866 году по случаю свободы книго- печатания	50	—
В 1867 году на предметы вопче	5000	—
В 1870 году квартальному надзирателю на университеты	600	—
В 1871 году ему же на распространение здравых понятий	1000	—
В 1872 году ему же на памятник Пуш- кину		15». ³⁸

Совершенно очевидно, что Салтыкова не впечатляли ни число жертвователей, ни их глубокая преданность Пушкину.

На пути к завершению дела не переставали возникать всяческие помехи и задержки. Сначала дата открытия памятника Пушкину была назначена на день встречи выпускников Лицея — 19 октября 1879 г., однако хотя сама статуя была готова в срок, пьедестал еще не был закончен. Открытие перенесли на день рождения Пушкина — 26 мая 1880 г., который сочли более уместной датой, нежели годовщина Лицея или день смерти поэта. По мере приближения мая, однако, некоторые журналисты начали беспокоиться по поводу того, что событие пройдет незамеченным и праздник не состоится. «Современные известия» писали 3 апреля 1880 г. в редакционной статье: «Мы медлили напоминать об этом, ожидая почина от учреждений, ближайшим образом причастных предполагаемому празднику, каковы: университет, Общество любителей русской словесности, Общество драматических писателей, даже дума наконец. Но время идет, и ни о каких приготовлениях к предстоящему народному торжеству не слышно. Опасаемся, как бы не ограничилось все одною казенною рутинною». Это был бы, продолжала газета, «стыд и срам». Издатели-редакторы

газеты Ф. П. Гиляров и Н. П. Гиляров-Платонов сами являлись членами Общества любителей российской словесности (ОЛРС), которое все время прямо или косвенно оказывало содействие создателю памятника. Вскоре после появления этой редакционной статьи председатель ОЛРС С. А. Юрьев связался с Я. К. Гротом, членом Общества на протяжении более двадцати лет, с тем чтобы ОЛРС «взяло организацию пушкинских торжеств в свои руки». ³⁹

ОЛРС и движение за свободу слова в шестидесятые годы

ОЛРС играло странную, маргинальную роль в литературной жизни России на протяжении нескольких эпох. До своего громкого триумфа в 1880 г. оно пыталось (не очень успешно) стать организационным центром русской литературы. Основанное в том же 1811 г., что и Царско-сельский Лицей, как литературное и учное общество в интересах Московского университета и литературного мира в целом, оно сыграло важную роль в полемике о русском литературном языке, разгоревшейся в начале века. ⁴⁰ Как и Лицей, оно подверглось правительственному давлению после восстания декабристов, хотя вряд ли его можно было обвинить в вольнодумстве. Когда в 1829 г. Общество избрало своим членом Пушкина, он отказался, поскольку был избран вместе с вызывавшим у него неприязнь Ф. В. Булгариным (впоследствии пользовавшимся дурною славою клеветника и плагиатора Пушкина). В середине двадцатых годов Общество изжило себя. Оплот академизма самого консервативного толка, оно продолжало существовать исключительно как своего рода литературное ископаемое. Оно медленно и своевременно ушло со сцены в начале тридцатых годов, причем настолько тихо, что его кончина нигде не была формально отмечена.

Отсутствие официального объявления о роспуске впоследствии приобрело важное значение. В 1856 г. К. С. Аксаков и его отец, С. Т. Аксаков (состоявший в ОЛРС с 1821 г., «почетным членом» с 1829 г.), выступили инициаторами возрождения Общества. Они полагались на то, что права ОЛРС, записанные в его первоначальном уставе 1811 г., считались по-прежнему остающимися в силе. ⁴¹ Устав наделял ОЛРС правом проводить публичные собрания и печатать труды без разре-

шения цензуры. Эти привилегии имели огромное значение в период, предшествовавший освобождению крестьян, особенно для аксаковского славянофильского кружка, которому было отказано в издании собственного журнала с 1852 г.⁴² Как писал Н. П. Гиляров-Платонов (также член этого кружка в ту пору), Аксаков понял, что ОЛРС «обладало важным правом, и притом единственное в России: правом свободного слова». По словам Гилярова-Платонова, они «рассуждали, что Общество при настоящих обстоятельствах могло бы, видоизменив задачу, стать важным органом общественного сознания, пусть и ограничиваясь сферою литературы».⁴³

Гиляров-Платонов усматривал в возрождении ОЛРС, которое после двадцатичетырехлетнего перерыва провело свое 103-е заседание в мае 1853 г., отклик на все настойчивее заявлявшееся требование общества о большем участии в политической жизни страны. Это требование, утверждал он, начало предъясняться во время Крымской войны в моде на званые обеды, на которых в тостах и в речах затрагивались общественные проблемы. Журналистика развивалась, вспоминал Гиляров-Платонов, но люди «этим не довольствовались; зародился здесь (в Москве. — М. Л.) обычай спичей, о котором в Петербурге не посмели бы и думать. И ради них, — да, ради спичей единственно, — устраивались богатые обеды с сотнями кувертов. Робко о своем праве заявлял этот обычай тоже еще в прошлое (Николая I. — М. Л.) царствование, начавшись чествованием севастопольских защитников. Но теперь слово просилось по каждому поводу, хоть и теперь если не робость, то застенчивость не покидала еще знаменитых даже впоследствии ораторов».⁴⁴

К 1880 г. ОЛРС приобрело богатый опыт организации юбилейных литературных праздников в форме обедов и публичных заседаний, на которых произносились речи. В годы, предшествовавшие Пушкинским торжествам, Общество отмечало, в частности, юбилей Московского и Петербургского университетов, столетие Шиллера (1859), трехсотлетие издания в России первой книги, трехсотлетие Уильяма Шекспира (1864), столетие со дня смерти Ломоносова и шестисотлетие Данте (1865), пятидесятилетие и другие даты литературной деятельности Ф. Н. Глинки (1866), И. И. Лажечникова (1869), А. Н. Островского (1872), П. И. Мельникова-Печерского и Ф. Б. Миллера (1874), А. Ф. Писемского (1875); и, кроме того, поминки А. С. Хомякова (1860), Н. И. Греча и митрополита Филарета (1867), В. Ф. Одоевского (1869), В. И. Даля

(1873), Ф. И. Тютчева (1874), А. К. Толстого (1875) и других.⁴⁵

Неудачная попытка примирения

Сперва правление ОЛРС попыталось объединить литературных деятелей разных политических взглядов. Например, 28 января 1859 г. оно демонстративно приняло в члены общества романиста «изобличительного» направления И. С. Селиванова, И. С. Тургенева, недавно приобретшего известность Л. Н. Толстого и славянофила А. И. Кошелева. В своей вступительной речи Толстой, в отличие от Селиванова, отстаивал независимость искусства и, что примечательно, защищал Пушкина: «В последние два года политическая и в особенности изобличительная литература, заимствовав в своих целях средства искусства и найдя замечательно умных, честных и талантливых представителей, горячо и решительно отвечающих на каждый вопрос минуты (...), казалась, поглотила все внимание публики и лишила художественную литературу всего ее значения. (...) В последние два года мне случилось читать и слышать суждения о том, что времена побасенок и стихков прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться, что чистое искусство невозможно, что литература есть только орудие гражданского развития общества и т. п. (...) Общество знало, что оно делало, продолжало сочувствовать одной политической литературе и считать ее одну — литературой. Увлечение это было благородно, необходимо и даже временно справедливо. (...) Распространенные в обществе бессознательные потребности уважения к литературе, возникшее общественное мнение, скажу даже, самоуправление, которое заменила нам наша политическая литература, вот плоды этого благородного увлечения. Но как ни благородно и ни благотворно было это одностороннее увлечение, оно не могло продолжаться, как и всякое увлечение. Литература народа есть полное, всестороннее сознание его (...) литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени, и литература, без которой не развивался ни один народ, имеющий силу и сочность. (...) <Обращение от политической литературы к художественной — М. Л.> — новое доказатель-

ство силы и возмужалости нашего общества и литературы». ⁴⁶ (Позиция Толстого схожа с тургеневским «либеральным» отношением к творчеству Пушкина, выраженным в речи 1880 г., хотя к тому времени собственные взгляды Толстого на Пушкина, русскую литературу и литературу для народа радикальным образом изменились.) Примечательно, что, отвечая Толстому, А. С. Хомяков, в то время председатель ОЛРС, отстаивал необходимость искусства, которое занимается общественными проблемами.

Тем не менее вскоре стало очевидным, что намерение ОЛРС стать островком свободы слова и примирения интеллигенции, характерное для непосредственно предшествовавшего освобождению крестьян периода (так называемого медового месяца интеллигенции), не осуществилось. В конце января 1860 г. царь лично отказал Обществу в праве иметь собственного цензора из числа его членов; Общество пыталось бороться и находилось на грани самороспуска. ⁴⁷ Вскоре после этого петербургские радикалы, возглавляемые все тем же Селивановым, избранным вместе с Толстым и Тургеневым, разорвали отношения с ОЛРС. Селиванов демонстративно вышел из Общества после того, как было отклонено его предложение взимать входную плату на одном из традиционно бесплатных публичных заседаний Общества, с тем чтобы собрать деньги для недавно образованного Петербургского Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (известного под обычно употребляемым названием Литературный фонд). ⁴⁸ Одной из функций Литфонда было вспомоществование семьям писателей, находившихся в заключении или ссылке либо иначе пострадавших в конфликтах с властями. Селиванов и его сторонники публично обвинили ОЛРС в аристократизме, социальном равнодушии и в «духе славянофильства». Время шло, и скрытый антагонизм между малоподвижным московским консерватизмом и петербургским западничеством становился все более очевидным.

Хотя ОЛРС формально не занимало никакой позиции по «вопросу о Пушкине», тем не менее оно гордилось своими живыми связями с пушкинской эпохой, и со временем многие его члены были вовлечены в полемику с радикалами о Пушкине. Членами возрожденного ОЛРС состояли практически все пушкинисты, защитники и издатели поэта: П. И. Бартенев, П. В. Анненков, П. А. Ефремов, Н. Н. Страхов; поэты А. Н. Майков, Я. П. Полонский, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, Тургенев, Катков, Сохан-

ская; близкие друзья Пушкина: князь Вяземский и С. А. Соболевский; Я. К. Грот и многие другие; и нет сомнений в том, что Пушкин часто занимал их умы. Один из участников Пушкинских торжеств 1880 г. вспоминал, как «в 1859 году, в ноябре, Общество любителей российской словесности послало на столетний праздник Шиллера свое поздравление. Немцы отвечали, что благодарят и желают России своего Шиллера. Я помню, как тогда обиделись в Москве мы все (т. е. студенты), с гордостью произнося имя Пушкина». ⁴⁹

ОЛРС защищает литературную традицию

Радикальные сатирические журналы саркастически окрестили членов ОЛРС «литературными гробокопателями», высмеивая их как «гедонистов» и «гуляк», так что А. А. Котляревский был вынужден в 1866 г. выступить в защиту традиции Общества отмечать юбилеи и годовщины как важной стороны российской литературной жизни. В этом, рассуждал он, «должно видеть не пустую забаву, а серьезное и — прибавим — отрадное явление нашей общественной жизни: признательность к учреждениям, открывающим новые пути исторического развития, благодарная память о тружениках, работавших для блага людей, — суть необходимые потребности нравственной жизни развитого человека и общества... Я не считал бы нужным и распространяться об этом, если бы мне не пришлось слышать иронического замечания, что недостаток нашей собственной деятельности мы восполняем лишь поминками по прежней деятельной старине». ⁵⁰

В то же время ОЛРС продолжало защищать свой статус внепартийного объединения в литературной жизни России. Как утверждал в 1862 г. М. Н. Лонгинов, косвенным образом критикуя нетерпимость радикалов, Общество и его издания служили «открытой ареной для заявления различных убеждений, всякого честного мнения, всякого благородного литературного спора», где соблюдалось подбаждующее уважение к мнению противной стороны. ⁵¹ Лонгинов, способствовавший реорганизации ОЛРС, был, как мы уже видели, одним из немногих критиков, которые пытались возражать Писареву в 1866 г. Примечательно, что он был втянут в дискуссии о Пушкине, защищая ОЛРС. В 1861 г. он помог организовать банкет в честь пятидесятилетнего «служения литературе» князя Вяземского. Радикалы откликнулись нападками на Вяземского

как представителя «аристократической» литературы прошлого, а вскоре дискуссия коснулась и Пушкина (как еще одного представителя «салонной» литературы) и Белинского. Лонгинов защищал Вяземского в речи на открытом собрании ОЛРС и в печати, стараясь показать, как ошибки Белинского сбили с толку его «лжеучеников»-радикалов. Он утверждал, что они переняли не блестящую литературную пронизательность великого критика, а лишь недостатки, особенно заметные в его статьях о Пушкине. Белинский слишком категорично отвергал прошлое («решительно стоял вне преданий») и пренебрегал тем, что происходило за кулисами; он не принял во внимание «семейные, общественные, дружеские, литературные и официальные» обстоятельства Пушкина и потому совершенно не понял драмы последних лет жизни великого поэта. Лонгинов писал, что Белинский замкнулся в узком кругу единомышленников, а подлинное знание и понимание литературных нравов подменял теорией и «инстинктом его развитой натуры». Из этого следовал вывод: «В деле такого изучения ничто не заменит предания, особенно у нас, где область литературной гласности была так ограничена и по недостатку наличных сил в немногочисленной фаланге писателей, и по нравам и привычкам самого общества, которое сдерживалось условиями и часто ложными понятиями о приличии, — наконец по причине множества обстоятельств, понятных и известных всякому» < т. е. цензуры.— М. Л. >. ⁵² Понятие «предание» — слово, совмещающее идею приверженности традиции и передачи ее от поколения к поколению, — было основным фактором мотивации деятельности ОЛРС и выражало литературные и политические представления, диаметрально противоположные взглядам нигилистов.

Уважение к традиции и литературным институтам роднило тех, кто возобновил лицейские торжества, с теми, кто возрождал ОЛРС. Многие из них были в одинаковых чинах, и многие из ведущих членов ОЛРС помогли успешному завершению кампании по сооружению памятника, распространяя подписные книжки. Более того, комитет, выбиравший в 1877 г. место для памятника, состоял преимущественно из членов ОЛРС. Поэтому было вполне естественным, что Высочайше учрежденный Комитет для сооружения памятника Пушкину, обосновавшийся в Петербурге, обратился к московскому литературному обществу с просьбой об организации подобающих торжеств в честь долгожданного события. Однако то, что произошло в Москве, явилось для всех неожиданностью.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ УСТРОИЛСЯ САМ СОБОЮ

Пушкинские торжества проходили в поворотный для истории России момент неустойчивого перемирия между царским правительством и революционным движением, которое после окончания в 1878 г. Русско-турецкой войны крепло и организационно, и идеологически. Торжества состоялись в то время, когда радикальные изменения в политическом устройстве России представлялись близкими и неизбежными, когда казалось, что застарелая проблема политической реформы, впервые возникшая в 1860-х годах (о чем косвенно напоминало имя Пушкина), наконец-то будет решена. Террористические акты, совершенные «Народной волей» на протяжении зимы 1879—1880 гг., поставили правительство в безвыходное положение. С одной стороны, царь не был готов к политическим уступкам, которые означали наделение общества большими правами и, возможно, какими-то представительскими институтами, а с другой — он все более сомневался в эффективности репрессивных полицейских мер и ужесточения контроля над обществом, которые способствовали лишь отчуждению интеллигенции, но не сдерживали насилия. Во время «оттепели» весной 1880 г. правительство публично признало, что для проведения своей политики в жизнь оно нуждается в поддержке образованных слоев общества. Пушкинские торжества совпали с новой волной оптимизма, когда надежды интеллигенции на активное участие в политической жизни России достигли своего апогея. Само по себе празднество, как выразился журналист И. Ф. Василевский, «лелеяло и окрыляло эти мечты». ¹

Атмосфера «кризиса», которая, по общему мнению историков, характеризовала российское самодержавие в этот период, отражалась и на российской «умственной жизни» в целом, по мере того как разочаровавшаяся в народничестве, умудренная опытом интеллигенция пыталась найти политическое решение проблем России.² Не приемлющая террор и тем не менее не верящая государству, интеллигенция с тревогой ожидала, чем закончится противостояние государства и революционеров.

Катков обвиняет интеллигенцию

Вызов интеллигенции бросил ведущий консервативный публицист М. Н. Катков, объявивший ее выжидательную позицию предательством. Публично высказанные Катковым обвинения по адресу интеллигенции составили тот политический фон, на котором разворачивался Пушкинский праздник и который направил общее внимание на торжества, придав им смысл защиты интеллигенции. Кроме того, спровоцированные Катковым распри привели к попытке исключить его из участия в торжествах, что угрожало срывом праздника, но также повышало к нему интерес.

Хотя номинально Катков был журналистом без какого-либо официального статуса, он, тем не менее, представлял собою грозного оппонента. С середины шестидесятых годов он был самым последовательным, умным и красноречивым защитником самодержавия, игравшим видную роль в качестве критика и инициатора политических шагов правительства. Во время кризиса 1880 г. Катков выступал от имени консервативной группы в правительстве.³ В течение месяцев, предшествовавших Пушкинским торжествам, многим наблюдателям не без оснований казалось, что редакционные статьи Каткова в «Московских ведомостях» определяли политику правительства. После неоднократных покушений на Александра II Катков убеждал царя воспользоваться всей своей властью, чтобы покончить с террористами. Назначение шести военных генерал-губернаторов для борьбы с терроризмом и последующее учреждение Верховной распорядительной комиссии, которую единолично возглавил полномочный «диктатор»,— именно такие меры пропагандировал Катков в своей газете.⁴

Таким образом, обвинения Каткова по адресу интеллигенции и прессы представляли собою осязаемую угрозу,

и поэтому как либералы, так и радикалы считали его своим смертельным врагом. Катков был, возможно, самым последовательным и влиятельным в свое время апологетом самодержавия, отвергавшим саму мысль о конституционном правительстве как чуждую и неприемлемую для России. Он требовал полной поддержки народом своего царя и российской внешней политики и обвинял интеллигенцию в том, что она выступает против национальных интересов. Он отсчитывал начало ее антиправительственных настроений с 1863 г., когда большая часть русской интеллигенции высказывала открытые симпатии польскому восстанию, и теперь требовал «нового Муравьева», чтобы навести порядок дома. По убеждению Каткова, заявлявшиеся интеллигенцией и прессой требования политических прав противоречили национальному духу и порождали терроризм.

Кризис достиг своего апогея в начале февраля, когда в Зимнем дворце взорвалась бомба Степана Халтурина. Хотя царь и не пострадал, было убито одиннадцать человек и ранено пятьдесят шесть. Катков отозвался недвусмысленным обвинением по адресу реформаторов: «Это слабодушие, этот умственный разврат, именующий себя либерализмом, в некоторой части нашего образованного общества, нашей интеллигенции, — <...> вот что поощряет крамолу и дает дух и смелость ее слугам. <...> Пора <...> образумить этот фальшивый либерализм и отнять у него власть над незрелыми умами <...> в людях, гонящихся за правами»⁵.

Лорис-Меликов и его обращения к обществу

Спустя неделю царь назначил генерала графа М. Т. Лорис-Меликова единоличным главным начальником Верховной распорядительной комиссии. Мысль об учреждении этого поста вполне могла принадлежать Каткову, однако, по его понятиям, Лорис-Меликов оказался недостаточно жестким. Герой Русско-турецкой войны и добившийся лучших результатов из всех шести генерал-губернаторов, Лорис-Меликов отказался от неправовой политики «твердой руки» в пользу двойственной тактики привлечения общественного мнения на сторону правительства и одновременного усиления полицейских методов борьбы с террористами. То обстоятельство, что пост «диктатора» занял умеренно либеральный генерал, пользовавшийся общественной:

поддержкой, вселяло надежды на мирную конституционную реформу и свободу печати. Примиренческая политика Лорис-Меликова и его старания не диктовать свои условия интеллигенции, а заручиться ее поддержкой не устраивали Каткова, настаивавшего на применении силы. Когда в воззвании «К жителям столицы» Лорис-Меликов выступил с беспрецедентным призывом, чтобы «общество» поддержало борьбу правительства с терроризмом, Катков возражал со всей определенностью. «Власть, говорят, должна обратиться к обществу и в нем искать себе опоры, — возражал Катков 20 февраля. — Но к какому обществу? Где эти элементы в интеллигентных сферах нашего общества, на которые могло бы опереться правительство великой державы, несущей на себе ответственность на народное благо и судьбы России? Скажите, где в эту минуту обнаруживаются такие элементы? Не в салонах ли петербургских? Не в фельетонах ли петербургских газет? Не в науке ли нашей? Где эта наука, где ее плоды? Правительство в настоящее время может успешно исполнить свою задачу только строгою дисциплиной сверху до низу в своих собственных рядах (<...> патриотизм в образованных сферах общества, вот что требуется, и вот о чем надо позаботиться».⁶

Когда французское правительство отказалось выдать Л. Н. Гартмана — одного из участников покушения на царя, Катков усилил нападки на интеллигенцию и прессу и даже обвинил Лорис-Меликова в малодушии. Он писал, что «не только французские радикалы, но и умы более серьезные начинают сомневаться в прочности нашего нынешнего положения, видя, как неясна и неопределенна наша правительственная программа, как силен повсюду господствующий у нас обман и как нагло предъявляет свои требования вражеская крамола, с которою правительство борется-не-борется, как примыкающая к правительству интеллигенция пасует перед этою крамолой, а законная печать с нею перемигиваются. Преследуются и подвергаются каре нигилисты, обвиняемые в намерении ниспровергнуть существующий у нас образ правления, и в то же время ежедневно возбуждают в печати вопрос о перемене образа правления, и вопрос этот считается открытым».⁷

Катков осудил «растленную» российскую прессу, которая, по его мнению, несла ответственность как за распространение революционных идей, так и за собственно терроризм. Нигилизм «со всеми своими (<...> последствиями», утверждал Катков, является «несомненно исчадием этой

интеллигенции». Он обвинил легальную прессу в плохой скрываемой симпатии к изменническим выступлениям подпольных газет, число и влияние которых возрастало.⁸

Политический ветер, однако, не был попутным для консерваторов. Либералы отметили крупную победу, когда 18 апреля Лорис-Меликов уволил всеми ненавидимого консервативного министра народного просвещения Д. А. Толстого. Падение министра было воспринято как демонстративная уступка общественному мнению и как сокрушительное поражение не только антиреформаторского лагеря в целом, но и Каткова лично, поскольку та система классического образования, которую насаждал Толстой, была в значительной степени детищем Каткова.⁹

«Оттепель» Лорис-Меликова и пресса

Предстоящие Пушкинские торжества стали, таким образом, рассматриваться многими участниками этого события как живое опровержение катковской «клеветы» на интеллигенцию и прессу. Лорис-Меликовская «диктатура сердца» (по определению ведущей «либеральной» петербургской газеты «Голос» — основного соперника «Московских ведомостей») ¹⁰ действительно почти развязала руки русской журналистике. С 1 апреля 1880 г. по 1 января 1881 г. цензура ослабевала — административные меры против прессы практически сошли на нет, и ряд новых газет и журналов получил разрешение на выход в свет.¹¹ В это же время «Народная воля» призвала к неофициальному перемирию с государством, выжидая, что будет делать правительство. Организованный террор прекратился; два покушения, происшедшие в это время, — одно на полицейского агента в Киеве, другое — на самого Лорис-Меликова, в действительности были лишь акциями одиночек.

Несмотря на свое по-прежнему сомнительное положение с точки зрения закона, частные газеты в России процветали как никогда. С 1860 по 1881 г. число газет (не считая официальных губернских, церковных и чисто информативных) увеличилось более чем в пять с половиной раз — с 15 до 83; в 1880 г. насчитывалось 65 газет в Петербурге (из которых 22 были ежедневными) и 18 газет в Москве (из них 7 ежедневных).¹² Этот исключительно быстрый рост начался после смерти Николая I, чьи ограничительные законы, строгая цензура и сеть официальных газет сдерживали развитие прессы.¹³ Частная га-

зета как таковая появилась только с Великими реформами 1860-х годов, которые, разрешив розничную продажу и публикацию рекламных объявлений, дали газетам возможность стать финансово-жизнеспособными. Реформы обещали некоторую степень самоуправления и способствовали росту сильной и независимой журналистики. Но реформа прессы, начавшаяся с «временного» закона от апреля 1865 г., который освободил периодические издания в Москве и Петербурге от предварительной цензуры и который многие журналисты считали шагом к упразднению цензуры, остановилась на полпути.¹⁴ Поправки к закону, внесенные после 1865 г., ухудшили юридический статус газет и журналов, поставив их в большую зависимость от тех самых людей и учреждений, за чьей деятельностью они должны были следить.¹⁵ С одной стороны, в 1880 г. пресса почувствовала, что настает момент, когда она должна будет получить права в полном объеме; П. А. Валуев, работая над юридической реформой, писал в своем дневнике в ноябре 1880 г.: «Оказалось, что при данных условиях полная свобода печати предрешена».¹⁶ С другой стороны, газеты работали под дамокловым мечом запутанных и противоречивых инструкций и правил, которые при буквальном исполнении могли бы уничтожить любую из них.¹⁷

В 1880 г. пресса явно стремилась к тому, чтобы не упустить возможность показать себя стоящей на страже общественных интересов. Нет сомнений в том, что именно пресса превратила Пушкинские торжества из «праздника нескольких московских литераторов» (по выражению Аксакова) в «истинное *событие* в историческом развитии русского общества, — великий акт нашего народного самосознания, новую эру, поворотный пункт для наших молодых поколений». Под ее неусыпным наблюдением торжества были призваны подтвердить или опровергнуть утверждения Каткова о российском общественном мнении, стать проверкой российских общественных институтов и показать, насколько они достойны своего предназначения.

Ведущий радикальный критик Н. К. Михайловский заявил, что пресса и участники Пушкинских торжеств использовали их «для удобства своего дебоша», т. е. как удобный предлог для достижения собственных целей.¹⁸ Вместе с тем нельзя отрицать, что за предыдущее десятилетие ежедневная пресса стала значительной силой во внутренней и даже внешней политике России. Задолго до 1880 г. газета начала вытеснять «толстый журнал», возникший в тридцатые и сороковые годы как альтерна-

тива ущербной ежедневной прессе. Этот процесс ускорился с конца шестидесятых годов, когда самые популярные из толстых журналов были закрыты правительством после покушения Д. В. Каракозова на царя в 1866 г. Открытие Российского телеграфного агентства в 1866 г. и Международного телеграфного агентства в 1872 г. (оба — в частном владении) улучшило освещение новостей и стимулировало рост провинциальных газет, что привело к расширению круга читателей прессы. В 1870-е годы ежедневная пресса сообщала о впечатляющих массовых судебных процессах над революционерами-народниками, стенограммы которых официальный «Правительственный вестник» публиковал с различной степенью полноты. Сербская и Русско-турецкая войны также способствовали привлечению новой массовой аудитории, так как впервые российские газеты получили возможность посылать корреспондентов (правда, еще плохо подготовленных и неопытных) для освещения новостей с фронта.

Пушкинская лихорадка

К моменту Пушкинских торжеств целый сонм корреспондентов готов был двинуться в Москву и передавать по телеграфу, железной дороге и почте подробные репортажи с переднего края событий. Василевский описал суматоху среди журналистов, сопровождавшую Пушкинские торжества. При событии, отмечал он, присутствовала добрая половина петербургского журналистского корпуса, и репортеры писали «промежутками, залпами, ночами, эксплуатируя всякий антракт, всякую свободную минуту. Каждая почта привозила сюда груды юбилейных писем; телеграф работал как никогда: по проволокам шли целые газетные полосы; все было предпринято ради возможной полноты, обстоятельности и своевременности описаний, и весь текущий публицистический материал был принесен им в жертву». ¹⁹ Газеты не только выделяли особые ежедневные колонки, посвященные торжествам («Пушкинский праздник», «Пушкинская неделя» и т. д.) и публиковали редакционные статьи, фельетоны, отчеты и материалы своих корреспондентов, но также ежедневно сообщали о том, что писали другие газеты. «О пушкинском празднике исписаны фолианты», — заметил фельетонист «Русского курьера», не удержавшийся, чтобы не внести в них и собственный пространный вклад. ²⁰

«Молва» приписывала распространение торжеств по всей России усердию столичной прессы. «Провинциальные газеты полны известиями о местном чествовании памяти великого поэта и рассуждениями о воспитательно-общественном значении Пушкина как писателя. То, что говорилось по поводу пушкинского праздника в столичных газетах, что говорится теперь в провинциальных газетах, как нельзя более доказывает всероссийское участие в этом истинно народном праздновании. . .»²¹ Через два месяца после события одна из одесских газет сообщала, что «до самого последнего времени нельзя было взять в руки газеты или приняться за чтение журнала, чтобы не встретиться с соображениями по поводу пушкинского торжества», которые, заметила она, «решительно начинают надоедать».²²

Двадцать две газеты и журнала, внесенные в официальный список делегаций, — это лишь малая часть от общего числа журналистов, присутствовавших на торжествах. Многие издания командировали по несколько делегатов-репортеров, из которых часть посылали материалы более чем в одну газету или журнал; а некоторые члены других делегаций, не будучи профессиональными журналистами, приняли тем не менее на себя и роль корреспондентов. В специальной библиографии Межова, посвященной торжествам, приведены названия более 110 периодических изданий, среди которых все крупные газеты и журналы Москвы и Петербурга; губернские, краевые и ведомственные органы; местные и другие независимые газеты (некоторые из них послали делегатов или имели своих представителей в Москве); церковные газеты и журналы; специализированные газеты для учителей, крестьян, сельских хозяев, врачей, художников и актеров; издания для семьи; иллюстрированные и сатирические газеты; университетские, философские, филологические, юридические и политические журналы; ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные и др.²³ «По крайней мере в день открытия памятника великому поэту, — восхищался один литератор, — не найдется на Руси ни одного сколько-нибудь грамотного человека, который нуждался бы еще в разъяснениях, в чем заключается смысл происходящего теперь празднества. . .»²⁴

На Пушкинских торжествах корреспонденты были не только пассивными наблюдателями, но и участниками. Михневич сообщал, что прибывшие журналисты ощутили свою значимость и на какое-то время оставили традиционную личину циника-репортера. Делегатам-журналистам

были выданы для ношения замысловатые кокарды, и, как писал Михневич, их как бы окружал некий волшебный ореол. Не было никаких различий между газетчиками, критиками и писателями; все они были просто литераторами и образованными людьми.²⁵ Сотрудник «толстого» журнала и газетчик, при всей их возможной враждебности и соперничестве, были в это время на равных. Резкого расслоения конца 1880-х годов, когда русская пресса под влиянием политических и экономических факторов стала более коммерческой и узкопрофессиональной (и менее «литературной»), еще не ощущалось.²⁶

Затруднения и отсрочки

Внезапный интерес, который проявила пресса к Пушкинским торжествам, был обусловлен в большой степени рядом скандалов, происшедших в последнюю минуту. Еще за несколько недель до открытия памятника вряд ли кто-либо ожидал, что эти торжества будут представлять сколь-нибудь значительный интерес. И. С. Аксаков, столь высоко оценивший их позднее, писал, что «все мы, без исключения, несколько скептически относились к предстоящему празднованию, нехотя принимались за дело». Не было никаких признаков того, что Пушкин станет героем дня. И хотя в конце 1870-х годов было опубликовано много новых материалов о жизни Пушкина, в русской критике его имя встречалось редко со времен сурового приговора, вынесенного поэту Писаревым пятнадцатью годами ранее (исключением, возможно, был лишь «Дневник писателя» Достоевского). Хотя многие стихотворения Пушкина прочно вошли в русские антологии и школьную программу, в 1880 г. не было единства мнения относительно того, способствовало ли это популярности поэта. Русские композиторы и хореографы также помогли Пушкину оставаться на виду. С начала творческой деятельности Пушкина его произведения становились сюжетами балетов и опер, и можно без преувеличения сказать, что Пушкин сыграл значительную роль в развитии национальной музыки. Глинка, Мусоргский, Чайковский, Даргомыжский, Римский-Корсаков и множество других композиторов писали музыку на его стихи.²⁷

Тем не менее по мере приближения назначенной даты большого энтузиазма по поводу торжеств не наблюдалось; шли некоторые приготовления, но и их преследовали те

же неудачи и скверная организация, которые растянули подписку на столь долгие годы. Некоторые газеты в своих редакционных статьях критиковали русскую социальную апатию и неспособность России ценить свое достояние. «Петербургский листок» заявил, что ситуация в России хуже во всех отношениях ситуации в Германии и что «мы еще не в состоянии» должным образом чтить русских общественных деятелей. А «Новое время» писало незадолго до торжеств в анонимном фельетоне «Недельные очерки и картинки»: «Надо сказать, что русское общество далеко не дружно отвечало на призыв к этому празднеству, в особенности в своих представителях, городских думах. Мы не умеем еще устраивать надлежащим образом народных празднеств, и дело это для нас новое. Ничего выдающегося не предполагалось сделать ни в Петербурге, ни в Москве». «В Европе все это происходило бы, конечно же, по-другому, — писала «Страна», — европейцы привыкли, что в таких случаях высказывается вся страна, но что касается нас. . .»

Не обещали успеха торжествам и неожиданные переносы даты их проведения — сперва из-за кончины императрицы Марии Федоровны, а затем по необъяснимым бюрократическим причинам, возникавшим в Петербурге. Когда без всяких объяснений был во второй раз отменен предоставленный Главным обществом российских железных дорог специальный поезд в Москву для делегатов и гостей из Петербурга (что, вполне понятно, вызвало тревогу у тех, кто уже пришел на вокзал и готовился отъезжать), известный фельетонист П. А. Монтеверде, писавший под псевдонимом «Amicus», утратил все свое доброе отношение к празднику. Сама идея такого события представлялась неправильно понятой в России и обреченной на неудачу. Монтеверде раздражался: «Вздумала вдруг матушка Россия праздновать своего поэта Пушкина; вздумала она такую штуку, не рассчитав, доросла ли она до нее, не прикинув — способна ли она еще устроить такую штуку, хотя несколько по-людски, хотя бы несколько так, чтобы на каждом шагу не смеяться, не отворачиваться, не возмущаться, не пожимать плечами и не махать отчаянно рукой. . . < . . > О! дети, как опасны ваши лета. < . . > Ах! как скверно, и гадко, и противно! Почему у нас, что ни шаг, что ни взгляд — непременно наткнешься на кучу мусора?»²⁸

Планы и интриги ОЛРС

Огромный интерес, который в конечном итоге вызвали торжества, представлялся тем более удивительным, возможно, именно потому, что поначалу все выглядело столь будничным. Впоследствии Монтеверде неохотно присудил ОЛРС «как фактически, так и морально первое место» за организацию торжеств.²⁹ Избранная ОЛРС комиссия для организации торжеств начала свое существование с заседания Общества 11 апреля 1880 г. и первоначально состояла из девяти членов. Председателем был избран Л. И. Поливанов, директор одной из московских частных гимназий и впоследствии известный редактор популярного «очищенного» издания сочинений Пушкина; членами комиссии стали Н. А. Чаев, Ф. Б. и В. Ф. Миллеры, П. Е. Басистов, Н. П. Аксаков, П. И. Бартенев, М. М. Ковалевский и тогдашний председатель Общества С. А. Юрьев; вскоре в комиссию предложили войти Тургеневу.³⁰ Общий план торжеств был принят на заседании ОЛРС 11 апреля: два публичных «утренних заседания» ОЛРС, посвященных Пушкину; два «литературно-музыкальных и драматических» вечера с участием оркестра под управлением Н. Г. Рубинштейна, выступлениями ведущих актеров и певцов, а также Тургенева, Достоевского, Островского и других выдающихся писателей и завершающим «апофеозом» Пушкина, чествуемого гениями мировой литературы; выставка «Пушкинианы»; «складчинный» обед с запланированными тостами и речами.³¹ Кроме того, для придания торжествам большего масштаба предлагалось пригласить и других участников, например Комиссию народных чтений в Москве, занимавшуюся организацией «народных чтений» и лекций о Пушкине в Политехническом музее и на площадях.

Из русских писателей выступить на торжествах были приглашены не только Достоевский и Тургенев, но и Толстой, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Писемский, Полонский, Фет, Григорович и Островский.³² Комиссия также попросила Тургенева написать брошюру для народа о Пушкине и пригласить ряд европейских писателей в Москву на открытие памятника. Из иностранных знаменитостей в гостевой список ОЛРС входили Уоллес Макензи, Томас Карлейль, Виктор Гюго, Гюстав Флобер, Артур Рембо, Бертольд Ауэрбах, Альфред Теннисон и Луи Леже, известный французский славист и единственный из этого впечатляющего списка, кто совершил длительное путешествие в Россию.³³ Среди других приглашенных были дети Пуш-

кина и два его товарища по Лицею: С. Д. Комовский и князь Горчаков.

Тургенев писал своему другу В. П. Гаевскому, что московский генерал-губернатор, князь В. А. Долгоруков, обещал не только «всякое содействие» планам комиссии ОЛРС, «но и устранение утеснения всякой свободы в речах». Хотя ОЛРС и не удалось получить право на бесцензурное издание, у него по-прежнему было право обходить официальную цензуру при проведении своих собраний, а вместо нее пользоваться услугами собственной внутренней «распорядительской комиссии» для предварительного просмотра речей. Более того, по словам Тургенева, хотя генерал-губернатор и был приглашен на обед, но отказался, «чтобы (по собственным его словам) не стеснять выражения мнений в спичах и тостах». ³⁴

В то же время Тургенев и его союзники по комиссии ОЛРС предприняли шаги, чтобы не допустить Каткова к участию в торжествах, вряд ли предвидя тот скандал, который вызовет их поступок. В комиссию входило несколько самых непримиримых оппонентов Каткова, первый из них — Тургенев. Его известная широкой публике вражда с Катковым имела уже пятнадцатилетнюю историю и разгорелась с новой силой во время приезда романиста в Россию годом ранее, когда Ковалевский и его друзья исключили Каткова из приглашенных на встречу в честь Тургенева. ³⁵ Ковалевский, профессор права Московского университета и широко известный либерал, тоже резко критиковал Каткова и особенно его кампанию против предоставления автономии российским университетам. А председатель ОЛРС Юрьев, редактировавший «Русскую мысль» — один из новых журналов, возникших во время оттепели Лорис-Меликова, был одним из тех, кто принял вызов Каткова, и, отражая его нападки на интеллигенцию, писал месяцем ранее: «Оскорблял ли когда-нибудь кто-нибудь в русской печати русское общество так, как редактор „Московских ведомостей“ в сказанных номерах? Осмелился ли кто-нибудь бросать в лицо всей русской интеллигенции, что она „орудие вражеской крамолы, злоумышляющей против России, против русского народа“. Неужели все это пройдет даром и не будет обуздан этот оскорбительный для всего русского общества наглый сумасшедший крик распаленной инквизиционным жаром фантазии?» ³⁶

Тургенев и его друзья рассматривали Пушкинские торжества как возможность сплотить русскую литературу против Каткова и тех идей, которые он представлял. В своих письмах Анненкову, Гаевскому и М. М. Стасю-

левичу 24 и 29 апреля Тургенев радостно сообщал, что «списки <...> будут произноситься только теми лицами, имена которых будут находиться на списке, составленном Комитетом, чем устраняется всякий *нехороший элемент*. <...> Тут надо отложить всякие суеты, опасения и не идущие к делу соображения. Я полагаю даже, что так как мы можем быть уверены, что никакие дисгармонии à la Катков не придут мешать нам, то следовало бы устранить всякую мысль об отдельном петербургском обеде, который явился бы горчицей после ужина».³⁷ На одном из первых заседаний комиссии ОЛРС Ковалевский — несомненно при поддержке Тургенева и Юрьева — настаивал на исключении Каткова из списка гостей и предлагал вместо этого направить приглашение Н. А. Любимову, со-редактору Каткова по «Русскому вестнику».³⁸ Несмотря на свою недавнюю кампанию против интеллигенции, Катков, безусловно, имел точно такое же право присутствовать на открытии памятника Пушкину, как любой другой литератор. В 1860-х годах он защищал от нападков радикалов Пушкина и независимость искусства, а некоторое время спустя ему довелось принять участие в обсуждении самого памятника. Позднее Бартенева писал, что большинство членов комиссии согласились с предложением Ковалевского, хотя П. Е. Басистов, Ф. Б. Миллер и сам Бартенева были против. (Странно, но он не упомянул о присутствии председателя комиссии Поливанова, который мог бы принять сторону Каткова.) Согласно Бартенева, союзники Тургенева попытались также предотвратить выступление Достоевского, но потерпели неудачу: те, кто пытался подвергнуть Достоевского «остракизму», вспоминали его попытку скандализировать Тургенева на обеде в честь последнего в марте 1879 г.³⁹ Тем не менее внесение Каткова в «черный список» вскоре стало угрожать подорвать репутацию Общества и даже поставило сами торжества под угрозу срыва.

Пушкин и Московская городская дума

Вскоре начали просачиваться слухи об антикатковской интриге, и когда ОЛРС поняло, что ему придется обратиться к Московской городской думе за дополнительными средствами, эти слухи едва не сыграли роковую роль. Вначале ОЛРС предполагало, что пожертвований его членов и дохода от продажи билетов на литературно-музы-

кальные вечера будет достаточно для финансирования торжеств, но по мере расширения масштабов праздника комиссия поняла, что столкнется с дефицитом примерно в три тысячи рублей. На седьмом заседании, 8 мая, после короткой дискуссии было решено обратиться к Московской городской думе за финансовой помощью.

По мере подготовки к торжествам, проходившей на фоне полемики, в центре внимания оказались люди и учреждения, представлявшие общественность, включая Московскую городскую думу, которая, как и большинство других учреждений, рожденных реформами Александра II, оказалась в центре споров по поводу самоуправления. Учрежденная на исходе реформ по закону от 12 июня 1870 г. и задуманная как орган городского самоуправления, подобный земству, городская дума состояла из депутатов, избранных тремя классами налогоплательщиков, и управляла городским имуществом, школами, финансовыми учреждениями, транспортом и больницами.⁴⁰ Система выборов в думы предопределяла их весьма консервативный характер, что часто делало их объектом нападок и насмешек. «Новое время» обвиняло Московскую думу в том, что она больше заботилась о городских канализационных трубах, нежели об общественных интересах: «Пока не изменится порядок городских выборов <...> нечего считать Московскую думу представительницей Москвы и выразительницей московского общественного мнения».⁴¹ Автор статьи в «Неделе» отмечал, что «простое чувство приличия» могло бы «заставить» думы принять участие в Пушкинских торжествах, к чему побуждала их печать, но, чтобы им в действительности стать подлинными общественными представителями, «нужно руководствоваться другим чувством, которого у них нет, да и быть не может. Я скажу даже вот что: если бы наши думы стали распинаться и выходить из себя по случаю пушкинского праздника, я бы прямо назвал это лицемерием...»⁴² Именно то важное значение, которое приобретали Пушкинские торжества, подтолкнуло народнические газеты, подобные «Неделе», которые несколькими годами раньше, вероятно всего, отвергли бы любую идею, относящуюся к Пушкину, выступить теперь в их защиту (даже если это и был только предлог для нападок на думу и консерваторов).

На заседании 13 мая Московская дума рассмотрела составленную ОЛРС программу открытия памятника. Было оглашено полученное от Поливанова письмо с просьбой о финансовой помощи. Поливанов писал: «Москве принадлежит исключительное преимущество перед прочими горо-

дами: в ней находится единственное литературное Общество России; членами его состоят поэты, которыми гордится наше отечество; в изданиях его некогда участвовал и великий Пушкин. Вот причина, по которой Общество любителей российской словесности сочло своим долгом дать видное место своему участию в предстоящих торжествах по поводу открытия памятника величайшему русскому поэту.

Дай бог, чтобы недостаток материальных средств или слишком поздно пришедшая материальная помощь не воспрепятствовали осуществить вполне начатое дело». ⁴³

На предыдущем (6 мая) заседании думы гласный М. П. Щепкин также призвал собравшихся занять «почетное место» на торжествах, «потому что не общество литературное, а все русское общество открывает памятник»; он заявил, что дума окажется в «комическом положении», если в качестве хозяев праздника выступят два или три писателя из ОЛРС, а не город. Теперь Щепкин выступил вновь и по вопросу о выдвинутом им предложении переименовать Тверской бульвар в Пушкинский; за ним страстную речь произнес М. А. Горбов. Предстоящее событие, сказал он, «касается чести и славы всей России, в их самом благороднейшем и самом обаятельном проявлении. Вот именно где представляется случай Городскому управлению явиться выразителем общественного мнения, мнения лучшей части общества. <...> Московскому городскому общественному управлению надо стать во главе всего торжества, принять в нем участие во всех отношениях, во всех его подробностях в самом широком размере, в полную меру своих средств и прав».

К этому времени уже расширились слухи о сговоре внутри ОЛРС. После выступления Горбова взял слово гласный священник П. А. Преображенский и высказал свои опасения относительно того, что если город откажется от контроля за деньгами, запрошенными ОЛРС, то торжества примут «односторонний характер какой-нибудь литературной партии». Преображенский, редактор «Православного обозрения» и горячий сторонник Каткова, одобрил в свое время кампанию «Московских ведомостей» против интеллигенции и даже выступил в защиту Каткова от жестоких нападок Юрьева. Преображенский сообщил думе, что у него есть информация, позволяющая предполагать «намерение» некоторых людей «придать празднеству тенденциозный <т. е. оппозиционный. — М. Л.> характер». Голословные утверждения Преображенского вызвали в думе дове-

рия не больше, чем в прессе, где их встретили насмешками и ожесточенными выпадами.⁴⁴

После короткого обсуждения дума проголосовала за выделение ОЛРС трех тысяч рублей без каких-либо оговорок. Дума также создала Пушкинскую комиссию из семи человек под председательством городского головы Л. Н. Сумбула и единодушно проголосовала за то, чтобы Москва выступила в роли хозяйки для всех иностранных и иногородних делегатов и гостей, которых было постановлено разместить и кормить за счет города. Позднее дума утвердила планы бесплатного распространения изданий пушкинских сказок и других произведений среди учеников начальных школ, которых должны были отпустить с занятий в день открытия памятника; организации обеда для делегатов; открытия двух новых начальных школ с присвоением обеим имени Пушкина; украшения города — и, в частности, Тверского бульвара — в связи с торжеством. (Тем не менее предложение переименовать Тверской бульвар в Пушкинский было отвергнуто в интересах исторической преемственности.) Дума, которая поначалу отнеслась к празднику с такой настороженностью, в конце концов истратила на Пушкинские торжества более пятнадцати тысяч рублей.⁴⁵

Скандалы большие и малые

Еще до того, как вновь было поднято «дело Каткова», общественное внимание привлекли другие распри вокруг торжеств. Вскоре после своего образования комиссия ОЛРС связалась с Я. К. Гротом и Высочайше учрежденным Комитетом, местным предводителем дворянства, ректором Московского университета Н. С. Тихонравовым и городским управлением для того, чтобы определить подходящие места для собраний и начать другие приготовления к празднику. Однако вскоре стороны вступили в конфликт. Как только дума стала воплощать в жизнь свои планы, возникли разногласия с Московским университетом, у которого была своя программа празднества. Стороны разошлись в мнениях относительно того, где должен был проходить прием по поводу открытия. Дело приобрело огласку после того, как Тихонравов отказался передать список делегатов Сумбулу.⁴⁶ Говорили даже о том, что из-за плохих отношений с университетом дума пытается помешать делегатам участвовать в университетской цере-

монии. В конце концов дума решила провести собственный прием в своем зале. Со своей стороны, комиссия ОЛРС выбрала местом проведения заседаний и выставок зал Московского Благородного собрания, который был больше университетской аудитории, предлагавшейся ранее. Университет, возглавляемый Тихонравовым, впоследствии организовал в своем здании отдельное «торжественное собрание» с речами о Пушкине Тихонравова, а также профессоров Ключевского и Стороженко. Газета «Молва» осудила «утомительную суету», вызванную всеми этими разногласиями. ОЛРС, университет и город, жаловалась газета, «не только что не сговорились между собою и не объединились, а разошлись по разным дорогам, питая друг к другу далеко не дружеские чувства». ⁴⁷

Эти мелкие вспышки стали прологом к более опасным скандалам, которые за неделю до открытия памятника следовали один за другим и привели к тому, что торжества оказались в центре общего внимания и даже под угрозой отмены. 2 июня, в период неопределенности, когда после смерти императрицы еще не была назначена новая дата торжеств, ежедневная газета «Берег» напечатала на первой странице заметку, ставшую сенсацией: «Наш московский корреспондент (<...>) сообщает сведения, крайне зловещие для предстоящего празднования в честь памяти Пушкина. Национальное торжество всей образованной России грозит превратиться в партиозный скандал ошавевших краснокожих нашей журнальной прессы. Вместо воздаяния должных почестей памяти великого поэта, они готовы поплясать качучу над его могилой, — им-то что такое? Во имя чего стали бы они сдерживать проявления своего морального безумия? Удивляться здесь нечему: разве могут подняться до идеи народного дела те, кто на все смотрит с точки зрения удобств своего дебоша?»

Хотя на первый взгляд могло представиться, что заметка в «Береге» содержит лишь глупые инсинуации, восходящие, как и заявление Преображенского, к слухам о включении Каткова в «черный список», у ежедневной прессы были веские основания усмотреть в этом сообщении серьезный вызов и газетам, и Пушкинскому празднику, чего не было в мелких стычках между Тихонравовым и Сумбулом. Отклик был столь бурным, что такого не ожидал сам «Берег», и был встречен (как сообщила газета) «как будто по сигналу, сильнейшими нападками почти по всей петербургской газетной линии». ⁴⁸

Угроза справа

Хотя «Берег» начал выходить только в середине марта, менее чем за десять недель до публикации скандального сообщения, и среди петербургских газет имел один из самых незначительных тиражей, он представлял собою зримую угрозу. Инициатива основания этой газеты исходила от антиреформаторской группы в правительстве, рассматривавшей «Берег» как часть секретного плана борьбы с «Народной волей» и дискредитации либеральной печати. План предусматривал создание тайной «Священной дружины», предшественницы недоброй славы «черных сотен», с задачей проводить антиреволюционный террор как в России, так и за границей.⁴⁹ Руководить газетой пригласили П. П. Цитовича, профессора права Новороссийского университета в Одессе и публициста — «антинигилиста», пользовавшегося дурной славой. Связи «Берега» с двором, его зависимость от государственных субсидий и сотрудничество с тайной полицией ни для кого не были секретом.⁵⁰ «Берег» быстро стал предметом ненависти либеральных и прореформенных газет за грубые попытки использовать свое привилегированное положение для политического их очернения.⁵¹ Один из корреспондентов «Берега» на Пушкинских торжествах, А. П. Мельшинский, совмещавший свои обязанности журналиста со службой в тайной полиции, направлял свои отчеты как в «Берег», так и в Третье отделение.⁵²

Вполне возможно, что «провокационное сообщение» «Берега» отражало сомнения высокопоставленных петербургских консерваторов, которые скептически относились к политике ОЛРС и не были уверены, нужно ли вообще разрешать торжества. Ходили даже слухи, что этими колебаниями была вызвана внезапная и странная вторая отсрочка праздника. 18 мая, через несколько дней после прений в Московской городской думе, Лорис-Меликов направил конфиденциальное письмо генерал-губернатору Долгорукову, распорядившись от имени царя принять «совершенно негласно» меры для предотвращения «противоправительственных манифестаций» на торжествах.⁵³ В своем ответе Долгоруков доложил о тех мерах, которые принимала городская и губернская полиция. К ним относились ежедневная инспекция гостиниц и меблированных комнат для сверки имен постояльцев со списком известных политических инакомыслящих; наблюдение «за всеми обывательскими домами, где группируется учащаяся молодежь» (всех «подозрительных лиц» следовало брать под

«строжайшее наблюдение»); усиление пешего и конного патрулирования во время торжеств; и наконец, участие специального отделения для надзора при открытии памятника, при этом в резерве должны были находиться и дополнительные силы.

Хотя Долгоруков тесно сотрудничал с Тургеневым и ОЛРС, а полиция держалась на протяжении всех торжеств незаметно, явная угроза ее вмешательства помогает объяснить резкий тон откликов на грозные заявления «Берега». «Молва» писала, что «Берегу» и его единомышленникам «противно и враждебно все, что есть здорового в русской жизни, в ее прошлом и настоящем; для них деятельность Пушкина и славная, неумирающая память о нем в русском обществе — живой укор их позорной, варварской журнальной деятельности. И вот они мечутся, клеветают, лгут, инсинуируют, печатают позорные лжесвидетельские корреспонденции, натравливают донос и сыск на высокое, чистое, возвышенно-патриотическое торжество всего мыслящего русского общества! Какой цинизм! Какой позор!..»⁵⁴

«Голос» — одна из главных мишеней «Берега» — назвал заявление газеты «ложью и постыдной инсинуацией, прикрытой каким-то фальшивым патриотизмом». Газета «Новости» писала, что публицисты, подобные редактору «Берега», «храбры только из-за угла и когда знают, что общественное презрение, возбуждаемое ими, не повлечет за собою более существенного возмездия». Обращаясь непосредственно к этой газете, «Новости» заявили: «Вы бесстыдно лжете, что вам близки интересы „образованной России“, что вам дорога память ее поэта — лжете сто раз! <...> вас пугает, пуше огня, каждый, самый невинный факт, где „образованная Россия“ могла бы заявить свое бытие, сознать себя и сказать свое слово, хотя бы в таком скромнейшем и наизаконнейшем деле — как, дозволенное начальством, открытие пушкинского праздника».⁵⁵

«Берег» явно задел всех за живое и этим произвольно оказал существенную поддержку Пушкинским торжествам, оживив к ним интерес. Монтеверде, который лишь накануне пребывал в состоянии уныния по поводу неспособности «матушки России» чествовать своих поэтов, теперь начал смотреть на празднество более серьезно и высказал то, что думали, должно быть, многие: конечной целью «Берега» было убедить царя вообще запретить торжества. «Берег», по его словам, хотел «повернуть со свадьбы-то на упокой».⁵⁶

Черный список передается гласности

На следующий день, 3 июня, за два дня до открытия памятника, когда все остальные газеты печатали свои возмущенные отклики на «сплетни» и «слухи» «Берега», «Московские ведомости» ошеломили всех, опубликовав следующее письмо за подписью Юрьева, которое, по-видимому, и дало пищу обвинениям со стороны как Преображенского, так и «Берега»: «Комиссия Общества любителей российской словесности удержала одно место для депутата от „Русского вестника“. По ошибке послано мною приглашение и в редакцию „Московских ведомостей“, приглашение не согласное с словесным решением комиссии. Председатель Общества любителей российской словесности Сергей Юрьев. 1 июня 1880 года». Называя это письмо «предупреждением», катковская газета сопроводила его немногословным комментарием: «Нам остается присовокупить, что редакция „Русского вестника“ возвратила свой билет за ненадобностью».

Хотя многие газеты и воспользовались этим как возможностью лишний раз унизить Каткова, большинство прессы осудило ОЛРС за использование национального дела для того, чтобы «порисоваться своей рознью, односторонностью и узкостью воззрений». ⁵⁷ Этот инцидент поднял многочисленные вопросы — об отношении общества к торжествам, о методах обращения со своими идеологическими оппонентами и вообще о значении Пушкинских торжеств. Вопрос о том, что же именно произошло, был заслонен быстрым развитием событий, но привнес в торжества драматизм, особенно когда выяснилось, что через два дня Московская городская управа пригласила Каткова выступить в день открытия памятника на обеде, который она предполагала дать для делегатов.

Хотя вопрос о том, почему комиссия сначала послала, а затем отозвала приглашение Каткову, так и не получил исчерпывающего объяснения, набросок письма Юрьева к Поливанову, сохранившийся в поливановском архиве в РГАЛИ, позволяет отчасти пролить свет на эту историю. Юрьев писал:

«Многоуважаемый Лев Иванович,

Если бы я знал, что и сегодня утром не было послано вами приглашение „Московским ведомостям“, я бы стал умолять вас не посылать его. Эта газета была бы лишена без спроса всего Общества приглашения на том же основании — сам редактор (два слова нрзб.— М. Л.), — на ка-

ком лишены приглашения многие другие газеты. Очень сожалею, что так случилось. Предвижу дурные последствия для Общества. Я тоже сегодня думал об этом и не думаю, почему недостойно настоящего праздника чем-нибудь выразить свой протест негодяйству „Московских ведомостей“: ведь Пушкин не посещал же нашего Общества, потому что его членом был Булгарин.

И в сущности — если бы Катков выразил чем-нибудь свое раскаяние, а он все тот же, и газета его та же. Смотрите, чтоб его депутат во исполнение воли своего патрона не брякнул чего в своем слове. Появление депутат(а) „Мо(сковских) вед(омостей)“ во всяком случае смутит настроение нашего праздника. Обмен приглашения на билет, конечно, нельзя избежать на законном основании; но если бы можно было каким-нибудь неофициальным образом, было бы очень хорошо. Я не понимаю, почему бы (не?) оказал пренебрежение ко многим петербургским газетам лишением нашего приглашения так церемониями с „Моск(овскими) вед(омостями)“; или следует быть вежливее с разбойником, чем с мелкими воришками. Повторяю, глубоко уважаемый Лев, было бы очень хорошим делом устрани(е) депутат от „М(осковских) вед(омостей)“ от заседаний Общества.

Искренно вас уважающий и вам глубоко преданный
Сергей Юрьев.

Если не приедет сегодня Долгоруков, я думаю можно рискнуть и печатать объявление об обеде в таком виде, как вам (было?) написано». ⁵⁸

Это письмо недвусмысленно подтверждает намерение пушкинской комиссии ОЛРС — или, по крайней мере, самого Юрьева — отказать Каткову в возможности выступать на торжествах пусть даже «незаконными, неофициальными» средствами.

Несмотря на «словесное решение комиссии», принятое на заседании в апреле, на котором Поливанов, очевидно, не присутствовал (хотя номинально председательствовал), он послал приглашение Каткову. Остается неясным, каким образом и почему он это сделал. По мнению «Страны», Поливанов получил официальную подпись Юрьева на приглашении обманным путем. Затем, когда Ковалевский и антикатковская группировка обнаружили это, они вступили в конфронтацию с Юрьевым, который как председатель ОЛРС был обязан написать письмо, отзывающее приглашение. Но, как писал автор «Московского фельето-

на» в «Новом времени» от 21 июня, трудно поверить в то, что Поливанов «подсовывал ему (Юрьеву. — М. Л.) все, что хотел» на подпись. Более того, письмо, приведенное выше, свидетельствует, что сам Юрьев был настроен против Каткова и отнюдь не чувствовал себя обманутым. Он публично настаивал на том, что приглашение было отправлено по ошибке и что отзыв его не имел целью унижить Каткова. Послал ли Поливанов это приглашение потому, что был горячим приверженцем идеи Каткова о классическом образовании,⁵⁹ или же Дума, решая вопрос о финансовой помощи ОЛРС, поставила негласное условие не использовать торжества в неподобающих целях, — нам остается лишь гадать, поскольку со стороны Поливанова нет никаких объяснений этого инцидента.

Либеральная пресса смыкает ряды

Множащиеся скандалы сгустили атмосферу вокруг борьбы интеллигенции за политическое признание и помогли привлечь широкое внимание к Пушкинским торжествам как к важной схватке в этой борьбе. Для тех, кто мечтал о свободе печати, инциденты с «Берегом» и «Московскими ведомостями», несмотря на тревожный их смысл, усилили потенциальное значение грядущих Пушкинских торжеств как возможности разогнать нависшие над интеллигенцией грозные тучи. «Либералы» сделали Пушкина знаменем свободного и независимого, хотя законного и лояльного, общественного мнения. «Наиболее искреннее участие в чествовании памяти поэта принимает именно та часть печати, — настаивала «Молва», — на которую еще недавно проливным дождем сыпались разные обвинения и которая уличалась в „крамоле“ и „перемигивании с нигилистами“. (<...> Кровожадные, изуверские голоса (<...> должны смолкнуть; русская журналистика, хотя бы под впечатлением поминок великого поэта, должна избавиться от удушливой атмосферы уголовного участка. Промышляющая доносом и сыском речь (<...> явилась бы теперь вопиющим диссонансом, как вакханальные взрывы музыки в агонические минуты умирающей Травиаты». ⁶⁰ (Зловещая метафора!) Конечно, спор шел, собственно, не о Пушкине, суть дела лежала много глубже и отражала конфликт, как выразилась «Страна», «между защитниками и противниками самоуправления и свобод-

ного выражения мнений», состоявший в том, «что между теми и другими в сущности нет середины. . .»⁶¹

Эти скандалы высветили также неблагополучное состояние русской прессы, говоря о которой один журналист прибег к сравнению с банкой, кишасей скорпионами: «в тесноте, за недостатком воздуха и простора, принужденные барахтаться в каком-то заколдованном кругу, газетчики немилосердно жалят друг друга, уничтожают друг друга и сами уничтожаются нравственно».⁶² Срыв, ожидавшийся некоторыми в Москве, случился на самом деле в Саратове, где местный пушкинский праздник, включавший в себя обед с произнесением речей, планировался совместным комитетом, в который входили редакторы трех местных газет: «Волги», «Саратовского дневника» и «Саратовского листка». Но перед самыми торжествами этот союз распался. Редактор «Волги» Г. Н. Юренев отказался от участия, за ним последовал «Листок». «Таким образом, все хлопоты, телеграммы, объявления оказались большим шумом из пустяков!» — писал саратовский корреспондент «Молвы». «И вот теперь в городе только и говорят о неудавшейся попытке местных журналистов сойтись на один час вместе».⁶³ Торжества просто не состоялись. Враждующие газеты не пожелали объединиться даже для того, чтобы совершить благородный жест типа сбора денежных средств на стипендию имени Пушкина, и с их страниц таинственным образом исчезли всякие упоминания о торжествах.

Пушкин как статья дохода

Другие журналисты беспокоились по поводу еще одной опасности торжествам: коммерческого опошления Пушкина. В Петербурге местные купцы и всякого рода ловкие дельцы извлекали выгоду из растущего ажиотажа, привязав к открытию памятника всевозможные товары, в большинстве очень низкого качества. «Русский курьер» иронизировал над тем, что «пустили в продажу дрянные продукты, прикрываясь дорогим (! — М. Л.) именем».⁶⁴ Например, табачная фирма «Ла Фуар» пустила в продажу папиросы «Пушкин» с изображением на пачке памятника. Кондитерская М. Сиу продавала конфеты с вложенной в коробку брошюрой псевдомемуаров о Пушкине (которые автор «Московского фельетона» в «Новом времени» от 31 мая окрестил «конфетно-поэтическим гешефтом»),

а один водочный фабрикант изготовил водку «Пушкин» со специфическим вкусом и ужасающе скверным портретом поэта на этикетке. На Кузнецком мосту продавались фотографии модели памятника, фотографии места дуэли и литографические портреты поэта. Несколько издателей выпустили к торжествам недорогие брошюры и буклеты о Пушкине, большинство из которых было очень плохо написано.⁶⁵ Тем временем театры в московских и петербургских общественно-увеселительных садах, где обычно шли французские оперетты, готовили музыкальные «Пушкинские спектакли» по произведениям поэта; в некоторых парках организовывали собственные церемонии «открытия», со световыми эффектами, фейерверком и выставками, посвященными жизни и творчеству Пушкина.⁶⁶

По мере приближения торжеств наблюдался всплеск интереса к поиску «пушкинских мест» — дома, где он родился, его могилы и дома, где он умер, и т. д. В Петербурге приложили много усилий, чтобы установить точное место дуэли. Репортеры с возмущением обнаружили там пасущихся животных. В Москве статуя Опекушина привлекала огромное внимание еще до открытия памятника. «Неделя» заявила, что ее покрывала «отвратительны», а «Новое время» написало, что «безобразный мешок» («ужасные покровы») на памятнике сделал бедного Пушкина похожим на «висельника».

Прием делегатов

В 2 часа дня, во вторник, 5 июня, городские власти и члены Высочайше учрежденного Комитета открыли «Пушкинские дни» приемом делегатов в зале думы. На церемонии присутствовали принц Ольденбургский и генерал-губернатор Долгоруков, Корнилов, Я. К. Грот, дети Пушкина с семьями. «Приветственный акт, — писала одна газета, — остался в пределах формальной и сухой официальности. Он длился около часу и отличался совершенным однообразием. Это была нескончаемая процессия гуськом мундиров и фраков».⁶⁷ Сто шесть делегаций в составе более двухсот пятидесяти человек проследовали на сцену, заставленную тропической растительностью и украшенную большим бюстом Пушкина в центре; после возложения венков к бюсту они зачитали свои приветствия. Речь одного из делегатов, представителя российских военных

школ, показалась одному из репортеров просто «докладом властям».

В течение трех следующих дней критики писали об удручающе низком ораторском мастерстве выступавших на торжествах; особенно не удовлетворены были те, кто, подобно писателю Глебу Успенскому, с нетерпением ожидали от праздника некоего «откровения». Успенский жаловался, что слушатели под конец торжеств начали «даже чувствовать некоторую оскомину от ежесекундного повторения „Пушкин“, „Пушкина“, „Пушкину“! <...> Пушкин — это возбуждение русской музыки, это незапечатленный ключ <...> Пушкина чествуют и славят всяк народ и всяк язык, но мы, русские, юнейшие из народов, мы, узнавшие себя в первый раз в его творениях, мы приветствуем Пушкина, как предтечу тех чудес, которые, *может быть*, нам „суждено явить“. <...>

Были речи в этом роде до такой степени странные, что, при всем желании, не было никакой возможности отыскать в них, где собственно находится и в чем заключается главное предложение. Некоторые ораторы даже как будто бы и начинали прямо с придаточного предложения и, сказав, например: „Пушкин, который...“ или „Пушкин, славное имя которого“, уж не могли никак выбраться на какую-либо прямую дорогу, а так и застревали минут на двадцать в придаточных предложениях». ⁶⁸

Несмотря на монотонность церемонии открытия памятника, Аксаков утверждал, что «официальный прием депутатов в думе поднял, неожиданно для всех, строй духа на целую, так сказать, октаву». То обстоятельство, что один из членов царской семьи и другие высокие должностные лица прибыли выразить публичное уважение поэту, было, как он выразился, «у нас новое зрелище: явление силы нравственной, смирившей грубую силу внешней государственной власти». Присутствие представителей верховной власти на открытии памятника было «победой духа над плотью, <...> признанием со стороны государства <...> прав ума и таланта на Руси!» ⁶⁹ Еще более значимым в этом отношении стал приезд, по прямому и официальному распоряжению Александра II, преемника графа Д. А. Толстого на посту министра народного просвещения А. А. Сабурова, который распорядился отменить в день праздника занятия в школах.

Просматривая список делегатов, Василевский сделал вывод, что «общественное участие не могло выразиться полнее и определеннее». Прибыли представители всех отраслей науки, всех родов литературы, искусства, музыки и

театра, правительственных, учебных и филантропических учреждений, профессиональных и частных обществ и многих губернских, городских, областных и краевых центров. Большое внимание привлек крестьянин из Тверской губернии В. С. Желнобобов, выступивший, как он выразился, «именем нынешнего свободного и многомиллионного нашего крестьянства». ⁷⁰ Все эти люди прибыли в Москву по своей воле, писал Василевский, «никто не подсказывал, и никто не предписывал», они прибыли «как воины в стан по зову трубача», со всех концов империи. Однако были на торжествах столь же красноречивые корреспонденты, которые смогли без особого труда подметить бросавшееся в глаза отсутствие книготорговцев и книгоиздателей, представителей русских университетов, военных училищ, земств и народных школ. Если один журналист увидел «все классы людей, со всех уголков России, всех образованных людей», то другой заявил, что невозможно «поименовать все местности и даже учреждения, откуда можно было ожидать отзыва празднеству и его не было».

На следующий день состоялись «триумфальное открытие» памятника, торжественное собрание в Университете и вечером — обед, который давал город в честь делегатов. Открытию памятника предшествовали литургия, панихида и проповедь митрополита Макария в Страстном монастыре напротив площади, где был установлен памятник. Макарий, который сам был членом ОЛРС, провозгласил Пушкину «вечную память». Такая красноречивая оценка русской литературы, писала «Молва», «впервые (...) раздается с русской церковной кафедры». ⁷¹

Окроплять или не окроплять?

Пушкин и церковь

Журналист имел в виду стойкое неприязненное отношение русского духовенства к русской словесности. И в самом деле, едва не возник еще один скандал, на этот раз связанный с участием церкви в Пушкинских торжествах. Сперва было объявлено, что митрополит Макарий возглавит процессию участников молебна из храма на площадь, а затем освятит статую, но священнослужители не вышли из стен церкви после службы. Полуофициальная церковная газета «Восток» впоследствии объясняла, что «Святой Синод не нашел возможным одобрить кропление статуи святою водою, что, как известно, воспрещено уста-

вами православной церкви». ⁷² И хотя этот отказ огорчил немногих («Петербургская газета» написала, что это, наоборот, придало церемонии на площади нужный «гражданский характер»), не все согласились с доводами «Востока». «Невольно рождается вопрос: как же до этого времени все памятники освящались нашим высшим духовенством?» — написал «Русский курьер». ⁷³ Барсуков подтверждает, что памятник Карамзину в Симбирске освящен; и, как отмечал «Русский курьер», так же обстояло дело с памятниками в Кронштадте и Петербурге адмиралам Беллинсгаузену и Крузенштерну, которые к тому же были не православными, а лютеранами. «Берег» сообщал 4 июня, что «некоторые кружки, не желавшие чтобы „празднество литературное имело церковную санкцию“, пускали под руку слухи, что народ простой находит странным, что будут освящать „истукана“ и поминать в церкви человека, убитого на поединке». ⁷⁴ Один делегат заметил позднее, что в консервативном Английском клубе шел разговор о том, что неуместно «духовенству выходить на площадь», чтобы окропить памятник поэту; он утверждал, что по этому поводу генерал-губернатору поступили как анонимные, так и подписанные протесты. ⁷⁵ Некоторые газеты выражали недовольство тем, что лишь архиерей, а не священнослужитель более высокого сана был назначен служить панихиду по Пушкину в Исаакиевском соборе в Петербурге, где власти — было припомнено и это — запретили отпевание Пушкина в 1837 г. ⁷⁶ Тем не менее вопрос об отношении церкви к Пушкину не привлек в 1880 г. большого внимания, хотя и предвещал острую полемику о религиозных воззрениях Пушкина во время празднования его столетия в 1899 г., когда государство заручилось поддержкой со стороны церкви официальных торжеств. ⁷⁷

Памятник Пушкину открыт

Это едва ли даже замеченное изменение программы не смогло нарушить общего праздничного настроения при открытии памятника. «С утра вся Москва на ногах», — сообщало «Новое время» на следующий день (7 июня). Все очевидцы этого события отмечали огромное стечение народа, в том числе многих крестьян и торговцев, привлеченных праздничными приготовлениями, которые Василевский сравнивал с приготовлениями к Пасхе и Рождеству. Многие люди, уже разъехавшиеся по дачам на лето, вернулись

в Москву на праздник. По разным оценкам, на открытие собралось от ста тысяч до более полумиллиона человек. Улицы и тротуары, специальные трибуны, сооруженные предприимчивыми дельцами, и амфитеатр, построенный городом для гостей-женщин, были полны народа, равно как соседние крыши и окна (где места были проданы заранее по цене от двадцати пяти до пятидесяти рублей за каждое).

Когда процессия (без священнослужителей) появилась из монастырской церкви, четыре оркестра и несколько хоров и групп школьников, которыми всеми дирижировал Рубинштейн, начали исполнять гимн «Коль славен...». Площадь и прилегающие улицы были украшены гирляндами цветов. Делегаты имели особые значки и несли венки; некоторые размахивали красными, белыми, синими флагами с тисненными золотом названиями их делегаций, а другие несли знамена с названиями знаменитых произведений Пушкина, запечатленными на белом поле и обрамленными гирляндами. Тот факт, что одна делегация неслла знамя с названием «Братья разбойники», шокировал часть публики, а весьма скептически настроенный Успенский счел показательным, что в процессии объединили присяжных поверенных, трактирщиков, членов Дворянского клуба и Еврейского общества — сочетание, по мнению писателя, достойное Оффенбаха.

После короткого выступления Корнилова, зачитавшего акт о передаче памятника городу, в час дня, когда как раз сквозь хмурое небо пробилось солнце, зазвенели монастырские колокола, обнажились головы, и пресловутый «мешок» спал с опекушинской статуи. Через несколько секунд из толпы раздались ликующие выкрики, отозвавшиеся громким эхом по всей площади. Люди «обезумели от счастья»; многие плакали, и даже самые черствые из газетчиков признавались потом, что украдкой вытирали слезы. Некоторые современники увидели в этом эмоциональном всплеске знак нового единения между простым народом и образованным слоем. Все свидетели говорили о «чудной» атмосфере на площади. Один журналист отмечал, что «речей, в официальном смысле этого слова, не было произнесено; но сколько хороших, теплых, радостных мыслей высказано было между собою, в отдельных группах, где поминутно являлись восторженные, пламенные ораторы! Сколькими искренними рукопожатиями, хорошими честными поцелуями обменялись здесь люди, иной раз даже и незнакомые между собою!» А другой спрашивал: «Где краски, где слова, чтоб передать это упоение торжествен-

ною минутой? Кто не видал ее, тот не видал народа в лучшие моменты его духовного просветления...»⁷⁸

Затем под звуки марша Мейербергера «Пророк», восходящего к одноименному стихотворению Пушкина, делегации приблизились к памятнику и возложили к его подножию венки. Когда церемония закончилась, у памятника началась давка: «толпа <...> кинулась на венки» и за несколько секунд растащила их на сувениры.⁷⁹ Вместе с тем участники событий отмечали полное отсутствие пьяных драк и ругани, характерных для русских гуляний, и с гордостью подчеркивали, что не потребовалось вмешательства полиции.

Речь Каткова и «L'incident Katkoff»

Хорошие впечатления, оставленные церемонией открытия памятника, усилили опасения относительно грядущего обеда, который вечером того же дня давала дума и где должен был выступить Катков. Слухи множились: некоторые предсказывали крупное столкновение, «публичное сведение счетов», оскорбления и даже драки. Напряжение нагнеталось, сожалел «Русский курьер», всеми корреспондентами, которые металась из одного места в другое, пытаясь найти подтверждение услышанному, и кончали тем, что просто распространяли сплетни и сеяли тревогу. В этом смысле показательно сообщение корреспондента «Недели»: «Вечером захожу к Достоевскому и вижу, что он в ужаснейшем состоянии: весь как-то подергивается, в глазах — беспокойство, в движениях — раздражительность и тревога. Я знал, что он человек в высочайшей степени нервный и впечатлительный, страстно отдающийся всякому чувству, но в таком состоянии я, кажется, никогда еще его не видел. „Что с вами, Федор Михайлович?“ — „Ах, что это будет, что это будет!“ — восклицает он в ответ с отчаянием. — „Да что такое? В чем дело?“ Он не говорит ничего определенного, но я и без него отлично знаю, в чем дело <...> сам я ушел от него еще более встревоженный, чем пришел». Когда же наступил момент истины — думский обед, продолжал корреспондент, «мои страхи стали улегаться сами собою; тем не менее, несмотря на страшную жару, я вздрагивал от холода. Ведь слóва, одного слова, одного неподходящего звука достаточно, чтобы испортить это настроение, а затем погубить и весь праздник! Неужели такое слово будет произнесено! Неужели

такой звук раздастся! Я думаю, подсудимый смотрит на старшину присяжных, начинающего читать приговор, не с большим волнением, чем я смотрел в этот момент на г. Каткова». ⁸⁰ Шутник из «Русского курьера» предложил свою версию: «Фельетониста пробирает лихорадка, он вздрагивает от холода, а когда г. Катков поднялся с места для тоста, фельетонист со страха так застучал зубами, что официант едва не уронил блюдо с дичью». ⁸¹

Не только репортеры предвидели крупное столкновение. Узнав, что должен выступать Катков, антикатковская группа в ОЛРС экспромтом провела совещание, чтобы решить, какие действия следует предпринять. Тургенев сообщил Ковалевскому запиской утром в пятницу 6 июня, в день обеда, что «вчера было решено соборне, чтоб нам всем идти непременно — иначе может показаться, что мы трусим — но если Катков что-нибудь себе позволит, мы все встаем и удаляемся». ⁸²

Скандал, вызванный выступлением Каткова, оказался, однако, совсем другого рода, нежели предполагали Тургенев и его союзники. В своем коротком тосте Катков назвал торжества «праздником мира» и воззвал к единству и примирению интеллектуального сообщества: «На празднике Пушкина, перед его памятником, собрались лица разных мнений, быть может, несогласных, быть может, неприязненных. Верно, однако, то, что все собрались добровольно и, стало быть, с искренним желанием почтить дорогую всем память. Я говорю под сению памятника Пушкину и потому надеюсь, что мое искреннее слово будет принято дружелюбно всеми без исключения. Кто бы мы ни были и откуда бы ни пришли, и как бы мы ни разнились во всем прочем, но в этот день, на этом торжестве, мы все, я надеюсь, единомышленники и союзники. Кто знает, быть может, это минутное сближение послужит залогом прочного сближения в будущем и поведет к замирению, по крайней мере, к смягчению вражды между враждующими». ⁸³

Катков закончил выступление знаменитым пушкинским поэтическим тостом: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

То, что случилось дальше — или не случилось, — получило известность как «l'incident Katkoff» («происшествие с Катковым»). Катков говорил тихо, и в большом зале думы многие из присутствующих не могли отчетливо разобрать его слова и быстро определить, как на них реагировать. Большинство газет из числа тех, которые уделили

внимание реакции зала, сообщили о жидких и редких аплодисментах, некоторые же — о «шумном и единодушном» одобрении; отметили, что несколько давних недругов Каткова, такие как Аксаков и редактор «Недели» П. А. Гайдебуров, встали с мест и демонстративно его поздравили. Другие газеты писали о прохладной реакции, которую объясняли как плохой слышимостью, так и ощущением собравшихся, что «не ему бы говорить это». «Политика» редактора «Голоса» А. А. Краевского, как подметил Михневич, состояла в том, чтобы не показать своего отношения, а уставиться в тарелку и поглаживать усы. Тургенев многозначительно отказался «чокаться» с Катковым, несмотря на то что редактор «Московских ведомостей» протягивал свой бокал дважды.⁸⁴

Все эти подробности вскоре дали начало полемике, поскольку «специальный корреспондент» «Голоса» (В. А. Бильбасов?) в своем сообщении утверждал на следующий день, что Каткову был дан общий и решительный отпор. Никто с ним не пожелал чокнуться и не пожал ему руки, писал журналист и заключил, что «тяжелое впечатление производит человек, переживающий свою казнь и думающий затрапезно речью искупить предательства двадцати лет!»⁸⁵

Как и в случае с «позорной лжесвидетельской корреспонденцией» «Берега», сообщение «Голоса» вызвало неожиданно бурную реакцию со стороны находившейся в напряженном ожидании и крайне неловко себя чувствовавшей прессы. Предметом спора теперь стало не только выражение мнений в печати, но достоверность описания события, имевшего место в присутствии почти трех сотен свидетелей, многие из которых относились к числу ведущих журналистов России. «L'incident Katkoff» более уместно было бы назвать «происшествием с „Голосом“»; весь журналистский корпус, независимо от политических взглядов, осудил газету за лжесвидетельство. Даже те, кто обвиняли Каткова в том, что «он был главным сеятелем той розни, которая уже около двадцати лет царит между нами», как и те, кто скептически восприняли его призыв к примирению, встали на защиту права Каткова говорить и быть услышанным. Аксаков, Достоевский и группа делегатов, остановившихся в гостинице «Лоскутная», думали об организации коллективного письма протеста против выступления газеты.⁸⁶ Монтеверде так комментировал это событие: «Негодующий протест нашей печати был, в этом случае, действительно, замечательный. Как один человек, восстали все газеты против умышленной лжи и

печатного подлога и заклеили неслыханный проступок». ⁸⁷

Несмотря на убедительное опровержение «Новостей», «Стрекозы», «Молвы», «Санкт-Петербургских ведомостей», «Нового времени» и других газет, «Голос» продолжал настаивать на своей версии событий и развивать тему многочисленных непростительных грехов Каткова. После более полутора недель набивших оскомину рассуждений о происшедшем «Голос» изрек: «Но дело теперь не в факте, уж если он совершился (. . .) Дело не в нем, а в отношении к нему печати и, специально, „Голоса“». ⁸⁸ С этим, по крайней мере, другие газеты могли согласиться. Этот искусственно раздутый скандал, эта «ложка дегтя в бочке меда» и «нежелательный диссонанс» на празднестве, стали еще одним моментом, объединившим всю прессу, как после появления корреспонденции «Берега». Оба эти лживые, имевшие политический подтекст сообщения, исходившие из противоположных политических лагерей, неожиданно привели к обратным результатам. Осужденные большей частью прессы, они доказали способность русской журналистики поддерживать порядок в своем доме и выступать в роли ответственного арбитра общественного мнения.

Пушкинский праздник как оправдание гласности

Поскольку пресса сохранила спокойствие и не опустилась до распрей, подобных тем, которые свели на нет торжества в Саратове, она стала более сильной и приобрела внутреннюю уверенность. Беспрецедентный интерес к празднику в следующие дни и необыкновенное преклонение сперва перед Тургеневым, а затем перед Достоевским заставили многих очевидцев заявить, что русское общественное мнение наконец получило должное признание благодаря имени Пушкина. Они говорили, что праздник неожиданно наглядно продемонстрировал способность прессы взять на себя ответственную роль в русском обществе и решительно опроверг выдвинутые Катковым против интеллигенции обвинения в духовном банкротстве и политической ненадежности. Журналисты, придерживавшиеся разных взглядов, говорили о происшедшем как о «нравственном чуде». Пушкинский праздник, писал редактор «Нового времени» А. С. Суворин, «устроился сам собою, а вовсе не благодаря распорядителям. Его устроило одушевление, разом охватившее всех, охватившее всех неожидан-

но для всех и каждого, заставившее многих плакать теми слезами радости, восторга и умиления, <...> которые будут непонятны и для всех тех, которые не присутствовали при открытии памятника. <...> Да никто не ожидал, что так выйдет! Думали, что выйдет по старым образцам, что будет маленькое торжество, которому официальные лица придадут некоторую импозантность. <...> Всякий почувствовал себя на своем месте, всякий почувствовал себя участником в каком-то серьезном деле...»⁸⁹

Газета Гайдебурова смело заявила о победе русской интеллигенции. В отношении ее единства «московское торжество даже далеко превзошло самые смелые ожидания и почти непредвиденно выросло в огромное общественное событие — событие, в котором без преувеличения можно видеть решительный поворот общественного сознания. <...> Благодаря совпадению идеи празднества с господствующим чувством, случилось нечто чрезвычайное. Искра вспыхнула. Сознававшееся смутно выразилось в определенной форме; искавшее воплощения сказалось в твердом горячем слове — идея проявилась наглядным фактом; тускло бродившее в умах запылало огненными буквами <...> <Празднество является> ясным недвусмысленным поворотом общественного сознания <...> Так сильно это торжество, по своему характеру и значению, отвечало настоятельно-жгучей, глубоко таившейся потребности русского общества, живущим среди его в настоящую минуту стремлениям, — тому настроению, которое владеет им и ищет себе исхода. Эта несмолкающая рвущаяся наружу потребность — есть потребность дружного действия ради общей цели, ради того, чтобы общественные силы, дремлющие и немые, получили наконец возможность проявляться на благо страны».⁹⁰

«Молва» заявляла: «Здесь признаны были умственная зрелость России, способность ее к самостоятельной умственной жизни наравне со всеми образованными народами. <...> Не станем возвращаться к отрицанию русского общества, русской интеллигенции, не будем позорить и поносить ту литературу, которая „идет по пути, указанному Пушкиным“»,⁹¹ — писала газета, явно метя в Каткова.

По мере того как рос интерес к празднику, это событие стало восприниматься как особого рода проявление потребности общества в самовыражении. «Санкт-Петербургские ведомости» отмечали, что во время Пушкинских торжеств «все интересы минуты, даже интересы так называемой высшей политики отступили на задний план. По крайней мере, так отразилось это событие в печати,

со дня на день приобретающей более и более прав служить выразительницей общественного мнения! С особенно отрядным чувством мы можем отметить этот факт в истории нашей жизни, факт, громко говорящий за то, что наше общество крепнет и мужает нравственно и умственно». «Петербургская газета» писала, что «русское общественное мнение на московских пушкинских праздниках сделало решительный шаг». Более того, по мнению газеты, праздник доказал, что сила общественного мнения могла бы служить интересам как государства, так и общества, в том случае если доверяться ей и поддерживать ее с помощью законов. «Современные известия» писали: «Мы пользуемся опытом Пушкинского праздника, чтобы поставить на вид власть имеющим, что и в высших государственных интересах всякое собрание литераторов и вообще представителей печати может приносить только пользу в смысле воспитания общественного и в смысле воспитания самой печати, среди которой не замедлят образоваться свои правила чести, свой нравственный суд, свое общественное мнение среди самих органов общественного мнения (. . .) Лишь бы только всякий конгресс происходил гласно, на виду всех, и общества и правительства. Гласность здесь, как и везде, есть лучшая узда и лучшая школа ответственности». ⁹²

«Русский курьер» нашел, возможно, лучшую формулу для описания того, чему способствовал Пушкинский праздник: «осмыслившее себя общественное мнение» — мнение, самим актом самоосмысления утверждающее свое существование и реальность. Точно так же, как национальный поэт «создает» русскую нацию, «раскрывая русскую душу» (как это сформулировал Островский в широко цитированном тосте), так и тогда, именем Пушкина, представители российского общества провозгласили, что нация, наконец, готова участвовать в решении собственной судьбы. «Голос» заключал, что «общество» и «интеллигенция» больше не представляли собой абстрактных терминов, используемых в толстых журналах, а стали живым народным организмом, который доказал, что мог бы действовать в своих собственных интересах. ⁹³

ПОСЛЕДНЯЯ ТРИБУНА ТУРГЕНЕВА

«Вся мыслящая и чувствующая Русь» собралась в Москве на Пушкинский праздник. В центре внимания и полемики находился И. С. Тургенев — участник и организатор торжеств, пропагандист и знаменосец «возвращения к Пушкину». Ожидалось, что Тургенев, которого в первый же день праздника приветствовали как «прямого и достойного наследника» Пушкина, выскажется в своей речи о его значении и приведет либералов на торжествах к триумфу. Эти ожидания не оправдались. Беспристрастный анализ роли Тургенева в организации торжеств, его неудачной попытки убедить Толстого принять в них участие, оказанного ему в начале восторженного приема и прохладной реакции на его речь, а также критического отношения к торжествам Н. К. Михайловского, видевшего в них проявление лишь незрелого общественного мнения, ставит под сомнение оценку Пушкинского праздника как «либеральной манифестации» и выявляет уязвимость либеральной, «просветительской» позиции Тургенева.

Возвращение к Тургеневу популярности

Предшествующие полтора десятилетия были для Тургенева — и в политике и в литературе — временем утраты иллюзий. С начала 1860-х годов, после бурной полемики вокруг «Отцов и детей», Тургенев жил за границей — в Германии и во Франции, и его решение покинуть Россию было правильно истолковано как неприятие гнетущей

политической и культурной атмосферы в России (хотя было известно и о его чувстве к Виардо).¹ Его письма последующих лет полны горьких непрекращающихся сетований по поводу поспешного свертывания реформ, гнета цензуры и классической системы образования, равно как и по поводу экстремизма интеллигенции, который, по его мнению, все более отдалял саму возможность реформ. После того как последний из «социальных» романов Тургенева «Новь» (1877) был негативно воспринят, популярность и влияние писателя в России достигли, казалось, низшей отметки. Хотя роман имел быстрый успех в Европе, в России критики осудили его, как они раньше осуждали и политически заостренный «Дым» (1867), и намеренно аполитичные «Вешние воды» (1872).² Даже сам Тургенев начал приходить к выводу, что, живя за границей, он потерял контакт с современной Россией и что карьера его как писателя подошла к концу.

Тем не менее во время краткой поездки в Россию в начале 1879 г. в связи со смертью брата он неожиданно для себя оказался в центре общественного внимания. Политический кризис, следовавший за Русско-турецкой войной, дал сильный толчок возвращению популярности Тургенева в России. Умеренные взгляды и сочувственное изображение в «Нови» революционеров-народников, казавшееся в 1877 г. не соответствующим действительности, теперь вызвало благожелательный отклик, и Тургенев внезапно оказался на положении лидера сторонников реформ. Его приезд стал поводом для литературных собраний, которые вылились в «либеральные демонстрации», организованные теми же людьми, кто впоследствии устраивал Пушкинские торжества.

Сначала Ковалевский дал 15 февраля небольшой обед в честь романиста.³ Общее настроение за обедом, где Тургенев был провозглашен любимым писателем русской молодежи, подвигло Ковалевского и Юрьева созвать двумя днями позднее открытое заседание ОЛРС в Московском университете (к которому формально относилось Общество). Здесь студенты восторженно приветствовали Тургенева как героя борьбы против крепостничества и защитника политических реформ.⁴ В следующие дни Тургенев был приглашен на ряд банкетов и литературных чтений. Полицейский агент, присутствовавший при «шумных и небывалых овациях», выпавших на долю Тургенева в Москве, сообщал в секретном донесении, что произносились «страстные речи», в которых «почти прямо высказывалось, что Россия стоит накануне конституционного переворота

и какой-то особой демократизации». Он отмечал, что «этим празднествами исключительно была занята Москва последнее время». Неистовые приветствия продолжались и в Петербурге.⁵

В равной мере и Тургенев был обрадован этим горячим приемом, отдавая, однако, себе отчет в том, что (как писал его друг революционер-эмигрант П. Л. Лавров) овации, доставшиеся ему, гораздо меньше относились к нему лично, нежели являлись возможностью высказать «смелые мысли». Эти демонстрации, считал Лавров, давали возможность высказаться тем социалистам, которые «имели мало склонности к кровавым мерам».⁶

В речи Тургенева 6 марта на одном из банкетов в его честь он говорил о себе как представителе поколения Белинского, Грановского и либералов 1840-х годов:

«Нет никакого сомнения, что сочувствие ваше относится ко мне не столько как к писателю, успевшему заслужить ваше одобрение, сколько к человеку, принадлежащему эпохе 40-х годов, — оно относится к человеку, не изменившему до конца ни своим художественно-литературным убеждениям, ни так называемому либеральному направлению. <...> Теперь, когда всё указывает на то, что мы стоим накануне хотя близкого и законно правильного, но значительного перестроя общественной жизни, это слово является чем-то неопределенным и шатким. Кто им, подумаешь, не прикрывается! Но в наше, в мое молодое время, когда еще помину не было о политической жизни, слово «либерал» означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец — пуще всего — означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов. <...> Надо докончить начатое, и докончить прямо, честно, по открытому пути. Задача его <молодого поколения. — М. Л.>, правда, труднее и сложнее нашей: тогда вся сознательная жизнь общества текла, если можно так выразиться, по одному руслу, теперь она разветвилась или готовится разветвиться, как оно и следует в более зрелом возрасте государства».⁷

Тургенев почувствовал, что и русское общественное мнение, и молодое поколение, симпатизирующее делу радикалов (поколение, которое отвергло Пушкина и тургеневские романы), теперь приближались к «зрелости», и счел свой триумф 1879 года подтверждением либеральных идеалов своей юности.

Антагонизм между Тургеневым и Катковым также привнес элемент драматизма в его поездки в Россию в 1879 и 1880 гг. и способствовал тому, что и сам романист, и Пушкинские торжества оказались в центре внимания. Для Тургенева верноподданный Катков, отошедший от когда-то общих для них обоих либеральных взглядов, стал воплощением всего того, что препятствовало прогрессу России. Тургенев писал Фету в 1874 г.: «Всё, что у меня осталось ненависти и презрения, я перенес всецело на Михаила Никифоровича, самого гадкого и вредного человека на Руси.⁸ В течение 1879 г. его ссора с Катковым, имевшая более чем десятилетнюю историю, принимала все более и более острый и публичный характер. Ковалевский умышленно исключил Каткова и его союзников из числа приглашенных на обеды в честь Тургенева, как бы репетируя то, чему предстояло неизбежно случиться в 1880 г., а Катков наносил ответные удары редакционными статьями, клеймящими Тургенева как духовного отца антиправительственной агитации в России. В декабре 1879 г., незадолго до поездки Тургенева в Россию на Пушкинские торжества, обозреватель «Московских ведомостей» Б. М. Маркевич (которого Тургенев высмеял в «Нови») возобновил нападки: он обвинил Тургенева в симпатиях к русским революционерам за границей, а также в «заискивании» и «низкопоклонстве» перед «некоторой (т. е. радикальной.— М. Л.) частью» русской молодежи.⁹ Тургенев ответил опровержением в «Молве», перепечатанным в феврале «Вестником Европы», которое содержало откровенное изложение его либеральной позиции: «убеждения, высказанные мною и печатно и изустно, не изменились ни на йоту в последние сорок лет; я не скрывал их никогда и ни перед кем. В глазах нашей молодежи — так как о ней идет речь — в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался „постепеновцем“, либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше*, — принципиальным противником революций, не говоря уже о безобразиях последнего времени. Молодежь была права в своей оценке — и я почел бы недостойным и ее и самого себя представляться ей в другом свете. Те овации, о которых упоминает г. „Иногородный обыватель“ (псевдоним Б. М. Маркевича.— М. Л.), мне были приятны и дороги именно потому, что *не я шел к молодому поколению* (...), но потому, что *оно шло ко мне*; они были мне дороги, эти овации, как доказательство проявившегося сочувствия к тем убеждениям,

которым я всегда был верен и которые громко высказывал в самых речах моих, обращенных к людям, которым угодно было меня чествовать». ¹⁰

Грубые попытки Каткова опорочить Тургенева привели к обратным результатам и послужили лишь усилению влияния романиста как среди радикально настроенных групп интеллигенции, так и в аристократических и придворных кругах. Отвечая на личные выпады Каткова, Тургенев защищал русское общественное мнение, полагая, что общество, поддерживая его, поддерживает демократические реформы.

Во время приезда Тургенева в Россию в 1879 г. его сторонники неоднократно призывали писателя покончить с добровольным изгнанием, остаться на родине и возглавить либеральную оппозицию. Через две недели после отъезда из России он описывал своему другу П. В. Анненкову, как «просили меня в России вернуться туда, остаться там» не для того, чтобы стать политическим «вождем», а чтобы выступить в роли «центрального пункта, знамени». ¹¹ Приглашения вернуться явно льстили Тургеневу, и он не исключал возможности возвращения. Собираясь в Россию в 1880 г., полный сомнений и меланхолии, он несколько загадочно писал (также Анненкову): «Я еду в Россию, не зная нисколько, когда я оттуда вернусь. Причины, побуждающие меня к этому поступку, разнообразные: и личные. . . и другие». «Тяжелые и темные времена переживает теперь Россия, — писал он Толстому, — но именно теперь-то и совестно жить чужаком». ¹² Хотя некоторые биографы утверждали, что поездка Тургенева в Россию в 1880 г. была прежде всего вызвана его связью с молодой петербургской актрисой М. Г. Савиной, он несомненно чувствовал себя обязанным выполнить свой долг России в надежде, что еще возможны перемены. ¹³

По возвращении в Россию Тургенев активно занялся разнообразной общественной и литературной деятельностью — встречался с редакторами и писателями, присутствовал на обедах, публичных чтениях и других мероприятиях. Он также взял на себя ведущую роль в приговорении ОЛРС к Пушкинским торжествам, и после своего первого заседания комиссия пригласила Тургенева стать ее официальным действительным членом. Он помог приобрести экспонаты для выставки, участвовал в составлении программы «литературно-музыкальных вечеров» и даже поддержал ОЛРС деньгами. Он выступал в роли полномочного представителя Общества, рассылая приглашения известным иностранным писателям, и, без сомне-

ния, участвовал в интриге, целью которой было исключение Каткова из числа приглашенных. Наконец, он согласился написать брошюру о Пушкине «для народа», которая и должна была стать его речью на одном из открытых собраний ОЛРС и предназначалась для публичных чтений и свободного распространения в московских общественных читальнях в день открытия памятника.¹⁴

Тургенев следил за политическим кризисом начала 1880 г. с неослабевающим интересом и сдержанным оптимизмом. Он одобрил назначение Лорис-Меликова как прогрессивный шаг, а с увольнением в апреле презираемого им Д. А. Толстого еще больше уверился в том (как он писал Стасюлевичу), что «решительно: оттепель наступила сильная».¹⁵ Он трудился, с тем чтобы превратить Пушкинские торжества в повторение «либеральных демонстраций» предыдущего года — еще более крупную и более сплоченную демонстрацию мощи русской литературы. Он убеждал Анненкова приехать в Россию на торжества, заверяя его, что «всякий нехороший элемент (т. е. Катков. — М. Л.) будет устранен».¹⁶ Он информировал Гаевского в Петербурге об обещании московского генерал-губернатора князя Долгорукого дать выступающим максимум свободы слова (т. е. минимум цензуры) и настаивал, что «очень было бы желательно, чтобы вся литература единодушно сгруппировалась бы на этом Пушкинском празднике». Узнав, что Петербургский комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (так называемый Литфонд) выбрал его, вместе с Гаевским, Краевским, А. А. Потехиным и Д. В. Григоровичем, делегатами на торжества, он сообщил Гаевскому о своей радости «слышать, что петербургская литература хочет двинуться в Москву: надо всем собраться — целой массой — всякие отдельные и поздние манифестации неуместны».¹⁷

Неудачная поездка к Толстому

После всех оптимистических приготовлений Тургенев испытал большое разочарование: ему не удалось убедить Толстого принять участие в торжествах. Среди разных взятых Тургеневым на себя обязанностей он принял поручение от ОЛРС лично пригласить Толстого и в начале мая поехал в Ясную Поляну. Неспособность этих двух великих романистов найти общий язык по поводу чествования Пушкина — важный эпизод в истории праздника и

горький момент в их судьбах. Отказ Толстого принять приглашение Тургенева помогает прояснить проблему восприятия образа Пушкина в 1880 г., обнаруживая уязвимость либеральной «просветительской» позиции Тургенева и глубокие расхождения во взглядах двух писателей на искусство и его общественную роль.

Отсутствие Толстого на празднике бросалось в глаза — особенно потому, что ОЛРС внесло его имя в список приглашенных знаменитостей, опубликованный в газетах. Вплоть до последнего момента оставалась надежда, что Толстой изменит свое решение; для некоторых его отказ выглядел оскорбительным неприятием всего праздника.¹⁸ Толстой, однако, долго оставался в стороне от литературной жизни обеих столиц и с презрением относился к своим критикам из кругов интеллигенции. В дни визита Тургенева в Ясную Поляну «Новое время» писало, что «как ни были радикальны литературные критики-пигмеи, Толстой все-таки стоит, как некоторая скала, и ее не сдвинуть им, сколько бы они ни царапали ее своими ногтями. Он даже не знает, что о нем пишут, ибо газет не получает и читать их не желает. Сидит себе в своей деревне, созерцая природу и изучая человека. Однако, не мог же он не откликнуться на первое народное торжество, торжество поэта, который растет и растет. . .»¹⁹

Как современники, так и литературоведы следующих поколений пытались понять те особые причины, которые лежали в основе отказа Толстого принять участие в Пушкинских торжествах. Некоторые ученые цитируют написанное в 1908 г. и предназначавшееся для публикации в газетах письмо, в котором Толстой заявлял: «Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался; знал, что огорчал Тургенева, но не мог сделать иначе, потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и, не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».²⁰ Толстой написал это письмо для того, чтобы не дать состояться замышлявшимся торжествам в честь его восьмидесятилетия, которое либеральные педагоги и политики надеялись превратить в политическую демонстрацию.²¹ В свете вдохновлявшихся успехом Пушкинских торжеств грубых попыток интеллигенции и государства манипулировать именами русских классиков опасения Толстого, безусловно, понятны, но вряд ли он мог предвидеть все это в 1880 г. Тем не менее Толстой вновь и вновь демонстрировал свой давний и столь знакомый читателям его романов скептицизм

по отношению к любым общественным церемониям и авторитетам. Возможно, он ранее обсуждал эту проблему со своим другом, поэтом А. А. Фетом, человеком весьма консервативных взглядов, который даже в эту пору считал торжества 1880 г. бесстыдной попыткой либералов воспользоваться именем Пушкина в своих собственных целях и позорной профанацией священной памяти поэта.²²

Пути Тургенева и Толстого расходятся

Толстой прошел долгий путь с 1859 г., когда он был вместе с Тургеневым избран в члены ОЛРС. Тогда он защищал Пушкина и идеалы высокого искусства. Тургенев помог молодому писателю войти в петербургский литературный свет пятидесятых годов и считал Толстого, который был моложе его на десять лет, своим протеже. Первоначальный разрыв Толстого с литературным миром (отчасти вследствие холодной реакции на его вступительную речь) сопровождался знаменитой ссорой его с Тургеневым в 1861 г., которая едва не закончилась дуэлью. Писатели разорвали все личные отношения и помирились только за два года до их встречи в 1880 г. Предлогом для разлада стал спор касательно образования дочери Тургенева, но глубинными, основными причинами были их личная несовместимость (которую признавали оба писателя) и растущее разочарование Толстого в либеральном просветительском взгляде на литературу и роль художника.

В ответ на распространение радикализма в литературе в начале шестидесятых годов Тургенев уехал во Францию, а Толстой — в свое имение. В то время как Тургенев гордился своей неизменной приверженностью либерализму, толстовская критика современной литературы сосредоточилась на основополагающем для либерализма представлении о том, что писатели из интеллигенции говорят от имени всего русского народа. Одной из главных мишеней «Войны и мира» (1865—1868) были теоретики, наивно полагавшие, что они говорят от имени «истории» и «прогресса», а последние части «Анны Карениной» (1874—1877) оказались мрачным каталогом деградирующих общественных и политических нравов. В полемической последней части, которую Катков отказался печатать в своем журнале, Толстой осудил ту волну патриотизма, которая втягивала Россию в войну с Турцией. Он отвергал значимость современного «общественного мнения» и отрицал, что

пресса представляет подлинные интересы русского народа, возражая таким образом и либералам, которые с удовлетворением следили за тем, как пресса начинает влиять на государственную политику, и архиконсерватору Каткову, поддержавшему войну и приветствовавшему всплеск русского национализма.

Работа над «Анной Карениной» погрузила Толстого в состояние глубокой депрессии, которая привела его к радикальной переоценке своих убеждений. В начатой за несколько месяцев до визита Тургенева «Исповеди» Толстой изложил некоторые идеи, к которым он пришел в процессе духовного кризиса. Во второй главе он обвинил русскую литературу в полном нравственном банкротстве и эгоцентризме и, затронув самые основы, подверг сомнению веру в универсальность русской литературы и в ее просветительскую миссию — веру, которую он в прошлом разделял с Тургеневым и которая для него была связана с Пушкиным.

Проводя в 60—70-е годы педагогические эксперименты в яснополянской школе для крестьянских детей, Толстой столкнулся с проблемой отбора подходящей литературы для необразованного простонародья. Он спрашивал себя, имеет ли какую-либо ценность для русского крестьянина литература, предназначенная для европеизированной интеллигенции. К началу восьмидесятых годов Толстой приходит к выводу, что вся русская литература предыдущих пятидесяти лет (включая как пушкинские произведения, так и его собственные) была «не существенной» для народа и годилась только для высших слоев общества. Народ «не берет <Пушкина и ему подобных.— М. Л.>», — писал он в статье «Так что нам делать?» (1882), — потому что это не пища, а это *hogs d'oeuvres*, десерты». ²³ Подобно радикальным критикам шестидесятых годов, отрицавшим «народность» Пушкина, Толстой проводил резкое разграничение между литературой для образованной элиты и литературой для народа.

Проблема поклонения Пушкину

С юных лет Толстой любил поэзию Пушкина, но в своей безжалостно откровенной, категоричной манере он пришел к отрицанию ее, равно как и собственных романов. И в самом деле, ко времени своей встречи с Тургеневым в 1880 г. Толстой уже принял решение за-

кончить свою литературную деятельность в качестве романиста и посвятить себя религиозным и философским исканиям. Именно в этом году Толстой написал свою первую большую богословскую работу «Исследование догматического богословия» и начал изучать и переводить Евангелия. Подобно нигилистам, Толстой отвергал то, что считал гедоническим эстетством интеллигенции; но, в отличие от них, отвергая его, он признавал власть искусства как нравственной силы и видел в русском народе врожденную эстетическую потребность. Поэтому для него приобрел актуальность вопрос «Что такое искусство?». И в своих назидательных рассказах, и в сочинениях, посвященных вопросам эстетики, Толстой предлагал собственный на него ответ, окончательно сформулировав его в трактате под этим заглавием. Завершенный только в 1897 г., трактат «Что такое искусство?» отражает в действительном смысле апогей духовного кризиса Толстого семидесятых годов. Толстой начал работать над трактатом в 1882 г. и, по всей видимости, как явствует из внутренних свидетельств, Пушкинские торжества помогли сформироваться некоторым его мыслям о разрушительном влиянии интеллигенции на народ.

В семнадцатой главе Толстой описывает некоторые «побочные последствия ложного отношения к искусству нашего общества»²⁴ и «путаницы», производимой им среди детей и похожих на детей русских крестьян. Пушкинский праздник служит тому главным примером. Отношение общества к искусству, писал Толстой, отражается в его умеренном преклонении перед писателями, в которых народ видит героев, подобных Геркулесу и Христу, как, например, Пушкин:

«Когда вышли 50 лет после смерти Пушкина и одновременно распространились в народе его дешевые сочинения и ему поставили в Москве памятник, я получил больше десяти писем от разных крестьян с вопросами о том, почему так возвеличили Пушкина? На днях еще заходил ко мне из Саратова грамотный мещанин, очевидно сошедший с ума на этом вопросе и идущий в Москву для того, чтобы обличать духовенство, за то, что оно содействовало постановке „монамента“ господину Пушкину.

В самом деле, надо только представить себе положение такого человека из народа, когда он по доходящим до него газетам и слухам узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе

России — Пушкину, про которого он до сих пор ничего не слышал. Со всех сторон он читает или слышит об этом и полагает, что если воздаются такие почести человеку, то вероятно человек этот сделал что-нибудь необыкновенное, или сильное, или доброе. Он старается узнать, кто был Пушкин, и узнав, что Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель, он делает заключение о том, что Пушкин должен был быть святой человек и учитель добра, и торопится прочесть или услышать его жизнь и сочинения. Но каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные». ²⁵

В данном случае Толстой путает пятидесятилетнюю годовщину смерти Пушкина в 1887 г. (в это время истек срок действия авторского права на его сочинения, и они наводнили книжный рынок) и открытие памятника Пушкину в 1880 г. Для Толстого проблема Пушкина имеет два аспекта. Во-первых, Толстой солидарен с теми, кто осуждает образ жизни Пушкина и его сочинения как безнравственные. Во-вторых, великими людьми русские крестьяне признают либо святых, либо героев войны, а преклонение перед такими «светскими» личностями, как Пушкин, сбивает народ с толку и даже развращает его. Сочинения Пушкина понятны только узкому кругу европеизированных русских, и навязывать их народу означает подрывать народные устои. Литература для народа должна действовать совершенно иным образом. Она не должна превозносить отдельную личность и потакать вкусам высшего общества, но должна служить высоким, универсальным нравственным идеалам.

Эти вопросы вряд ли четко оформились в сознании Толстого в пору самих Пушкинских торжеств и скорее всего не были непосредственной причиной отказа от приглашения Тургенева, хотя открытие памятника и шумиха вокруг Пушкина в 1880 г., очевидно, повлияли на кардинальную переоценку Толстым роли искусства. Пристальное внимание к Пушкину (в 1880 г. и впоследствии) представлялось Толстому ошибкой, подчеркивая для него по контрасту положение писателей, действующих в вакууме, отделенных от народа, который оставался в большинстве своем неграмотным и имел другие, по мнению Толстого, чистые идеалы.

Во время встречи с Толстым 2—3 мая 1880 г. Тургенев, видимо, пытался как можно тактичнее убедить его оставить увлечение богословием и вернуться в литературу. Он очень тяжело воспринял отречение Толстого от либеральных, «просветительских» взглядов, которые они прежде разделяли, и его отказ от ценностей европейской цивилизации. Во время долгого отсутствия на родине Тургенев помогал распространению произведений Толстого в Европе и продолжал превозносить его как великого писателя, хотя многое в его сочинениях вызывало у него возражения. В письме Страхову от 4 мая Толстой сообщал несколько завуалированно и явно снисходительным тоном: «С Тургеневым много было разговоров интересных. До сих пор, простите за самонадеянность, все слава Богу случается со мной так: „Что это Толстой какими-то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал“. И всякий раз случается так, что советчикам станет стыдно и страшно за себя. Так, мне кажется, было и с Тургеневым. Мне было с ним и тяжело, и утешительно. И мы расстались дружелюбно».²⁶ Сын Толстого позднее вспоминал, что его отец и Тургенев старались сохранить дружеские отношения, избегая, по возможности, спорных вопросов.²⁷ В беллетризованном описании их встречи 1880 г. П. А. Сергеенко утверждает, что на второй день они договорились больше не упоминать о Пушкинских торжествах и что Тургенев был «уязвлен и обижен» отказом Толстого.²⁸ Как бы то ни было, но еще перед поездкой к Толстому Тургенев писал Анненкову, что ему вряд ли удастся убедить Толстого приехать в Москву на торжества. Несмотря на возобновившиеся теплые чувства, их позиции расходились так резко, что восстановление дружеских отношений было маловероятно. Официальный биограф и ученик Толстого, П. И. Бирюков, отмечал, что комиссия ОЛРС дала Тургеневу это «важное, дипломатическое поручение», зная об отрицательном отношении Толстого «ко всякого рода торжествам и юбилеям». Радикальный журнал «Дело», Бирюков и вслед за ними исследователи, например Эрнест Симмонс, констатировали, что Толстой немедленно и категорически отказался от приглашения ОЛРС.²⁹ Тем не менее через два дня после отъезда из Ясной Поляны Тургенев писал Стасюлевичу, что Толстой «пока колеблется». Возможно, правда, что, говоря о нерешительности Толстого, Тургенев пытался лишь сохранить свое лицо. Сергеенко утверждает, что отказ Толстого глубоко задел Тургенева и испортил ему настроение на все время Пушкинских торжеств.

Тургенев пересматривает свою позицию

Вполне вероятно, что неудача Тургенева — каким бы ни было содержание его разговора с Толстым — помогла ему выработать свой собственный взгляд на Пушкинские торжества, ускорив наступление момента, когда с созревшими мыслями он принялся за порученную ему ОЛРС брошюру «для народа». После отъезда из Ясной Поляны Тургенев поехал прямо в Спасское, куда прибыл 4 мая, и «с рвением» взялся за работу. Он написал Стасюлевичу и пообещал предисловие для публикации речи в «Вестнике Европы», а три дня спустя сообщил ему же: «Работа моя пошла скорее, чем я предполагал». Оказалось, однако, что «она вышла уже вовсе не для *народа* (для которого я не умею писать — да он же и не ведаёт Пушкина) — а для людей культурных». Одновременно с несвойственной ему горячностью он сообщал Юрьеву о своем решении не печатать брошюру: «...вышла она у меня не только не для народа (от этого, Вы знаете, я тотчас отказался) — но и не для гимназистов. Это литератор и культурный человек написал для своих же собратьев... Из этого следует, что печатать мою речь отдельно для бесплатной раздачи немислимо; оно было бы понятно, если б работа моя предназначалась для народа; в противном случае это предложение было бы оскорбительным для остальных лиц, которые будут держать речи. <...> одну мою речь печатать я ни за что не соглашусь. Вы бы меня тем поставили в ложное положение — да и цели нет. Если же Вы непременно желаете, чтобы в тот день была роздана брошюра для народа, то попросите Бартенева или кого другого написать краткую популярную биографию, хоть в 6 или 8 страниц <...> Умоляю Вас не возвращаться более к этому вопросу и считать его решенным. Скорее, чем согласиться на отдельное печатание моей речи, я откажусь ото всякого участия в празднике».³⁰

Заявляя, что он никогда не давал согласия издавать брошюру, Тургенев руководствовался, возможно, теми же соображениями, которые ранее побудили его заявить Анненкову, что Толстой еще колеблется.

В то время как Толстой стремился постичь веру народа, а затем привести в соответствие с ней свое творчество, Тургенев считал, что народ должен стремиться к тому уровню европейской культуры, который представляют великие писатели России. Тургенев уже давно держался мнения, что его произведения предназначены лишь узкой, образованной аудитории, «его классу», и четко сознавал

дистанцию, отделявшую этот класс от основной массы народа. В письме графине Е. Е. Ламберт от 27 апреля (9 мая) 1863 г. Тургенев высказал свое писательское кредо, удивительно напоминающее его взгляды 1880 г.: «Вы правы, говоря, что я не политический деятель — и утверждая, что правительству нечего меня опасаться: мои убеждения с молодых лет не менялись — но я никогда не занимался и не буду заниматься политикой: это дело мне чуждое и неинтересное — и я обращаю на него внимание, насколько это нужно писателю, призванному рисовать картины современного быта. Но Вы неправы, требуя от меня на литературном поприще того, что я дать не могу, плодов, которые не растут на моем дереве. Я никогда *не писал для народа*. Я писал для того класса публики, которому я принадлежу — начиная с «Записок охотника» и кончая «Отцами и детьми» <...> художник часто не волен в собственном детище <...> всякий делает только то, что ему дано делать — а насиловать себя — и бесполезно и бесплодно. Вот отчего я никогда не напишу повести для народа. Тут нужен совсем другой склад ума и характера». ³¹

То, что Тургенев признавал ограниченностью своего искусства — его сословный характер, — побудило Толстого уйти из литературы. Тургенев надеялся, что народ преодолеет культурную пропасть, отделяющую его от интеллигенции, и приобщится к европейскому просвещению. Он ждал того дня, когда Россия будет иметь «нормальную» «умственную жизнь». Его встреча с Толстым и работа над брошюрой еще раз убедили его в необходимости и в сложности решения этой задачи.

Восторженный прием, оказанный Тургеневу в Москве

В начале Пушкинских торжеств Тургенев оказался в центре внимания как защитник интеллигенции и ее «просветительской» роли, как наследник Пушкина. По замечанию И. Ф. Василевского, «каждый как-то чувствовал, что он *первый человек* среди собравшихся и фактический, законный, общественно-признанный и вознесенный главарь современной литературы». ³² В отсутствие Салтыкова, Гончарова и Толстого единственным реальным соперником Тургенева был Достоевский, чья популярность действительно возрастала, но чье право считаться рупором интел-

лигенции отнюдь не было общепризнанным. На площади во время открытия, как мы уже отмечали, царило радостное настроение, и когда церемония закончилась, люди столпились вокруг Тургенева, крича и аплодируя, — неслыханное событие в иерархической царской России. Настроение на открытии памятника передалось церемонии в Московском университете, где появление Тургенева вызвало что-то похожее на истерию. Тихонравов объявил, что университет избрал Грота, Анненкова и Тургенева «почетными членами». Один корреспондент описал это следующими словами: «Итак, едва г. Тихонравов провозгласил имя Тургенева, как вся зала задрожала от восторженных криков и рукоплесканий. Она дрожала несколько минут. Гром то стихал, то ревел с новою энергиею и силою. Все поднялись со своих мест. Хлопали, стучали, кричали „ура!“, „браво!“, массами тянулись по направлению к Тургеневу, а студенческая молодежь наверху, на хорах, казалось провалится вниз вместе с колоннами. . .» Затем поднялся новый министр народного просвещения А. А. Сабуров, прибывший на торжества по прямому указанию царя, и порусски трижды поцеловал Тургенева. Учитывая, что само назначение Сабурова повсеместно считалось уступкой общественному мнению, это выглядело официальным признанием Тургенева как писателя и общественного деятеля, равно как и одобрением самих торжеств. «Общественная овация достигла в эту минуту наибольшего напряжения. Слышалось уже нечто вроде стопа совсем охрипших и обессиленных голосов. Раскрасневшиеся руки болели от хлопанья. Это был настоящий апофеоз покойного гения в лице живого светила. Это было рукоположение Тургенева во имя Пушкина в общественные кумиры». ³³

Многие присутствующие чувствовали, что публичное поклонение Тургеневу и Достоевскому подтверждало достоинство и значение профессии писателя, которое было узурпировано критиками и обесценено государством. По мнению «Нового времени», «решающее политическое значение» торжеств состояло в том, что «писатель вновь обрел свои права, снова появился в роли политической фигуры». Литература, писала «Петербургская газета», наконец-то заняла свое место «среди других проявлений общественности». Краевский, не побоявшийся в 1837 г. цензуры и напечатавший взволнованный некролог Одоевского Пушкину, доказывал, что литература всегда была лучшим из того, что производила Россия, — выше правительства, торговли, промышленности, науки и образования: «Нам, народу, у которого литература всегда была

лучшим, если не единственным, убежищем свободного духа. . .»³⁴ Салтыков, скептически относившийся к торжествам, написал заявление в Литфонд, в котором выражалась надежда, что это «празднество будет торжеством не только для памяти чествуемого поэта, но и для всей русской литературы вообще, и что оно возвысит и укрепит в обществе то чувство уважения, которого литература наша по справедливости заслуживает».³⁵

Историки вспоминают скандал на думском обеде в тот вечер не в связи с тенденциозным репортажем «Голоса» и шумом в прессе, который он вызвал, но в связи с презрительным отношением Тургенева к своему старому врагу Каткову. Его отказ «чокнуться» с Катковым рассматривался его сторонниками как «гражданский подвиг», публичное осуждение сил, сопротивлявшихся реформе. В этом смысле это был символический триумф русского писателя как «политического деятеля» и, возможно, кульминационный момент Тургенева на Пушкинском празднике.

Отказ Тургенева «чокнуться» еще более, наверное, способствовал восторженному приему, оказанному ему на последовавшем за банкетом «литературно-музыкальном» представлении. Н. Г. Рубинштейн начал концерт несколькими увертюрами из опер по произведениям Пушкина, после чего выступили известные певицы Климентова и Каменская. Затем настал черед драматических актеров Мельникова и Самарина, а потом читали Достоевский, Писемский, Островский, Анненков, Потехин и Григорович; все они были тепло приняты. Но когда подошла очередь Тургенева, «восторженные клики» и «несмолкаемые рукоплескания» продолжались, как сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», около четверти часа. Среди стихотворений, которые прочел Тургенев, было пушкинское «Вновь я посетил» (1835), которое в то время ошибочно называли «Опять на родине» и которое многие восприняли (причем не все доброжелательно) как намек на собственное положение романиста.³⁶ Тургенева вызывали семь раз. Его чтение на шумное «бис» лирического стихотворения Пушкина «Туча» (1835), как сообщала «Неделя», «привело всех в неописанный восторг». Выбор Тургеневым этого стихотворения (обычно известного по первой строчке «Последняя туча рассеянной бури») было воспринято многими слушателями как «эзопов» намек на либерализацию жизни в России, а другими — даже более определенно, как рассеяние «катковского облака на пушкинском празднике».³⁷ Вечер закончился «апофеозом» Пушкина, когда исполнители под музыку триумфального марша возложили

венки к подножию большого бюста поэта, установленного в центре сцены. В завершение Тургенев подошел к бюсту один и возложил свой венок на голову поэта. По мнению одного зрителя, вечер в целом выглядел как форум, собравшийся для увенчания самого Тургенева.

Тургенев защищает искусство и эстетику

Тургенев произнес свою речь на первом публичном заседании ОЛРС на следующий день. Она прозвучала почти в самом конце и стала кульминацией собрания. Ее ожидали с большим нетерпением. Н. Н. Страхов вспоминал: «Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накапливающийся энтузиазм. (...) Тургенева вообще чествовали, как бы признавая его главным представителем нашей литературы, даже как бы прямым и достойным наследником Пушкина. И так как Тургенев был на празднике самым видным представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль и победа в предстоящем умственном турнире».³⁸

Как бы отвечая Толстому, Тургенев попытался в своем выступлении ответить на вопросы «Почему Россия любит Пушкина?» и «Что значит быть национальным поэтом?» Выступление Тургенева — это тщательное, хорошо продуманное обоснование права Пушкина на памятник, попытка объяснить, почему «вся образованная Россия» сочувствовала празднику и почему «так много лучших людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства» собралось в Москве, чтобы отдать «дань признательной любви» Пушкину. Тургенев начал с того, что кратко обрисовал главенствующую роль искусства в человеческом обществе, выдвинув на первый план те положения романтической эстетики, которые составляли основу взглядов интеллигенции на литературу со времен Белинского (которого Тургенев назвал «главным, первоначальным истолкователем Пушкина»). Лишь тогда, когда дикарь каменного века нацарапал голову медведя или лося на обломке кости, он действительно стал человеком, сказал Тургенев, и «только тогда, когда творческой силою избранников народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии — он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное место

в истории; он получает свой духовный облик и свой голос — он вступает в братство с другими, признавшими его народами. <...> искусство народа — его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества...»³⁹ Не отрицая значения религии и политики, Тургенев говорил о том, что только искусство может определить место народа в истории, потому что «оно — звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа неумирающая», которая «может пережить физическое существование своего тела, своего народа». Именно Пушкин одарил Россию поэзией. Пушкин был, продолжал Тургенев, вторя известной формуле Белинского, «первым поэтом-художником» России, первым, кто дал русскому самосознанию художественное воплощение.

Следующую часть речи Тургенев посвятил проблеме определения «народности» Пушкина и его отношения к массам необразованных русских людей. Соглашаясь с определением Белинского о различии между «народными» и «национальными» поэтами, Тургенев доказывал, что Пушкина нельзя назвать поэтом «народным», поскольку «простой народ» не знает его. Но именно это, говорил Тургенев, объединяло Пушкина с Гете, Шекспиром и другими великими европейскими поэтами; нигде «простой народ» не знает своих писателей. Этих великих писателей, сказал он, читает не «народ», а «их нация»; «это вершина, к которой надо приблизиться». Поскольку «искусство есть возведение жизни в идеал», простому народу потребуются время и усилия, чтобы его понять и оценить.

По существу это был главный ответ Толстому, повторное изложение взглядов, которых когда-то держался сам Толстой. Для тех, кто, подобно Тургеневу, считал, что Пушкинские торжества продемонстрировали право интеллигенции представлять общество и народ в целом, Пушкин олицетворял подлинный голос «нации» и идеал, к которому необразованный народ должен стремиться. Взгляд Тургенева на искусство, общий для всей интеллигенции, представлял собой своего рода секуляризованную, просветительскую веру, опирающуюся на эстетику. Искусство воплощает высшие идеалы народа (a people's highest ideals), его притязания на земное бессмертие. Оно устанавливает культурный уровень, к которому должны стремиться люди; именно в том и состоит роль интеллигенции, возглавляемой своими «избранниками», поэтами, чтобы вести их к этому уровню. Великое искусство — это вечный идеал, оно не делится, как у Толстого, на искусство элиты и ис-

кусство народа (the people); различия между идеалами интеллигенции и простого народа заключаются лишь в уровне образования. Существует только один критерий «культуры», общий для России и Запада.

Роль Пушкина в русской литературе и обществе

Однако при всей своей любви к Пушкину Тургенев не решился в конце своей речи поставить Пушкина в один ряд с величайшими, «всемирными» европейскими национальными поэтами — Шекспиром, Гете, Гомером. Историческая роль Пушкина, отметил он, была колоссальной: «...ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу» (с. 345). Но при всем своем величии, глубочайшей русскости и правдивости своего искусства (которую, по словам Тургенева, его друг Проспер Мериме считал у Пушкина главной отличительной чертой) Пушкин «не мог всего сделать»: он погиб молодым, не реализовав всех своих огромных возможностей.⁴⁰

Признав роль Пушкина как «начинателя», первого в России истинного «поэта-художника» и его право на звание «национального поэта», Тургенев обратился к вопросу о славе Пушкина. Почему «публика» охладела к великому поэту? Причины, утверждал Тургенев, не имели ничего общего с «судом глупца», как выразился Пушкин в сонете «Поэту» (1830), а «лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в политическую. Возникли неожиданные и, при всей неожиданности, законные стремления, небывалые и неотразимые потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать ответа... Не до поэзии, не до художества стало тогда. <...> Искусство, завоевавшее творениями Пушкина право гражданства, несомненность своего существования, язык, им созданный, — стали служить другим началам, столь же необходимым в общественном устройении» (с. 347—348).

Россия, только еще обретавшая литературу, вначале преклонялась перед Пушкиным и вознесла поэзию на пьедестал; затем, после Белинского, Пушкин был оклеветан, а искусство заставили служить узким политическим целям. Но теперь, наконец, ситуация меняется, утверждал Турге-

нев: «...молодежь возвращается к чтению, к изучению Пушкина <...> мы не можем <...> не радоваться этому возврату к поэзии. Мы радуемся ему особенно потому, что наши юноши возвращаются к ней не как раскаявшиеся люди, которые, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись. Мы скорее видим в том возврате симптом хотя некоторого удовлетворения; видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволенным, но и обязательным приносить всё не идущее к делу в жертву, сжимать всю жизнь в одно русло, — что эти некоторые цели признаются достигнутыми, что будущее судит достижение других — и ничто уже не помешает поэзии, главным представителем которой является Пушкин, занять свое законное место среди прочих законных проявлений общественной жизни. Была пора, когда изящная литература служила почти единственным выражением этой жизни; потом наступило время, когда она совсем сошла с арены... Прежняя область была слишком широка; вторая сузилась до ничтожества; найдя свои естественные границы, поэзия упрочится навсегда» (с. 348—349).

Хотя Тургенев отказал Пушкину в ранге «всемирного» поэта, он отметил, что происходящий возврат к поэзии и признание ее законного места в обществе дают надежду скорого появления такого поэта. Обращаясь к будущим читателям Пушкина и как бы в последний раз отвечая Толстому, он, в завершение речи, высказал и другую свою надежду, выразив еще раз свое убеждение в просветительской силе искусства: «как о Шекспире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом — так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит вас, мм. гг.! В поэзии — освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, что в недалеком времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин! — и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: „Это памятник — учителю!“» (с. 349—350).

Речь Тургенева, по его собственным словам, была написана «литератором и образованным человеком <...>

для своих же собратьев». ⁴¹ Он не говорил с аудиторией свысока — снисходя до того, чтобы объяснить Пушкина неграмотным людям или гимназистам, — но обращался к сплоченному братству равных, говоря об их общей любви к великому поэту и искусству. Доверительный тон его речи, адресованной обособленному миру русской литературы, соответствовал его надежде на будущее и его искренним, хотя и сдержанным, заявлениям о русском, но не всемирном, гении Пушкина. Это был тщательно продуманный, изящный, простой и непритязательный панегирик поэту.

Вся речь Тургенева была проникнута глубоким уважением к Пушкину; она была признана серьезным критическим выступлением, однако не удовлетворила общему желанию услышать или убедительную оценку значения поэта, или важное политическое заявление и не стала, как ожидалось, «гвоздем программы». После всех разговоров о «раскрытии карт» славянофилами и либеральными западниками, после эйфории от открытия памятника, восторженного приема, оказанного Тургеневу в университете, и его пренебрежительного обхождения с Катковым сама его речь стала чем-то вроде разрядки. Произнесенная тихим и тонким, невыразительным, по всем свидетельствам, голосом, срывавшимся на фальцет в минуты волнения, речь, как отмечал Ковалевский, была «слишком тонкой и умной, чтобы быть оцененной всеми», и «направлялась более к разуму, нежели к чувству толпы». Страхов отметил, что рассуждения Тургенева о том, на какую ступень ставить Пушкина, и «другое подобное было иным не совсем по душе. В группе деятельных участников торжества пронеслось чувство некоторой неудовлетворенности, нелепой досады». ⁴² Достоевский писал в тот вечер жене, что в своей речи Тургенев «унизил» Пушкина, поскольку в ней пытался отнять у Пушкина звание национального поэта; он просидел без сна почти всю ночь во взволнованном ожидании, обдумывая собственное выступление, назначенное на следующий день. ⁴³ Сам Тургенев в письме к Савиной от 11 июня признавался, что его речь «на публику (. . .) большого впечатления не произвела». ⁴⁴ В конце месяца он вернулся во Францию.

Что вычеркнул из своей речи Тургенев

Публика не знала, что в самой, может быть, важной части своей речи — в оценке текущей политической ситуации — Тургенев сделал существенную купюру. Он поступил так по совету друзей из «Вестника Европы». Написав речь, Тургенев послал ее Стасюлевичу, прося его просмотреть те места, которые собирался исключить из устного варианта, и дав ему «право в случае нужды делать надлежащие поправки. Будьте так добры, засядьте за это вместе с А. Н. Пыпиным — а если бы Анненков к тому времени подъехал — то это было бы совсем чудесно — и такому триумvirату я бы вручил свою голову, не только свое писание».⁴⁵ С момента разрыва с Катковым в конце шестидесятых годов Тургенев печатал свои произведения у Стасюлевича. Вместе с Анненковым и другими сотрудниками «Вестника Европы», такими как Пыпин, они составляли некий определенный литературно-политический блок.

На протяжении предыдущего десятилетия наряду с собственным либерализмом «западнического», ненароднического, так называемого *laissez faire* толка, «Вестник Европы» пропагандировал и взгляды Анненкова — Тургенева на Пушкина. Анненков опубликовал в 1873 и 1874 гг. в журнале биографический очерк «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху», а к Пушкинским торжествам приурочил свою статью «Общественные идеалы А. С. Пушкина».⁴⁶ В течение нескольких месяцев, предшествовавших празднику, журнал печатал воспоминания Анненкова «Замечательное десятилетие» — сочувственное изображение «западников» сороковых годов. Эту публикацию Тургенев считал одной из побед либералов.⁴⁷ В 1878 г. «Вестник Европы» опубликовал подборку писем Пушкина к жене с кратким вступлением Тургенева. Кроме того, журнал выступил в защиту изданного Анненковым в 1855 г. собрания сочинений Пушкина, которое резко критиковал редактор более позднего издания П. А. Ефемов, не признавший огромных заслуг своего предшественника. «Вестник Европы», практически единственный в российской печати, поддержал в 1877 г. «Новь», и именно здесь была напечатана тургеневская речь, посвященная Пушкину.

Таким образом, было вполне естественно, что Тургенев доверил редактировать речь своим друзьям. По их совету Тургенев исключил большой фрагмент, следовавший за утверждением, что «в эпохи народной жизни, носящие названия переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины — идти вперед, несмотря на

трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом» (с. 348). Лавров отмечал, что под этими словами мог бы подписаться любой русский революционер.⁴⁸ Но проникнутые подлинным чувством строки — те, которые были исключены, — выглядели так: «...а дело руководящей власти, власти, понявшей и сознающей те идеалы, — направлять по этому пути людей, останавливать безвозвратные и потому бессмысленные уклонения, сдерживать даже самые правдивые порывы — но и уступать им вовремя, признав их право и пользу. А потому слава нашему правительству, которое с самого начала нынешнего царствования, поняв свою историческую роль и вступив на путь преобразований, тем самым упрочило и поощрило рост России! И хотя в последнее время глубоко прискорбные события настолько замедлили этот поступательный ход, что, казалось, правительство остановилось, как бы в недоумении перед всем всплывшим наружу злом, — но нам отрадно заметить, что именно теперь, в тот момент, когда воздвигается статуя нашего поэта, — почти утраченное доверие правительства возрождается; послышался его призыв к обществу, к тем здоровым силам, без которых немислим никакой живой организм».⁴⁹

Возможно, друзья Тургенева посчитали этот фрагмент слишком откровенно политизированным, слишком прямым и неподходящим для данного случая. Возможно, как полагал Н. В. Измайлов, они не хотели давать такой «аванс» правительству — выражать признательность до реальных реформ.⁵⁰ Это объяснение предполагает, что Тургенев хотел избежать возможности быть политически скомпрометированным в глазах остальной части интеллигенции. Тургенев попал в классический переплет российских умеренных, жаждущих взять на себя политическую ответственность, но притом вынужденных действовать в условиях ограничений и к тому же постоянно доказывать свою политическую благонадежность государству, с одной стороны, и политическую независимость публике — с другой. Хотя даже сейчас, оценивая литературные достоинства речи Тургенева, трудно соотнести ее объективное содержание с ее общественным восприятием, сделанная купюра явно указывает на то, что Тургенев и его друзья намеренно приглушили политическую заостренность речи.

Границы либерализма Тургенева

Хотя надеждам Тургенева на умеренность и стабильность лучше соответствовал приглушенный оптимизм его речи, нежели более резкий политический манифест, умеренность в то время была не в чести, что и продемонстрировал на следующий день успех речи Достоевского. Чрезмерная рассудительность, которую уловили в тоне Тургенева современники, отражала, по-видимому, давнишнюю тревогу о слабой позиции российской словесности и неуверенность в близких успехах либерализма. «Либерализм» Тургенева основывался на ряде предпосылок, которые отнюдь не были бесспорными и могли даже показаться внутренне противоречивыми. Прежде всего либерализм Тургенева зависел от признания свободы слова и права интеллигенции влиять на политическую жизнь России. Эти идеи были подспудно заложены в признании Тургеньевым правомерными изменений в отношении русского общества к Пушкину; ясно они были выражены в том фрагменте, который Тургенев и его друзья сочли нужным исключить. Однако подобная «средняя зона», столь необходимая для многостороннего обсуждения, ни в коем случае не была гарантирована Тургеньеву. Катков и его идеи составляли угрозу самой возможности демократической толерантности. В поляризованном пространстве утверждение плюрализма неизбежно ведет к самоуничтожению альтернативы «или—или», и потому для того, чтобы защитить свободу слова, Тургенев посчитал необходимым отказаться в ней противникам.

Во-вторых, неудачная поездка к Толстому и раздражение, вызванное сознанием того, что он не может написать брошюру «для народа», должны были лишний раз убедить Тургенева в изолированности интеллигенции. В своей речи Тургенев утверждал, что единственный (европоцентристский) идеал для народа являет собою Пушкин и что современное русское общество, как понимают его художники, носители этого идеала, одобряет возвращение к Пушкину, — положения в существе своем авторитарные в общественном, эстетическом и, в конечном счете, в политическом смысле. С тем чтобы защитить свободу слова, Тургенев должен заявить претензии на право говорить за других, во имя будущего культурного и общественного единства.

Пушкинские торжества сильно укрепляли надежды многих современников на классовое «примирение», на сближение интеллигенции и простого народа. И в самом деле,

накануне, возбужденные церемонией открытия памятника, некоторые корреспонденты заявили, что желанный момент действительно уже близок. Они утверждали, что увиденное ими в тот день доказало возможность и даже неизбежность слияния простого народа с интеллигенцией. «Горсточка интеллигенции как бы растворилась в мгновенном прибое народной волны», — писала «Молва». ⁵¹ Многие цитировали пушкинскую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. . .» (два двустушия из этого стихотворения в редакции Жуковского были высечены на постаменте памятника), с тем чтобы объявить, что мечта поэта о всенародном признании, которую Тургенев понимал как задачу будущих поколений, уже стала явью. Журналист, укрывшийся под псевдонимом «Один из публики», заявил, что пушкинский «эффekt», «инстинктивно действующий на массы даже темного народа», дал некоторое представление о величии Пушкина даже без знакомства с его произведениями. ⁵² Такие лирические и мистические заявления естественным образом порождали скептицизм, и один очевидец признавался впоследствии, что он и другие были взволнованы «тысячеголосым „ура“ (. . .) по такому поводу, потому ли, что мы идеализировали его, вкладывая наше собственное чувство в эту многотысячную толпу». ⁵³

Тургенев, однако, хотя и разделял эту мечту, был далек от того, чтобы идеализировать действительность, и в своей речи, утверждая идеал искусства и роль Пушкина как «учителя», признавал, что между его читателями из среды интеллигенции и остальной частью русского народа по-прежнему лежит большое расстояние. Статья, напечатанная в русской эмигрантской газете в Париже после смерти Тургенева, позволяет увидеть связь между его ощущением собственной изолированности от общества и сознанием бессилия либерализма, которые порождали психологический дискомфорт. В статье цитируются его слова: «Мы, т. е. я и мои единомышленники, — честные и искренние либералы и от всей души желаем воцарения в России благоденствия, правды и свободы; мы готовы много работать для достижения этих целей, но все мы, сколько нас ни есть, все хорошие и нескупные люди, не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия, потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества. . . Что делать, надо сознаться, что малодушие присуще нашей натуре». ⁵⁴ Хотя эта статья не может считаться заслуживающим полного доверия источником, ее содержание не противоречит тому, что мы знаем о постоянном пессимистическом отношении Тургенева

к русской политике. Эта цитата относится, вероятно, ко времени после покушения на Александра II, поэтому мы не можем считать ее надежным свидетельством того, какую позицию занимал Тургенев в 1880 г. Тем не менее тот факт, что в конечном итоге Тургенев упустил свой успех на Пушкинских торжествах, может быть, пусть лишь в некоторой степени, объяснен тем, что Тургеневу не хватило внутренней стойкости, отсутствие которой у себя он позднее сам признавал. Рассматриваемое в ретроспективе то, что произошло с Тургеневым на Пушкинских торжествах, напоминает типичную историю тургеневского героя, который после успеха в начале (например, публичный афронт Каткову) терпит позорное поражение из-за неспособности к решительным действиям и, отесненный на задний план более грубым, но энергичным соперником (например, Достоевским), тихо исчезает из поля зрения.

Критика Михайловским Тургенева и либерализма

Хотя речь Тургенева была признана важным программным выступлением на торжествах, посвященным оценке Пушкина, она не привлекла большого внимания прессы, главным образом потому, что газеты были увлечены откликами на апокалиптические заявления Достоевского. Наиболее серьезная критика была высказана в «Отечественных записках» Салтыкова-Щедрина, где Н. К. Михайловский представил замечательный политический анализ Пушкинских торжеств и высказал свое мнение об идеологическом кризисе, в котором находились в то время народники, стоявшие перед выбором между либерализмом и террором. Как и Толстой, Михайловский с подозрительностью относился к общественному мнению, которое не представляло простой народ. Но вместе с тем он был заинтригован возможностью еще одной политической перегруппировки, которую, судя по всему, предвещал праздник.

С самого начала Салтыков был скептически настроен по отношению к Пушкинским торжествам. Действительно, сама мысль о чествовании Пушкина приводила в замешательство легальных радикалов, признававших только то искусство, которое непосредственно служило целям общественного прогресса, и вынужденных заглаживать яростные нападки радикалов на Пушкина в 1860-х годах. Наследник Некрасовского «Современника», закрытого прави-

тельством в 1866 г., журнал «Отечественные записки» продолжил традиции шестидесятих годов. Писатели-народники, как Г. И. Успенский и Н. Н. Златовратский, публиковавшие свои рассказы и очерки в «Отечественных записках», намеренно жертвовали художественным мастерством в пользу социологического анализа, что придавало их произведениям актуальность, но делало их слабыми в художественном отношении. Точно так же и Михайловский, знаменитый критик и соредактор этого журнала, в своих статьях отдавал предпочтение идеологическому аспекту в ущерб художественному.

Салтыков, который в это время был тяжело болен, а возможно, и не хотел присутствовать на торжествах, попросил сначала Успенского поехать в Москву на праздник в качестве корреспондента и представлять журнал вместе с соредактором «Отечественных записок» Г. З. Елисеевым. Отказавшись быть официальным делегатом, Успенский согласился «наблюдать, описывать» торжества.⁵⁵ Его «письма из Москвы» о празднике, опубликованные в июньском номере журнала «Отечественные записки», содержали откровенно скептическую оценку состоявшегося в Москве события, но Салтыков считал ее все же слишком положительной — особенно в части, касающейся речей Тургенева и Достоевского. Следующая статья Успенского, в которой зло высмеивался Достоевский, также не удовлетворила Салтыкова. Успенский жаловался в письме М. И. Петрункевич, что Салтыков не хотел, чтобы он продолжал свои статьи о празднике, назвав «торжество <...> не Пушкинским, а Тургенева и Достоевского, которых он ненавидит».⁵⁶ В свою очередь Салтыков писал Михайловскому, жалуясь, что «Усп(енский) не додумался до того, что и Дост(оевский) и Тург(енев) надувают публику и эскамотируют <от франц. escamoteg — ловко подменить. — М. Л.> Пушкинский праздник в свою пользу». Он просил Михайловского самому познакомиться с их речами и откликнуться на них в июльском номере.⁵⁷

С начала политического кризиса на исходе 1870-х годов Михайловский занимал ключевую позицию между лагерями умеренных либералов и радикальных революционеров. Фактически он был единственным человеком, «достаточно авторитетным среди легальных и нелегальных публицистов, чтобы служить мостом между реформистами и революционерами».⁵⁸ Это была позиция, аналогичная позиции Тургенева, хотя и гораздо левее. Михайловский перешагнул барьер между легальной и подпольной прессой, сотрудничая в обеих. Во время волны покушений, последовавшей

за знаменитым судебным процессом террористки В. И. Засулич в апреле 1878 г., Михайловский принял активное участие в полемике о том, какой курс должно избрать революционное движение. После процесса Засулич он написал и нелегально опубликовал памфлет, в котором призывал царское правительство подчиниться общественному мнению, приняв конституцию и созвав земский собор. В следующем году он вступил в полемику с «Исполнительным комитетом» вновь образованной революционной организации «Земля и воля» на страницах ее же подпольного журнала. В то время как руководители движения исповедовали романтическую, анархистскую веру в эффективность терроризма, Михайловский выступал за принятие конкретной политической программы, что многие радикалы считали отступлением от народнических идеалов и даже их предательством.⁵⁹ Однако ни Салтыков, ни Михайловский не считали политический кризис февраля законченным, и обоих все более раздражал Лорис-Меликов, внушавший им подозрения. В подпольной публикации 1 июня Михайловский обличал двуличную тактику Лорис-Меликова, состоявшую, с одной стороны, в щедрых обещаниях реформ, а с другой — в совершенствовании методов подавления оппозиции.⁶⁰ Недоверие Салтыкова к политике Лорис-Меликова, которую он называл «мудростью истинного змия библейского», основывалось на его недоверии к либералам. Он испытывал тревогу по поводу того, как бы сотрудничество либералов с Лорис-Меликовым не привело к тому, что все оппозиционное движение окажется подорванным, ничего не достигнув, а радикальные легальные журналы типа «Отечественных записок» будут задушены.⁶¹

В то время как большинство критиков сочли недостатком речи Тургенева ее умеренность и сдержанность, Михайловский нашел ее излишне оптимистичной. В своей статье о Пушкинских торжествах, напечатанной в июле, Михайловский оспорил чрезмерно положительную, с его точки зрения, оценку Тургеневым тогдашнего состояния России. Считая тургеневское выступление на празднике самым здоровым и искренним, Михайловский не соглашался с центральным, как ему представлялось, тезисом речи — мыслью о якобы наблюдаемом «возвращении к Пушкину». Он привел отрывок из речи (не полностью цитируемый выше), где Тургенев говорил о частичном удовлетворении политических требований общества и его одновременном возврате к поэзии. Михайловский опровергал оба утверждения. «Наступила, кажется, пора полного равнодушия»

к Пушкину, настаивал он: «Так было, по крайней мере, до пушкинского праздника. Не знаю, как будет дальше. Много и шибко жило за последнее время наше отечество, но ни герцеговинское восстание, ни турецкая война, ни политические процессы, ни процессы разных червонных и других мастей валетов, словом, ни одно из событий, волновавших за последние годы русское общество, не напоминало и не могло напоминать Пушкина. <...> удовлетворены что ли „небывалые и неотразимые потребности“? жизнь из политической эпохи перешла опять в литературную или обе эти сферы как-нибудь сопряглись в высшем единстве всесторонней, гармонической полноты? Должно быть, нечто подобное случилось, если, в самом деле, опять объявился, по словам г. Тургенева, запрос на „поэта центрального, положительного, как жизнь на покое“». Но г. Тургенев не хуже меня, не хуже каждого, имеющего очи видеть и уши слышать, знает, что наша эпоха политическая по преимуществу, даже слишком односторонне-политическая, что жизнь наша течет тревожнее, чем когда-нибудь». ⁶²

Михайловский оценивал утверждения Тургенева как сугубо личное мнение, не соответствующее действительности. Он предположил, что громкие оvationи, которыми наградили Тургенева в 1879 г., возможно, ввели романиста в заблуждение относительно того, что российское общество «вернулось» к искусству. Но в 1879 г. Тургенев, видимо, понимал, что оказанный ему тогда прием был лишь удобной возможностью для русских, «которые годами и годами ждут случая публично, шумно и свободно заявить о своем существовании». То же, по мнению Михайловского, произошло и на Пушкинских торжествах. Однако теперь Тургенев, судя по всему, принял временный восторг неискрушенной «толпы» за изменения в литературной — и политической — жизни. «Пушкин, — писал Михайловский, — тут был предлог, символ, прикрытие, всё, что хотите, но только не непосредственный герой торжества»: «люди, постоянно вращающиеся в сфере мысли и общественных дел, естественно должны либо сами выработать себе стоящее шума дело, либо пристроиться к какому-нибудь готовому». ⁶³ Парадоксальным образом Михайловский критиковал Тургенева и либералов за попытку сделать с Пушкинскими торжествами в сущности то же самое, что пытались сделать с Пушкиным, только наоборот, радикальные литературные критики в шестидесятых годах.

Народничество против либерализма

Суть проблемы заключалась в новой роли, которая предназначалась для интеллигенции. В то время как «мыслящие люди» шестидесятых годов (т. е. радикалы), которых Тургенев упомянул в своей речи, верили в то, что правильный путь России может определить малочисленная элита, народники отказывались от этой роли ради служения народу. Однако Михайловский не находил (по крайней мере, на Пушкинских торжествах) признаков того, что образованная часть русского общества была в состоянии взять на себя роль подлинного руководителя, как заявляли в печати Тургенев и многие другие.

Переиздание Достоевским своей Пушкинской речи в августовском выпуске «Дневника писателя» заставило критиков вновь обратиться к этой проблеме. Примечательно, как Михайловский объяснял, почему народническая интеллигенция отвергала тот тип власти, который требовали для себя либералы. Народники полагали, что «свобода великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу. <...> свобода, как безусловный принцип, плохой руководитель <...> полная экономическая свобода есть, в сущности, только разнузданность крупных экономических сил и фактическое рабство сил малых. <...> Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы <народники.— М. Л.> готовы были не помогать никаким прав для себя; не привилегий только, об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов того, что в старину называлось естественным правом. Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким медом и лично претерпевать всякие невзгоды». ⁶⁴

Михайловский, как и народники, понимал, что экономическая свобода (т. е. капитализм) означала «разнузданность крупных экономических сил и фактическое рабство сил малых» и что ее противовес, политическая свобода (т. е. парламентаризм) была бы «бессильна изменить взаимные отношения» этих сил, хотя могла бы их обнаружить и обострить. Народники, продолжал он, отвергали европейскую парламентскую демократию во имя «лучшего, высшего порядка», который служил бы народу и не пренебрегал бы им в интересах буржуазии. Но неконтролируемый рост капитализма в сельском хозяйстве поколебал романтическую веру народников в общину, а их прямые столкновения с устоявшейся системой власти на селе

развевали их наивную веру в политические перемены. Народники допускали, говорил Михайловский, что «некоторые элементы наличных порядков, сильные либо властью, либо своей многочисленностью, возьмут на себя почин продолжения этого пути» к лучшему устройству. Михайловский далеко не был уверен в том, что даже правительство способно изменить расстановку сил на селе. Горький опыт заставлял предполагать, что даже центральное правительство не было достаточно сильным, чтобы разрушить союз кулаков и местных властей. Требовались какие-то новые политические шаги, чтобы выйти из этого тупика.

Михайловский предупреждал, что наивная надежда на улучшения, какую питали народники, таяла «можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цели, но вырабатывая новые средства». ⁶⁵ Михайловский предупреждал правительство, что время на исходе, но и уговаривал революционеров принять чисто политическую программу. Романтическое, альтруистическое народничество начала семидесятых годов теперь выглядело уже наивным, неспособным решать российские проблемы и в конечном счете обреченным на самоуничтожение.

Народничество Михайловского постепенно перерастало в либерализм, эту перемену ясно и открыто провозглашали некоторые бывшие народники. Например, один из ее сторонников утверждал: «Мы, народники, мы, последовательные общинники, мы, которых преимущественно зовут народолюбцами, — мы заявляем, что прежде „народного вопроса“ должен быть разрешен „вопрос интеллигенции“: вопрос об элементарнейших правах умственного и образовательного ценза. Только свободная интеллигенция, во всеоружии своих прав и свободной мысли, может слить свои интересы с интересами народа и смело и плодотворно взяться за решение задач, логически-неизбежно назревших для нашего поколения. „Народный вопрос“ был и есть у нас „вопрос интеллигенции“. В этом вся суть. Обойти это положение невозможно. Только свобода и признание прав интеллигенции могут быть гарантией быстрого и плодотворного решения „народного вопроса“». ⁶⁶

Однако застарелая нелюбовь Михайловского к либерализму и его хроническое недоверие к интеллигенции не позволяли ему открыто отказаться от народничества. Но при всех своих явных недостатках парламентская реформа (или, по крайней мере, обеспечение верховенства закона) представлялась лучшим способом передачи власти силам,

которые смогли бы защищать повседневные интересы народа. Михайловский пришел к следующему выводу: «Если мы в самом деле находимся накануне новой эры, то нужен прежде всего свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий. Какие это будут гарантии — европейские, африканские, „что Литва, что Русь ли“ — не все ли это равно, лишь бы они были гарантиями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшает, если народу от нее будет ни тепло, ни холодно...»⁶⁷ Народническая мечта, доказывал Михайловский, не может выжить без политической системы, гарантирующей «личную неприкосновенность». Несмотря на то что Михайловскому было явно неловко говорить о «европейских, африканских, литовских» либеральных реформах, его позиция совпадала с позицией «Голоса», который также настаивал на том, что «основа либерализма есть уважение к человеческой личности; во имя этого всякая истинно либеральная партия стремится добыть для личности обеспечение разумной свободы».⁶⁸

«Сплошной перманентный пушкинский праздник?»

Успех Пушкинского праздника, который либеральная пресса хотела использовать как аргумент в борьбе за конституционную реформу, вызвал у Михайловского противоречивые чувства. Как и Салтыков, он унаследовал от радикалов шестидесятых годов и от народников сильное отвращение к интеллектуализму и связывал надежды на будущее не с интеллигенцией, а в первую очередь с либералами в правительстве и земствах, у кого также надеялся получить поддержку и царь. Хотя Михайловский находил газетные отчеты о торжествах претенциозными, лицемерными и вздорными, он признавался, что «частица <его> души была там, в Москве». Значение праздника, по его мнению, было искусственно раздуто вследствие отсутствия у русских людей опыта проведения общественных мероприятий. Он писал, что «нечего удивляться, если свободный, публичный шум имеет для нас преувеличенную прелесть, если ему предаются, так сказать, зря, преимущественно ради него самого и в случаях, не совсем подходящих. На пушкинском празднике публика, естественно, ожидала услышать нечто такое, чего она не может услы-

шать в других местах, то есть в печати <...> А чего именно нельзя услышать в печати, об чем именно „даже вполголоса мы не певали“ — это всем очень хорошо известно». ⁶⁹ Тем не менее Пушкинские торжества и в самом деле могли бы убедить правительство в «неправильности политики подавления мысли и слова, что направляло фанатиков, жаждущих свободы, неверным путем». Опасения, что свобода печати приведет к перевороту и к террору, оказались необоснованными. Именно это продемонстрировали Пушкинские торжества: «Узда, очевидно, ослабла, а литература в огромном большинстве только „благодарит, приемлет и ни мало вопреки глаголет“, обнаруживая в этом направлении, может быть, даже излишнее усердие».

При всей умеренности оценок Михайловского, он все-таки явно сочувствовал долго сдерживаемым желанием «толпы». Он признал шаг Каткова к примирению важным — пусть даже лживым и лицемерным, — поскольку он продемонстрировал слабость консерваторов. «Мне кажется, он <Катков. — М. Л.> и г. Достоевский думают, что не сегодня-завтра опять и опять повторится нечто подобное пушкинскому празднику, что наступит, пожалуй, сплошной перманентный пушкинский праздник, а потому надлежит забежать перед событиями и заранее раздать всем сестрам по серьгам». Даже этими признаками улучшения политического климата Пушкинские торжества доставили Михайловскому «некоторое удовлетворение». Но точно так, как он выговаривал Тургеневу за то, что тот принял желаемое за действительное, он посчитал необходимым напоследок предупредить читателей, чтобы они не думали, что он отягощен «излишним оптимизмом»: «Нет, я знаю, что завтра же погода может перемениться, но при данных, нынешних обстоятельствах и Катков и Достоевский, может быть, и не заблуждаются. Тем временем мы помаленьку привыкнем выражать свои чувства, выбирать предметы честования и вражды, научимся различать фальшивые и настоящие драгоценности, а потом — *vogue la galère!*» ⁷⁰

ДОСТОЕВСКИЙ «ЭСКАМОТИРУЕТ» ПРАЗДНИК

Возбуждение, вызванное праздником с первых же часов, было внезапным и непредсказуемым, но реакция на речь Достоевского, произнесенную в третий, последний день, превзошла все, что можно было предвидеть в самых смелых ожиданиях. Принимая во внимание «либеральный» политический подтекст, который многие усматривали в торжествах, эта речь и ее успех выглядели поразительной аномалией. Заявляя о всемирном гении Пушкина и его мессианской роли (разительный контраст с гораздо более умеренной оценкой Тургенева), Достоевский призвал интеллигенцию не к утверждению ее прав, а к самоотречению и самоуничижению. Достоевский изменил доминанту праздника, поставив его на голову, и оставил своим идеологическим оппонентам и историкам размышлять о том, что означала его речь и почему она произвела такое ошеломляющее впечатление на тех, кто ее слышал.

4

«Святая неделя» российской интеллигенции

Речь Достоевского довела до высшего накала возбуждение, нараставшее с самого начала праздника. Фельетонист «Недели» отмечал в начале июля, что, читая задним числом многие невыразительные речи и многословные корреспонденции о празднике в печати, человек, не присутствовавший на торжествах, мог бы сделать вывод, что все в Москве просто сошли с ума: «Оно, пожалуй, так и было, только я не прочь бы еще хоть раз в жизни сойти так

с ума. <...> Пушкинский праздник явился у нас единственным моментом, когда интеллигенция могла сказать, что „сегодня на ее улице праздник“, и посмотрите, с каким увлечением она его отпраздновала!»¹ «Голос» лирически писал: «Где краски, где слова, чтоб передать это упоение торжественною минутой? Кто не видал ее, тот не видал народа в лучшие моменты его духовного просветления <...> Четыре дня ликований промелькнули, как сон <...> Точно лучи какие-то светили все время над Москвою <...> очаровательное царство света и радостей <...> речи талантливых ораторов, в каком-то экстазическом настроении витавших пред нами все эти дни в высших и чистейших сферах человеческой мысли <...> все эти вдохновенные гимны родной стране, эти полные слез глаза, эти восторги толпы, это счастье внутреннего духовного блаженства, пережитого каждым из нас, настраивали душу и мысль на самые возвышенные мотивы».² Михневич отмечал, что все было «как в калейдоскопе... Душевный аппарат едва успевал схватывать их и фотографировать... Нервная восприимчивость была доведена до крайней степени напряжения... Мы жили всюю, жили всеми фибрами своего внутреннего „я“ и изжили в эти несколько дней столько всякого добра, сколько в иное время не изживешь за целый год!»³

Многие очевидцы говорили, что происшедшее не поддавалось описанию, поскольку, как отмечала в передовой статье «Петербургская газета», «бывают состояния, когда испытываемые чувства не передаются никакими словами».⁴ Моменты энтузиазма, такие как на открытии памятника, писал «Русский курьер», «не поддаются описанию».⁵ «Неделя» называла торжество «днями волшебной-поэтической сказки»,⁶ другие газеты — «днями священного экстаза», московскими „красными днями“⁷ и «„святой неделей“ российской интеллигенции».⁸ И церемония открытия «бронзового лика» Пушкина (слово «лик» употребляется применительно к иконам), и сопутствовавшее ей небывалое возбуждение наводят на мысль, что торжества заделали самые сокровенные, глубоко скрытые струны культурного сознания, родственные тем, которые приходят в действие на Пасху, являющуюся главным русским религиозным праздником. Некоторые из числа тех, кто изначально был весьма критически настроен по отношению к торжествам, попытались нечто вроде своеобразного обращения в веру, духовного перерождения. «Неделя», чей корреспондент признался, что ехал на праздник «в самом кислом расположении духа», чувствуя, как будто его «тащили туда на-

сильно», описывала «удивительный эффект», который торжества оказали на их участников: «Так сильно это торжество, по своему характеру и значению, отвечало настоятельно-жгучей, глубоко-таившейся потребности русского общества, живущим среди его в настоящую минуту стремлениям, — тому настроению, которое владеет им и ищет себе исхода. Эта несмолкающая, рвущаяся наружу потребность — есть потребность дружного действия ради общей цели, ради того, чтобы общественные силы, дремлющие и немые, получили наконец возможность проявляться на благо страны». ⁹ «Казуистика не могла сделать того, что сделал гений», — отмечал И. А. Баталин, редактор «Петербургской газеты», описывая события в Страстном монастыре 6 июня. — «Цвет русской интеллигенции, цвет отечественной литературы и общественности — все, как один человек, словно по инстинкту преклонили головы и осенили себя крестом. Ежели бы в храме присутствовал сам Вольтер, то и он проникнулся бы благовейным чувством религиозности». ¹⁰

Своим религиозным «подтекстом» праздник довел до огромных, даже апокалиптических масштабов существовавшие надежды на радикальные изменения в российской жизни. Историк литературы Алексей Н. Веселовский заявил, что с Пушкиным русская литература действительно стала частью европейской культуры. «Точно упали какие-то преграды — и пропасть солнечного света, жизни, при воля ворвалось под темные своды, откуда тянуло только сыростью подземелья». ¹¹ «Молва» сравнивала открытие памятника с «благодатною росой, с живительным лучом солнца, с наплывом свежих струй воздуха» в застойную Россию. ¹² Корреспондент «Современных известий» «Аде» с восторгом отмечал, что день открытия памятника был «великий, дорогой день! Фундаментом ляжет он, Бог даст, для иной жизни, иных отношений, иных верований. . .» ¹³

В своей речи Достоевский, находившийся в зените славы, которую принесли ему печатавшиеся в течение последних полутора лет «Братья Карамазовы», открыл заманчивые перспективы этой «новой жизни» и довел нараставшую праздничную эйфорию до кульминации. Хотя в начале торжеств героем дня был Тургенев, но лишь после выступления Достоевского, как писал его бывший сотрудник Н. Н. Страхов, «казалось, будто сказано было наконец-то слово, которого с нетерпением ожидали целые три дня, слово, достойное памяти Пушкина и отвечающее на тот восторг, которым все были переполнены». ¹⁴

Триумф Достоевского

На втором утреннем заседании ОЛРС 8 июня Достоевский стал верховным жрецом «святых дней» интеллигенции. Выступление Достоевского следовало за бесцветной сентиментальной речью секретаря общества Н. А. Чаева. Михневич писал, что Достоевский выглядел «маленьким» человеком, казавшимся «больным, дряблым и слабеньким», но в то же время производил «впечатление какого-то средневекового вдохновенного аскета-проповедника, непременно фанатика, в роли типичного Петра-пустынника <...> готового <тень Великого инквизитора! — М. Л.> за свою идею пойти на костер, а при случае посадить на него и противника, даже если он — родной брат». ¹⁵ Когда Достоевский кончил говорить, беснование в зале намного превосходило даже то, что он сам изображал в своих романах. Вот как описывал это сам Достоевский в письме к жене, написанном в тот же вечер: «Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она <речь. — М. Л.>! Что петербургские успехи мои! ничто, *нуль*, сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать, — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (все от „Карамазовых“!). Наконец, я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!) Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: „Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!“ „Пророк, пророк!“ — кричали в толпе.

Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. „Вы гений, вы более чем гений!“ — говорили они мне оба». ¹⁶

Как сообщал Василевский, «торжество это превзошло все обыкновенные границы. Оно было лихорадкой, горячкой, упоением, взрывом <...> У экзальтированного собрания не хватало средств, чтобы выразить свой восторг, и оно просто металось по зале. <...> Жар и блеск ее <речи. — М. Л.> жег и ослеплял. <...> Когда Достоевский кончил, вся зала духовно была у ног его. Он победил, растрогал, увлек, примирил. <...> У мужчин были слезы на глазах, дамы рыдали от волнения, стон и гром оглашали воздух <...> какой-то молодой человек из слушателей при последних словах Достоевского стремительно ринулся из залы, выбежал в боковую комнату и там упал в обморок. Человеческое слово не может претендовать на большую силу». ¹⁷

Другой корреспондент сообщал, что «когда Достоевский кончил, в зале раздался уже не шум и гам, а какой-то сплошной вопль; <...> все повскакивали с своих мест и бросились к эстраде, где члены „Общества“ жали руки Достоевскому и наперерыв целовали его; <...> одна дама упала в обморок, а с каким-то молодым человеком сделалась истерика». ¹⁸ Достоевского отвели в боковую комнату, чтобы избежать столпотворения, но к сцене ринулось еще большее количество людей, которым показалось, что с писателем случился эпилептический припадок и он вот-вот скончается. ¹⁹ Когда все немного успокоились, И. С. Аксаков, который должен был выступать следующим, сказал: «Я не могу говорить после речи Федора Михайловича Достоевского; все, что я написал, есть только слабая вариация на некоторые темы этой *гениальной* речи. Я считаю речь Федора Михайловича Достоевского *событием* в нашей литературе <...>

Еще вчера могло казаться вопросом — народный ли поэт Пушкин или нет: еще вчера здесь выражалось сомнение, можно ли дать ему имя национального поэта; теперь, слава Богу, вопрос этот упразднен, решен окончательно, и собравшиеся здесь, какого бы образа мысли и какого бы направления они ни были <...> все должны единодушно признать Пушкина национальным поэтом. Пророческие слова Ф. М. Достоевского, как молния, разрезали волны тумана и разрешили пререкания и сомнения, — больше об этом говорить нечего! ..» ²⁰

И опять взрыв в зале. Поднялся Юрьев и объявил, что Достоевский единогласно избран «почетным членом» ОЛРС (как и Тургенев в 1879 г.). Волнение в зале не утихло, и заседание на некоторое время было прервано; рассматривалось предложение сейчас же закрыть собрание. Наконец Достоевский и другие убедили Аксакова выступить. Вслед за ним говорили Анненков, Калачев и Барте-нев, но их речи уже не могли вызвать интереса. Затем Потехин предложил начать подписку на памятник Гоголю, и были немедленно получены обещания на четыре тысячи рублей.²¹ Когда заседание окончилось, группа молодых женщин «ворвалась на эстраду» и увенчала Достоевского огромным лавровым венком с надписью: «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!».²² Одна из них, по свидетельству очевидца, столкнулась с Тургеневым и, отпихнув его, воскликнула язвительно: «Не для вас, не для вас!»

Возбуждение передалось и вечернему литературно-музыкальному концерту, которым завершалась программа торжеств. Успех Достоевского превзошел успех Тургенева; его вызывали несколько раз, и на бис он дважды прочитал наизусть стихотворение Пушкина «Пророк». Вечер вновь закончился «апофеозом» Пушкина, только на этот раз Тургенев уступил Достоевскому честь увенчать бюст.²³

Несколько дней после выступления Достоевского его критики пытались объяснить и оправдать его успех. Некоторые, например Салтыков, считали, что Достоевский «надул» публику и «эскамотировал» Пушкинский праздник. Тургенев, вначале тронутый словами Достоевского о примирении и охваченный общим энтузиазмом на заседании, чувствовал себя уязвленным сообщениями газет о том, что он «совершенно покорился речи Достоевского». ²⁴ Он приписывал успех Достоевского его угодливому обращению к русской национальной гордости и даже думал написать опровержение. То, что привело слушателей в истерический восторг 8 июня, потеряло, как заметил один современник, девять десятых своей привлекательности при изложении на бумаге: «Там было только увлечение, увлечение, увлечение!»

Обращение Достоевского к интеллигенции

«Человеческое слово не может претендовать на большую силу». Как бы мы ни относились к идеям Достоевского, его пушкинская речь остается блестящим образцом

риторики, рассчитанным на то, чтобы обезоружить, победить и покорить слушателей.²⁵ Достоевский начал речь известными словами Гоголя о том, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», и продолжал: «Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося <...> и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом смысле Пушкин есть пророчество и указание» (136—137). Пушкин — пророк *для всех нас, русских*. В отличие от Тургенева, сделавшего формальное, публичное заявление об уважении к Пушкину и произнесшего нечто вроде извинений за пренебрежение к поэту общества, Достоевский искал в произведениях Пушкина открытие русского характера и судьбы, подходил к ним как к тексту, внутренний, сокровенный смысл которого он объяснял своим слушателям. Если Тургенев писал свою речь как «литератор и культурный человек <...> своим же братьям», то Достоевский обращался к нравственному чувству аудитории как проповедник. Его аргументы захватили слушателей, заставив их согласиться с его позицией и разделить его чувство. Достоевский говорил языком, понятным его аудитории, используя общепринятые категории и терминологию критиков-публицистов. Вслед за И. В. Киреевским и последующими критиками, он разделил творчество поэта на три периода и показал, как в общественных «типах», выведенных в его произведениях, Пушкин «схватил и отметил» «главную болезнь» русской интеллигенции. Следуя традициям русской критики, трактовавшей литературные тексты как «ответы» на важнейшие вопросы культурной и общественной жизни, Достоевский мастерски интерпретировал литературную деятельность Пушкина и судьбы его героев как аллгорию борьбы России с враждебными силами Запада, ее отрицания байронического эгоизма и утверждения национального «положительного героя».

Согласно Достоевскому, в таком «типе», как Алеко, Пушкин уже в первый период своего творчества «отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. <...> Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше

время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского—интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного» (137).

Анализируя образ Алеко, Достоевский ставит диагноз болезни несчастного русского интеллигента, а шире — и своих слушателей, тоже несчастных русских интеллигентов. Но вместо фронтального нападения на интеллигенцию Достоевский, заручившись сначала сочувствием слушателей, заставляет их участвовать в своего рода коллективном самоанализе. Он объясняет им мотивы и логику их поведения, привлекая для иллюстрации образы известных героев и героинь Пушкина. Отождествив слушателей с литературными персонажами, он может перейти к анализу их нравственных проблем и логических ошибок. Алеко и его потомки ищут Правду, но «в чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно». Подразумевается, что Правда «„где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью“». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого» (138). Пушкин дал ответ на «проклятый вопрос» русской интеллигенции: «„Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве“, вот это решение по народной правде и народному разуму» (139). Достоевский представил знакомый материал в новом свете, а тем, что апеллировал к нравственному чувству своей аудитории, недвусмысленно отверг предшествующие толкования Белинского и других критиков-публицистов. Он показал трагическое бессилие Алеко, Онегина и романтических мятежников против общества и объявил Татьяну, в которой Белинский увидел и осудил «нравственный эмбрион» и рабыню социальных условий, олицетворением «положительной нравственной красоты» космического масштаба и символом надежды на будущее России.

Риторика парадокса

На протяжении всей своей речи Достоевский пользуется одним и тем же приемом, чтобы обезоружить тех, кого он хотел бы обратить в свою веру и дать им увидеть его идеал «положительной нравственной красоты». Его *modus operandi* становится очевидным в самом конце речи, когда он обосновывает свои надежды на великую миссию России:

«Главное, всё это покажется самонадеянным: „Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?“ Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „в рабском виде исходил, благословляя“, Христос.²⁶ Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться» (148).

Достоевский предвидит возражения со стороны своих оппонентов и даже снабжает их аргументами (да, Россия экономически отсталая страна). Но затем, однако, он обращает слабость в силу и опровергает возражения, переводя их в другую систему координат (сама отсталость России указывает на ее мессианскую роль).

«По крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина <...> с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться». Для Достоевского Пушкин представляет собой единственное доказательство его идей. Авторитет Пушкина неколебим, хотя все остальное можно оспорить — возможно, как подразумевает, кажется, Достоевский, даже миссию Христа! Достоевский объявляет Пушкина национальным поэтом России, более того — единственным величайшим «всемирным» или «мировым» гением. В то время как Тургенев колебался, можно ли при-

числить Пушкина к элите гениев всемирного масштаба, Достоевский утверждал, что «всецело русская» (131) способность Пушкина перевоплощаться, нечто «неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого» (145), ставит его выше Шекспира, Гете, Гомера и Шиллера. По мнению Достоевского, Пушкин способен воссоздать в своих произведениях суть других наций. Он «перевоплощается» «в чужую национальность», «в дух чужих народов» (146): когда пишет сцену из «Фауста» — в немца, в «Дон Гуане» — в испанца, в «Пире во время чумы» — в англичанина, в «Подражаниях Корану» — в мусульманина, в «Египетских ночах» — в человека древнего мира. В этой способности Пушкина перевоплощаться выразилось «великое грядущее назначение» (147) России в Европе. Этот удивительный, пророческий дар, выходящий за рамки простой «отзывчивости» и демонстрирующий «стремление (. . .) ко всемирности и ко всечеловечности», «к воссоединению людей» (147), обещает спасение Европе на краю катастрофы и объединение всего человечества. России выпало (делает вывод Достоевский) «изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного соглашения всех племен по Христову евангельскому закону!» (148).

Своеобразие восприятия Достоевским Пушкина заключается в смелой, окончательной переоценке ценностей.²⁷ В этом отношении аргументация Достоевского близко соответствует определению Аристотелем «риторики» как «доказательства противоположного». «Подражательство» и отсутствие национальной идентичности, что для русских было болезненным вопросом с начала века, предстает сутью величия России. В своей монографии о националистическом мессианстве начала девятнадцатого века американский историк Мартин Малиа указал исторические условия, способствовавшие подобным всеобъемлющим переоценкам. Испытывая горькое чувство подавленной национальной гордости, порожденное в наполеоновскую эпоху, разочарованные националисты выдвигали, в противовес сознанию своей неполноценности, психологически успокоительные, пусть даже утопические теории, к числу которых Малиа относит и славянофильство. «То, чего больше всего не хватало в национальном бытии, признавалось несущественным, или же его отсутствие считалось благом, а имевшиеся в действительности положительные достижения возводились в ранг первейших жизненных принципов».²⁸ Хотя к 1880 г. национальная гордость русского народа уже была в большой мере удовлетворена, те же самые побужде-

ния, как ясно видно, руководствовались Достоевским, и его апология Пушкина была, по всей очевидности, попыткой утвердить представление о России, сложившееся в национальном сознании.²⁹

То, что политологам и историкам может показаться просто психологическим явлением, имеет, однако, под собою освященную веками традицию православного идеала «кенозиса», который требует верить, смиряться и самоуничтожаться перед лицом несчастий и опасности нравственного падения, превращая страдание в средство обретения божией благодати. Для Достоевского (как и для других современных ему писателей — апологетов православия, например Н. С. Лескова) российская нищета и отсталость были теми условиями, которые помогали сохранять в чистоте идеал христианства, искаженный в других странах, и знаменовали собою особое предназначение, уготованное Всевышним этому народу.³⁰

Соединение Достоевским мессианства и эстетики

Мессианизм Достоевского приводил в недоумение многих его читателей и толкователей, внушая им опасение. Многие и сейчас согласились бы с мнением одного раздраженного критика, писавшего в радикальном журнале «Дело» в 1880 г., что «в этом непроглядном, полумистическом, полупророческом и чревовещательском тумане ничего не разберешь; никакая логика и никакой здравый смысл неприменимы к этой литературной кабаллистике». ³¹ Хотя в то же время даже самые враждебно настроенные критики признавали, что пушкинская речь Достоевского (по словам И. И. Замотина) была «открытым провозглашением своих заветных дум», впервые представленных писателем целиком, «в сжатой и простой общей формуле». ³²

Ключ к мессианизму Достоевского следует искать в его особом понимании Пушкина, который, как мы уже видели, использовался в качестве неопровержимого «доказательства» этого мессианизма. Взгляд Достоевского на Пушкина частично сложился, без сомнения, под влиянием более ранних оценок поэта в русской критике. Представление о Пушкине как о Прометее или Протее, сложившееся в русской критике, вероятно, под воздействием романтической поэзии, было общераспространенным при его жизни, и, возможно, на его основе возникло понятие об

особом и «чудном сочувствии» Пушкина (по выражению С. П. Шевырева в 1841 г.) «со всеми гениями Поэзии всемирной». ³³ Спустя несколько лет Белинский, сославшись на lamentации славянофилов о том, что русские за границей теряют свое национальное лицо, признал типично русской чертой, характерной и для Пушкина, легко «применяться ко всякому народу», но доказывал, что это замечательная гибкость, а отнюдь не недостаток. ³⁴ Подобную же мысль выразил и Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Вера Гоголя в мессианскую, преобразующую силу искусства была поразительно близка к убеждениям Достоевского. ³⁵ Защищая «христианское» искусство и утверждая, что Пушкин был христианским поэтом, Гоголь рассуждал о Пушкине языком и аргументами романтиков, а Достоевский контаминировал клише романтической критики с собственным пониманием православия. ³⁶

Основополагающим представлением, которое Достоевский разделял с этими критиками (от Гоголя до раннего Белинского и Аполлона Григорьева), была вера в то, что искусство, а не разум сам по себе владеет ключом к постижению истины: эстетика становится основным предметом философских и этических исканий. Следуя традиции немецкой «органической» эстетики, нашедшей самое яркое выражение у Шеллинга, эти критики подчеркивали значение эстетической интуиции художника — преимущественно перед осознанной логикой философа — как основного пути к истине. Только произведения вдохновенного поэта-художника, сочетающего интуитивное видение мира с рассудочностью, позволяют проникнуть в суть действительности. Философ начинает играть роль литературного критика, который может вскрыть смысл художественного творения (и действительности), лишь пытаясь воспроизвести интуитивную логику художника. ³⁷

Достоевский перенес «органическую» концепцию эстетического познания в специфически «православную» систему координат — систему, которая многое заимствовала из теологической традиции ранних мыслителей-славянофилов И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. ³⁸ Последний из славянофилов этого поколения, А. И. Кошелев доказывал в 1880 г., что Достоевскому при изложении своих мессианских теорий следовало опираться не на Пушкина, а на Хомякова. ³⁹ Славянофильские «подпорки» речи Достоевского были хорошо видны современникам. Например, радикальный критик М. А. Протопопов, писавший под псевдонимом Александр Горшков, высокомерно заметил,

что Достоевский просто пересказал старую славянофильскую теорию, согласно которой «Запад гниет», причем аргументам Достоевского, по его мнению, не хватало теоретического и логического обоснования, которое пытался дать Хомяков тридцатью годами ранее.⁴⁰

Пушкинская речь Достоевского представляет собою динамический синтез романтической «органической» эстетики, с одной стороны, и славянофильских интерпретаций православия — с другой. Хотя сторонники «органической» эстетики, такие как Григорьев, признавали приоритет религии в становлении национальной литературы, эстетические интересы явно доминировали у них над религиозными (что более естественно для западников типа Тургенева). Напротив, ставянофилы сомневались в ценности русской литературы, а временами даже отвергали ее, поскольку она казалась им чрезвычайно светской и европейской.⁴¹ Григорьев создал «культ» Пушкина; славянофилы признавали его с трудом. Достоевский свел две традиции воедино, подойдя к основным проблемам русского православия непосредственно с «эстетической» точки зрения: философия и религия особым образом слились в его взгляде на Пушкина.

Пушкин и чудо Троицына дня

В своей речи Достоевский говорил о Пушкине как уникальном явлении во всей мировой истории, «почти даже чудесном», как он выразился языком, очень близким к гоголевскому. Есть все основания полагать, что Достоевский считал способность Пушкина «перевоплощаться в дух чужих народов» в прямом смысле слова чудесной. Ссылки в сочинениях Достоевского на божественную природу искусства дают веские основания считать, что он понимал художественное творчество как сошествие Святого Духа на художника-апостола. Если допустить, что природа пушкинского гения была «харизматичной», то понимание Достоевским роли Пушкина и мессианских задач русской литературы становится более ясным.

В русской православной традиции чудо Троицына дня являет собой главный момент в священной истории и ключ к божественной природе вселенной.⁴² Во второй главе Деяний Апостолов повествуется, что в Троицын день Святой Дух сошел на апостолов в виде языков пламени и даровал им чудесную способность «говорить на иных язы-

ках», называемую «глоссалалией». Это чудо, как говорит апостол Петр, знаменует собой «обетование» окончательного спасения и воскресения человечества. Разбросанные в записных книжках Достоевского, особенно в набросках к «Бесам» 1869—1872 гг., рассуждения о природе художественного творчества показывают, что Достоевский рассматривал действительность под углом зрения воплощения в ней этого чуда. По мнению Достоевского, со времени чуда Троицына дня весь мир исполнен Святым Духом и поэтому заключает в себе самом возможность преобразования. Ключом к божественной природе вещей является красота. В одной черновой записи Достоевский определяет Святой Дух как «непосредственное понимание красоты, пророческое сознавание гармонии и, стало быть, неуклонное стремление к ней». ⁴³ Святой Дух позволяет увидеть красоту (это можно было бы назвать «вдохновением») и сам по себе является источником или причиной красоты, скрытой в физическом мире. Художник-апостол обладает высшей способностью понимать прекрасное, чудесную природу бытия и воплощать ее в своих художественных творениях. Достоевский писал о Шекспире: «Это не простое воспроизведение насущного, чем, по уверению многих учителей, исчерпывается вся действительность. Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромную свою часть заключает в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего слова. Изредка являются пророки, которые угадывают и высказывают это цельное слово. Шекспир — это пророк, посланный Богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке, души человеке(ской)». ⁴⁴ Художники-пророки, подобные Шекспиру и Пушкину, — это избранники Божии для раскрытия человеку красоты. Святой Дух наделяет их способностью понимать и раскрывать «тайны существования», видеть дальше повседневной жизни, созерцать «высшую действительность». Благодаря способности, дарованной Святым Духом, художник-пророк способен «зреть» подлинную действительность (Святой Дух вдохновляет художника и сам есть его вдохновение). Такой художник-пророк способен постигать и изрекать «будущее Слово», скрытое в красоте мира, — другими словами, предвещать Второе Пришествие. Поскольку для Достоевского красота и наше восприятие ее служат постоянным напоминанием обетования Пятидесятницы, эта действительность в один прекрасный день преобразится в совершенную красоту. Человек должен верить, писал Достоевский, что «мир станет красота Христова». ⁴⁵ Именно чудо Троицына дня, сошествие Свя-

того Духа, делает возможным спасение, исполнение Богом своей воли через человека, внедрение Божественного Духа в плоть, то, что у русских зовется Богочеловечеством.⁴⁶ Следовательно, Красота — как Достоевский загадочно обещает в «Идиоте» — «спасет мир».⁴⁷

То, что Достоевский считал Пушкина пророком, является не только из пушкинской речи, но из его одержимости пушкинским стихотворением «Пророк», которое он публично декламировал десятки раз перед благоговейно внимающими слушателями в последние годы жизни.⁴⁸ (Достоевский сам до некоторой степени стал ассоциироваться с этим стихотворением, а пушкинская речь окружила его ореолом пророка в глазах нескольких поколений русских читателей.) В сознании Достоевского Пушкин как пророк стоял выше даже Шекспира. «Харизматическая» теория художественного творчества подразумевает, что чем могущественнее гений, тем более в нем Святого Духа, тем более «тайн существования» он прозревает и может раскрыть в своем искусстве. Для Достоевского Пушкин — почти апостол в Троицын день: он способен «говорить на иных языках». Как утверждал Достоевский в своей речи, в произведениях Шекспира все иностранцы говорят на одном и том же легко узнаваемом английском языке Шекспира, у Пушкина немцы, итальянцы, французы и другие иностранцы обладают каждый подлинными своими национальными чертами.

Пушкин, православная церковь и Священная история

Согласно православному богословию, чудо Троицына дня было особым историческим откровением Бога человеку, центральным событием на пути человечества к искуплению. В Троицын день впервые в истории человечества Святой Дух явил себя во всей полноте во исполнение чуда Богочеловечества: сперва Господь предстал во плоти, а затем — в Духе. И как доказывал Хомяков в своем знаменитом богословском трактате о русском православии «Церковь одна», церковь не есть учреждение человеческое, «видимое общество Христиан, но дух Божий и благодать таинств, живущих в этом обществе», «проявление» божественного на земле.⁴⁹ Православная церковь — это не одна из многих христианских церквей, но «Единая, Святая, Апостольская, Соборная Церковь», учрежденная на

земле в Троицын день, чтобы существовать до конца света. История Церкви — орудия Всевышнего для спасения человечества — началась в Пятидесятницу.⁵⁰

Оценка Достоевским предназначения России в Европе вытекала непосредственно из его понимания мессианской, «харизматической» судьбы русского православия. В середине девятнадцатого века конфликт между восточными патриархами и папой Пием IX по вопросу папской власти резко обострил разногласия по поводу учения о Святом Духе, к которым восходит разделение церквей.⁵¹ По мнению Хомякова (и Достоевского), Запад пришел в упадок, потому что отверг особую, святую и соборную церковь. Католический Запад отпал от единства церкви, когда добавил к символу веры «*Filioque*», дважды нарушив тем самым соборный принцип: исказив догмат Троицы, на котором основана апостольская церковь, и попытавшись деспотически навязать свою волю всем верующим.⁵² Достоевский полагал, что протестантский Запад пошел еще дальше по пути мирских интересов и атеизма и что социализм является не чем иным, как продолжением полного совмещения в католицизме светской и духовной властей.

Говоря в своих сочинениях о грядущей судьбе Запада, Достоевский вновь и вновь возвращается к образу Вавилонской башни, которая и для него, и для православной традиции в целом имела особый политический смысл.⁵³ В русской церкви Вавилонское «смещение языков» обычно воспринималось как ветхозаветный антитип чуда Троицына дня. Троицын день вернул человечеству возможность всеобщего взаимопонимания, которая была утрачена, когда Бог наказал взбунтовавшееся политически человечество «смещением языков». По мнению Достоевского, европейцы уже начали строить свою башню — социалистическое, секуляризованное, атеистическое всеобщее государство, которое, как они полагали, люди могут построить сами, без Бога, — государство, основанное лишь на разуме и, следовательно, обреченное на апокалиптический конец, как и тот Вавилон, где воздвигалась башня. По мнению Достоевского, Россия, как хранительница идеи Троицына дня, символизировала обетование христианского всемирного единства, которое Россия могла предложить большой Европе, обетование, которое, как он считал, проявилось в совершенном понимании языков иных народов, которым обладал Пушкин. Поэтому предназначение России заключается, по его убеждению, в том, чтобы сохранить истинное Слово и донести его всему человечеству,

и в частности заблуждающимся христианам Европы. Мысль Достоевского была не в меньшей степени обращена к Западу, чем мысль Тургенева. Но если для Тургенева «Запад» означал конкретную культурную и политическую реальность, на которую необходимо ориентироваться, то для Достоевского, как и для славянофилов, Запад означал более антипод идеализированной «русской души», нежели подлинную историческую сущность; их представление о «русскости» зависело от своей противоположности, «западничества».

Современники из числа недоброжелателей Достоевского с отвращением восприняли упоминание в его речи «великого арийского племени» (147), а Михайловский саркастически поинтересовался, почему Достоевский обратил свое «слово» о спасении не язычникам готтентотам, а цивилизованным европейцам. Как бы то ни было, взгляды Достоевского глубоко уходили своими корнями в древнерусские представления об уготованной русскому народу судьбе, которые также питались православным восприятием Троицына дня и способствовали формированию в национальном самосознании образа России как антитезы всему западному. Согласно известной формуле монаха Филофея, жившего в начале XVI века, «два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Два первых, павших Рима — это собственно Рим, который (по словам Николая Зернова) «представлял родительскую власть Отца», и Константинополь — интеллектуальный центр христианства, Сын. Москва была третьим и последним «Римом», воплощением Троицы, олицетворением «убежденности в том, что вся общая жизнь народа должна вдохновляться Святым Духом», и веры в то, что политическое предназначение России заключалось в преобразении всего мира.⁵⁴ Достоевский утверждал, что после отступничества католического Запада и падения Константинополя Россия одна сохраняла истину Единой Церкви. Затем наступило время, когда цари, начиная с Петра Первого, осознали свой долг нести Слово Истины Западу. Но насильственные петровские реформы разрушали национальные устои и привели к появлению интеллигенции, оторванной от народа и его церкви. Парадоксальным образом именно Пушкин — без сомнения, самый европейский и светский из всех великих русских писателей, менее других склонный к назиданию и строгости в вопросах нравственности, — был объявлен Достоевским их спасителем, тем человеком, которому суждено вернуть интеллигенцию в лоно церкви и воссоединить с народом. Пушкинские

торжества возвестили о времени сбора и знаменовали собою то, что Достоевский, по-видимому, в буквальном смысле слова считал началом грядущего века апокалипсиса.⁵⁵

Последующие оценки критиков

В течение шести месяцев после Пушкинских торжеств речь Достоевского была в центре непрекращавшейся полемики, перепечатывалась более десяти раз и обсуждалась по меньшей мере в шестидесяти пяти статьях, опубликованных более чем в сорока газетах и журналах. Большинство критиков вступили в спор с Достоевским и извели немало чернил, ища причину его исключительного успеха на празднике. Успенский пытался объяснить, чем вначале привлекла речь Достоевского интеллигенцию: «Как же было не приветствовать г. Достоевского, который в первый раз в течение почти трех десятков лет, с глубочайшею искренностью решился сказать всем пострадавшим за эти трудные годы: „Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастьи других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей вашей природой задача, — задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности“». ⁵⁶ Сочувствие, с которым был встречен призыв Достоевского к смирению и в котором один советский литературовед усмотрел прямое обращение к террористам-народникам, ⁵⁷ довольно быстро испарилось, по мере того как современники вдумывались в предложенную Достоевским политическую «программу». Под давлением Салтыкова Успенский закончил свое в какой-то мере даже благожелательное изложение и разбор речи Достоевского уничтожающей сатирой на толкование в ней образа Татьяны и попытался доказать, что весьма туманный политический смысл речи мог удовлетворить и террориста, и чиновника, и либерала, и реакционера одновременно. Михайловский, резюмируя критику Успенского, писал, что эта речь свелась к «пустой и не совсем умной шутке», пустой, поскольку Достоевский не предложил «ни одного твердого вывода, ни одной не колеблющейся мысли». Откликаясь на августовский «Дневник писателя», он писал, что «не г. Достоевскому нас учить, особливо если он нашу же (народническую. — М. Л.) идею заливают деревянным маслом из лам-

падки, в которую и мухи попали, и разная другая нечисть». ⁵⁸ Критики, подобные Михайловскому, начинали понимать, что скрывалось в пушкинской речи за (как выразил их мысль американский историк Алан Поллард) «слегка завуалированной лестью», которая помогла донести до состоящей из интеллигенции аудитории заведомо для нее неприемлемую идею. ⁵⁹

Михайловский и многие другие не могли простить Достоевскому злое изображение революционного движения в «Бесах» (1871—1872), хотя успех «Братьев Карамазовых» и «Дневника писателя» упрочил его репутацию среди широкого круга читателей. Многие из оппонентов Достоевского, вспоминая его недавние призывы к захвату Константинополя во время Русско-турецкой войны и его печально известную нелюбовь к евреям, пытались дезавуировать его идеи рядом неприязненных «измов»: мистицизм, инфантилизм, обскурантизм, антисемитизм, расизм, шовинизм, перегретый немецкий романтизм и так далее. Большинство этих критиков считали аргументы Достоевского не заслуживающими обсуждения и отвечали на его речь убийственным сарказмом или открытой бранью. Радикальный критик М. А. Протопопов сделал вывод, что «его логика — не наша логика, наша логика — не его <...> С пифиями не спорят; их или беспрекословно слушаются, или, по-авгурски, смеются, слушая их тарабарские вещания». ⁶⁰

Немногие критики допускали, что поддаваться патристическому возбуждению в такие исторические моменты, как Пушкинские торжества, вполне естественно. Большинству же согласиться с идеями Достоевского мешало его упорное пренебрежение реальностями российской жизни. «Молва» сжато изложила эту точку зрения в своей широко цитируемой передовой статье: «Нет, не об Европе, не о мировых задачах, полагали мы, должен напомнить истинно национальный пушкинский праздник», но воскресить «любовь к самой России и заботу о ее насущных потребностях. <...> Мы полагаем, что не нам еще спасать и поучать других. В нас теплится вера, что русский народ окажет услуги общечеловеческому развитию, но для этого он прежде всего должен умственно и материально дорасти до тех ступеней, на которых стоят более образованные и передовые народы. <...> Мы обязаны идти по тому пути, по какому идет все образованное человечество». ⁶¹ Достоевский игнорировал политические и экономические проблемы России, утверждали эти критики. В то же время его «славянофильские» аргументы, что Рос-

сия не последует западной модели развития и что русский народ имеет право учить Европу, представлялись почти или полностью неприменимыми в практической деятельности.

Сложность интерпретации политического смысла речи Достоевского происходит из коренной парадоксальности его утопического мышления, которая столь отчетливо выразилась в его идее божественного предназначения Пушкина. Достоевский предложил свою недостижимую, апокалиптическую «мечту» в качестве практической, конкретной «программы», подав слушателям надежду, что предложит решение российских проблем, и тут же ее обманув. Если Достоевский и Аксаков и укрепляли позиции реакционеров, то это происходило в первую очередь потому, что, говоря словами Эдварда Тадена, они были «слишком наивны и не умели мыслить критически, чтобы предвидеть возможные следствия какой-либо выдвигаемой идеи или вести в прессе кампанию в рамках реалий российской политической жизни». ⁶² И в еще большей степени это относится к вере Достоевского в грядущий апокалипсис, в реальности которого он так долго старался убедить себя самого.

Ответ Достоевского критикам

Парадоксы позиции Достоевского еще более очевидны в его «Дневнике писателя» за август 1880 г., в который вошли сама речь, вступление и ответ критикам в форме четырех «лекций», адресованных известному «либеральному профессору» А. Д. Градовскому, выступившему с критикой пушкинской речи в «Голосе». Достоевский писал 25 июля К. П. Победоносцеву: «...это не ответ критикам, а мое profession de foi на всё будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непокровенно, вещи называю своими именами». ⁶³ Обращаясь к Градовскому в начале первой «лекции», он подчеркивал, что пишет не для того, чтобы убеждать (возможно, в противоположность пушкинской речи), но чтобы еще раз высказать свои взгляды; он откровенно заявил: «...лично нечего бы мне с вами ни делить, ни толковать. Мне с вами столкнуться нельзя; убеждать или разубеждать вас, стало быть, я вовсе не имею в виду» (149). С одной стороны, Достоевский вновь изложил свою утопическую веру; с другой стороны, он обрушил все свое раздражение и гнев на идеологиче-

ских противников, далеко отойдя от сдержанного тона пушкинской речи, из которой, как явствует из черновых к ней набросков, он намеренно убрал некоторые откровенно оскорбительные для либералов места. Он обращал свой гнев на тех критиков, которые (как выразился он в письме Е. А. Штакеншнейдер 17 июля) взяли «знаменательный и прекрасный, *совсем* новый момент в жизни нашего общества и пытались его затереть, уничтожить, осмеять, исказить и всех разуверить: ничего-де такого нового не было». ⁶⁴ В Пушкинскую речь Достоевский включил несколько благожелательных слов в адрес Тургенева, вызвавших положительный отклик; ⁶⁵ теперь же он предпринял едва замаскированную личную атаку на своего давнего идеологического противника:

«Я слышу, я предчувствую, вижу даже, что возникают и идут новые элементы, жаждущие нового слова, истосковавшиеся от старого либерального подхихикивания над всяким словом надежды на Россию, от старого прежнего, либерально-беззубого скептицизма, от старых мертвецов, которых забыли похоронить и которые все еще считают себя за молодое поколение, от старого либерала — руководителя и спасителя России, который за все двадцатипятилетие своего пребывания у нас обозначился наконец как „без толку кричащий на базаре человек“, по выражению народному» (149).

Раздраженный, нервный тон Достоевского и его неприкрытые нападки на интеллигенцию дали основание многим критикам поставить знак равенства между его взглядами и взглядами Каткова (точка зрения, подтверждаемая внешне тем обстоятельством, что речь впервые появилась в «Московских ведомостях»). ⁶⁶ По мнению Алана Полларда, «Достоевский присоединился к попыткам Каткова сделать интеллигенцию козлом отпущения за политический кризис 1880 года» и «благодаря Достоевскому, новые российские правые преуспели в использовании пушкинских торжеств для распространения своих идей». ⁶⁷ Однако, нападая на либералов, Достоевский в то же время повторял свои основные положения в защиту Пушкина и развивал отзыв И. С. Аксакова, увидевшего в пушкинской речи важнейшее «событие», которое «неопровержимо» свидетельствовало о новом единении славянофилов и западников. Хотя, как утверждали многие критики Достоевского, часто казалось, что он слишком легко отделяет интеллигенцию от русского народа, его четкая формулировка эпохального, мессианского значения Пушкинского праздника явно включает в это уравнение и либе-

ральную интеллигенцию (но на его условиях, а именно — единения с народом).

Политика утопии и духовная перестройка

Хотя, вероятно, и справедливо мнение Александра Горшкова (М. А. Протопопова) и Эдварда Тадена, согласно которому в условиях политической ситуации в России в 1880 г. Достоевский, каковы бы ни были его намерения, объективно играл на руку Каткову и реакционерам, подобный взгляд едва ли учитывает всю сложность позиции Достоевского. Такая точка зрения игнорирует утопизм мышления Достоевского и не принимает во внимание тот факт, что сам он последовательно дистанцировался от Каткова как идеологически, так и относительно политических мер, которые последний предлагал.

Отвечая Градовскому, Достоевский в одном месте своих «лекций» отводит от себя обвинение в том, что его призыв к интеллигенции смириться мог быть полезен в личном, нравственном смысле, но был непригоден как основа для социальной программы. «А вы почему знаете, к какой это пользе в конце концов приведет? До сих пор, по-видимому, только того и надо было, чтоб не умирала великая мысль <о христианском братстве. — М. Л.>. Вот другое дело теперь, когда что-то новое надвигается в мире повсеместно и надо быть готовым... Да и дело-то тут вовсе не в пользе, а в истине. Ведь если я верю, что истина тут, вот именно в том, во что я верую, то какое мне дело, если б даже весь мир не поверил моей истине, насмеялся надо мной и пошел иною дорогой?» (164). Для понимания позиции Достоевского необходимо учитывать то, что он верил в уже вот-вот грядущий апокалипсис, который принесет с собою решение всех проблем русской жизни, и в откликах на свою речь видел признаки исполнения этого предчувствия. «Изъян» политического мышления Достоевского заключается, следовательно, в том, что писатель не смог заставить себе поверить или, если посмотреть под другим углом зрения, дал возможность неправильно себя толковать и искажать свои мысли, что проистекает из донкихотского, утопического ожидания немедленного и полного решения существующих проблем.

По мнению Достоевского, пушкинский праздник ознаменовал появление «новых элементов» (149), означавшее пришествие «подлинного христианства». Отвергая разде-

ление Градовским идеалов на личные (нравственные) и гражданские (общественные), Достоевский предлагал новый тип политической организации общества, основанного на подлинно христианских принципах, «свою политическую экономию, совсем особого рода» (164), гражданские идеалы «либеральнее», чем у российских либералов, «потому что исходят прямо из организма народа нашего, а не лакейски безличная пересадка с Запада» (169). Конкретная форма этой новой христианской политической организации неясна; в то время как на Западе государство подчинило себе церковь, в России государство еще не поднялось до своей исторической миссии: «настоящей общественной формулы, в смысле духа любви и христианского самосовершенствования, действительно еще в нем не выработалось» (170).

Отвечая Градовскому, Достоевский выдвинул в качестве образца политического деятеля Ю. Ф. Самарина, а краткое сопоставление позиций Самарина и Каткова позволяет установить, что Достоевский называл «подлинно либеральным», в отличие от реакционного, т. е. глубинный смысл его утопических взглядов, как он сам его понимал. Еще до смерти Хомякова (1860) славянофильство как движение начало разветвляться на разные течения (по этой причине говорить о Достоевском как «славянофиле» можно только с существенными оговорками). Действительно, Н. Я. Данилевский, И. С. Аксаков, К. Н. Леонтьев, Вл. С. Соловьев, Самарин и даже Катков, при всех различиях их политических и философских взглядов, часто причислялись к «славянофилам». ⁶⁸ Достоевский не восхвалял вместе с Катковым русское государство как воплощение национального идеала, но защищал прогрессивную реформаторскую деятельность Самарина во имя православных идеалов. Бердяев отмечал, что «либеральные славянофилы» (Самарин, К. С. Аксаков и А. И. Кошелев) «освобождали крестьян с землей, боролись за свободу совести и свободу слова, обличали язвы нашего церковного строя и неправильного его отношения к государству, боролись за интересы угнетенных славян и провозглашали идеалы панславизма. Наряду с этим они вели борьбу с нахлынувшей на нас волной нигилизма, материализма и неверия». ⁶⁹ В отличие от Каткова и подобно так называемым либеральным славянофилам, Достоевский не желал применения насилия (по крайней мере, во внутренней политике России) и последовательно выступал за свободу печати. Подобно им, Достоевский считал свободу слова необходимым условием истинной веры — в противовес ли-

бералам-западникам, которые защищали свободу слова как одно из основных политических прав.

В Пушкинском празднике, обещавшем подлинное примирение, Достоевский видел один из примеров политики «на новой основе» христианской любви. Он отвергал мысль о русском «общественном мнении» как самостоятельной политической силе и в своих романах высмеивал упорство либералов в требовании политических «прав» (см., например, безжалостную карикатуру на «юных нигилистов» в романе «Идиот»). Он защищал тот же тип «общественного мнения», что и К. С. Аксаков (которого, как ему ошибочно показалось, он заметил в зале), — общество, объединенное любовью. В цитированном выше письме жене он писал, что после его речи «люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить». ⁷⁰ Во внутреннем видении Достоевского всплывают слова «таинственного посетителя», обращенные к Зосиме в «Братьях Карамазовых»: «Знайте же, что несомненно сия мечта, как вы говорите, случится, тому верьте, но не теперь <...> Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безбидно разделить в собственности своей и в правах своих. Всё будет для каждого мало, и всё будут роптать, завидовать и истреблять друг друга». ⁷¹ При окончательной оценке политического смысла позиции Достоевского необходимо учитывать, что почти невозможно свести его мистическое христианство к практической социальной программе. Как и в марксистском учении об «отмирании государства», нравственная и психологическая революция, о которой говорит Зосима, даст толчок рождению политического устройства, основанного на совершенно иных принципах.

Примирение или насилие?

То, что на индивидуальном уровне и Зосима, и Достоевский понимают как свободное принятие божественной истины, для многих неверующих подразумевает самодержавие и насилие в политической жизни. Упоминание в речи «великого арийского племени» напоминало о его

печально известном антисемитизме, а угрожающий тон его нападок на либеральную интеллигенцию казался многим (например, Михайловскому) доказательством его реакционных политических взглядов, пусть даже на инстинктивном уровне. Но было бы ошибкой считать, что назидательно-авторитарный тон пушкинской речи обязательно предполагал или оправдывал имперское поведение в политике. В то же время, как бы мы ни трактовали практические следствия позиции Достоевского, его «более либеральный либерализм» допускал в области идеологии самостоятельность интеллигенции или плюрализм в качестве лишь промежуточной стадии на пути к высшему единству. Условия этого «единения» зачеркивали (а на языке ожидания апокалипсиса — исчерпывали) роль интеллигенции как интеллектуального вождя России.

Употребление Достоевским слова «либеральный» для формулирования своей программы лишний раз напоминает о том, что в русском языке это слово не имело в то время четкого значения; оно указывает на то, что Достоевский и Тургенев столкнулись с общей для них проблемой, которая образует связь между их позициями. И Достоевский, и Тургенев утверждали свое право говорить от имени народа (*the people*), опираясь на свою веру в конечное примирение классов, осуществится ли единение сверху на основе европейского просвещения или придет снизу от простого народа — хранителя истинной церкви. Если Достоевский хотел бы подменить идеалы интеллигенции идеалами простого народа, то Тургенев считал, что образованная элита может и должна говорить от имени простого народа. В обоих случаях вполне резонно возникает вопрос о том, означал ли подлинную терпимость «либерализм», который они защищали.

Как и большинство русских интеллигентов своего времени, Тургенев и Достоевский верили в то, что Россия все еще может избежать классовых битв Запада и что существование единой России возможно и желательно. Желание «единства» и «примирения» было душою всего Пушкинского праздника как своего рода золотая мечта и, можно сказать, стало Святым Граалем российской политической жизни в целом. Примирение 1880 г. должно было стать примирением не только раздробленной интеллигенции, славянофилов и западников, но интеллигенции и простого народа, царя и подданных; тем окончательным примирением государства и всего народа (*the nation*), которое, как надеялись, произойдет под знаменем Пушкина. Праздник, без сомнения, утвердил Пушкина в роли мифо-

логического спасителя России, посредника между Россией и Западом и вечного символа национального и культурного единства, о котором будут думать последующие поколения и за которое будут бороться.

После убийства Александра II, спустя менее девяти месяцев по окончании Пушкинского праздника, непродолжительное «примирение», которое многие современники считали достигнутым на торжествах, казалось уже далеким и неосуществимым. Центростремительные силы возмездия и реакции, поляризации и антагонизма, обострения межклассовых и внутриклассовых противоречий в русском обществе вырвались после смерти царя на свободу и не только не сдерживались, но, напротив, поощрялись. Еще до 1880 г. новое учение о политэкономии и классовой борьбе, разработанное Марксом, начало привлекать внимание русских революционных мыслителей, в частности — Н. С. Рusanова, Н. Ф. Даниэльсона и будущего учителя Ленина Г. В. Плеханова.⁷² Последующие события создали благоприятную почву для его восприятия и для того, чтобы понятие классового примирения было окончательно забыто.

После «гениальной речи» Достоевского Аксаков заявил, что раскол между славянофилами и западниками преодолен. Тем не менее глубокая вражда между этими двумя позициями, как мы уже видели, возродилась почти немедленно. Когда Кавелин, Михайловский и другие выступили со своими обвинениями, Достоевский и Тургенев, их последователи и критики во многом лишь повторяли старые аргументы, игнорируя большие изменения, происшедшие в России с начала шестидесятых годов. Алан Поллард указывает, что «обе стороны продемонстрировали обескураживающее стремление спорить о личностях и абстракциях, вместо того чтобы заниматься практическими проблемами государственного устройства и управления страной».⁷³ Эти обвинения недалеки от истины, однако в определенном смысле политическая ситуация в России не слишком изменилась за истекшие двадцать лет. Как и в наши дни, способность анализировать проблемы, стоящие перед государством, и предлагать решения проявляется лишь в случае предоставления обществу политических прав. Можно даже предположить, что разрешение свободных и открытых дискуссий должно обязательно предшествовать всем остальным действиям и что его отсутствие ставит под сомнение принятие всех других решений. Нынешнее политическое и интеллектуальное брожение в России вновь сталкивается с этой так и не решен-

ной проблемой. Гласность возвращает надежду на примирение, которое ярко символизировали Пушкинские торжества, и для многих воплощает мечту о создании интеллектуального и организационного «пространства» для свободного обмена мнениями и представление о российской политической жизни как «сплошном перманентном пушкинском празднике».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ И НАСЛЕДИЕ: ПУШКИН, 1880—1987

Крушение надежд

Хотя рожденный Пушкинским праздником энтузиазм был растрочен, как представляется, впустую и в ходе дальнейших событий угас, не оставив практических последствий, надежды, пробужденные этими торжествами, теплились еще долгое время. В течение еще по меньшей мере шести месяцев праздник продолжал вызывать споры в российской печати. Но ожидавшиеся реформы не претворялись в жизнь, и потому раздражение правительством нарастало, а оптимизм, сопровождавший Пушкинский праздник, стал казаться преждевременным. «Слышны только отголоски этих ликований — трескотня газетных фраз», — писал в июле анонимный журналист в воронежской газете «Дон». При сравнении «уверений», сделанных газетами во время праздника, с нынешними «фактами действительности» возникает «грустное чувство», констатировал он: «Если обнажить факт, совершившийся в Москве 6 июня, от привесков и побрякушек, т. е. укротить восхищение прогрессом России, оставить в покое мужика с пушкинскими мощами и выплеснуть *слияние*, — то получится следующее: некоторые умные люди хорошо сделали, что приняли на себя инициативу в деле сооружения памятника великому поэту и довели это дело до конца. Факт открытия этого памятника возбuditельно подействовал на людей, близко стоящих к науке и русской литературе, — заставил их внимательнее и полнее изучить жизнь и поэтическую деятельность Пушкина, или, по крайней мере, открыто для всех высказаться о нем. (...) Нельзя сказать, что памятник Пушкину возник потому, что Россия достигла в своем росте высокой степени зрело-

сти и что народ, вступив в новую фазу самосознания, наконец оценил поэта по достоинству; а нужно сказать, что памятник Пушкину, явившийся почти случайно, косвенным образом поспособствовал и будет содействовать развитию русского общества, а в некоторой степени — и народа».¹

«Диктатура» Лорис-Меликова, введенная как временное решение политического кризиса начала 1880 г., закончилась в августе, когда диктатор стал министром внутренних дел; тогда же было упразднено имевшее дурную славу Третье отделение, а его дела переданы в ведение Министерства внутренних дел. Осенью возобновились дискуссии о реформе печати, хотя Лорис-Меликов запретил прессе писать что-либо о конституции (это, судя по всему, подтверждало опасения Салтыкова). В то же время «Народная воля» перестраивала свои ряды для выполнения ультиматума «смерть абсолютизму — или скорая смерть царю».² Катков и консервативная печать оставались спокойными и оборонялись; «Берег» не дожидаясь конца года и закрылся из-за малого числа подписчиков. В обстановке всеобщего нетерпения росли недовольство и раздражение. В декабре в статье, посвященной речи Достоевского, О. Ф. Миллер с горечью писал о том, что примирение, обещанное на празднике, «промелькнуло и скрылось. Памятник Пушкина собрал нас воедино лишь на минуту, и русскому Мефистофелю остается только весело потирать себе руки и приговаривать: *divide et impera*».³

Многomesячное ожидание внезапно закончилось 1 марта 1881 г. с убийством Александра II. В этот самый день царь должен был утвердить пробный предварительный проект конституции, представленный Лорис-Меликовым, хотя остается вопросом, в какой мере можно было считать его подлинной «конституцией».⁴ Год спустя после Пушкинского праздника либералы не только испытали крушение всех своих надежд, но и стали бессильными свидетелями того, как у них отбирали одну за другой даже мелкие уступки, ими отвоєванные.

Многие современники (например, Михайловский) ожидали, что вслед за убийством царя сразу же произойдет революция. Новый царь Александр III, преувеличивавший силу террористов и еще не утвердившийся в своем положении, колебался между несколькими конституционными проектами, и в течение марта и апреля дебаты о будущем России не утихали — как в печати, так и в кулуарах. «Голос», «Страна» и другие прореформистские газеты убеждали нового царя подтвердить конституционные планы отца.⁵ Осуждая убийство и все революционное движение,

они объясняли их отсутствием свободы слова в России и возлагали ответственность на само самодержавие, сделавшее царя, по их словам, лично ответственным за все беды государства. Катковские «Московские ведомости» отреагировали кампанией в защиту принципа самодержавия и продолжали дискредитацию интеллигенции. Катков вернулся к тому, от чего отошел в начале 1880 г., и уже не вспоминал о «примирении», которое провозгласил на обеде 6 июня. Он даже приводил цитаты из наделавших столько шума перед Пушкинским праздником передовых статей, содержавших обвинения по адресу Лорис-Меликова и интеллигенции.

В своей новой газете «Русь», которая начала выходить в конце 1880 г., И. С. Аксаков также развернул антиконституционную кампанию. Последовательный защитник свободы печати, но отнюдь не сторонник либерализма, Аксаков нападал как на либеральное чиновничество, так и на «так называемую интеллигентную среду», считавшую не-обходимой для России «западную» конституционную реформу. Аксаков видел выход из кризиса в созыве царем земского собора — собрания народных представителей. По его мысли, такое собрание отвечало бы духу русской истории и не посягало бы на принцип самодержавия. Оно обеспечило бы режиму народную поддержку, которая требуется любому здоровому политическому организму, и подорвала бы позиции «лжелиберальных поклонников западного политического устройства».⁶ С шестидесятых годов Аксаков придерживался мнения о том, что Россия должна выбирать между самодержавием, пользующимся народной поддержкой в форме земского собора, и грозившей революцией. Однако теперь Аксаков видел главную угрозу России не столько в неограниченном самодержавии (против которого он выступал), сколько в предлагавшемся введении западного парламентаризма. В этом он, безусловно, играл на руку Каткову и К. П. Победоносцеву, которые всеми силами склоняли Александра III к бескомпромиссному сохранению самодержавной власти.

Катковская линия вскоре возобладала. Александр III, побуждаемый Катковым и Победоносцевым, возложил всю вину за трагедию 1 марта на печать и нелояльную интеллигенцию. Он писал Победоносцеву 21 апреля 1880 г.: «Странно слушать умных людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма». В свою очередь Победоносцев в том же тоне отвечал царю 23 апреля

1881 г.: «Главная причина, — я убежден в том, — газеты и журналы наши, и не могу надивиться слепоте и равнодушию тех государственных людей, которые не хотят признать этого и не решаются на меры к ограничению печати. Я был всегда того мнения, что с этого следует начать, но никто не хочет согласиться со мной». ⁷ Катков и Победоносцев плели интриги, чтобы уничтожить «либеральную» коалицию министров Лорис-Меликова, А. А. Абазы и Д. А. Милютина. Царский манифест от 29 апреля, подтвердивший нерушимый принцип российского самодержавия, заставил либералов уйти в отставку и ознаменовал начало нового длительного периода реакции.

Граф Н. П. Игнатьев сменил Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел; оскорбленный Лорис-Меликов провел остаток жизни за границей. ⁸ В должности министра Игнатьев поддерживал проект земского собора (на самом деле предложенный Аксаковым и П. Д. Голохвастовым), но через год, в свою очередь, был отстранен от должности и в мае 1882 г. заменен Д. А. Толстым. Вынужденная отставка Толстого с поста министра просвещения в апреле 1880 г. знаменовала первую крупную победу Лорис-Меликова; современные историки часто начинают отсчет реакции восьмидесятых годов с возвращения Толстого в 1882 г. Все вернулось на круги своя. Надежды, высказанные на Пушкинском празднике, рухнули, худшие опасения либералов оправдались. По мнению американского историка Ричарда Пайпса, меры, принятые против терроризма во время кризиса и «оттепели» 1878—1881 гг., включавшие в себя реорганизацию тайной полиции Лорис-Меликовым, установили «юридические организационные основы (...) для бюрократическо-полицейского режима с тоталитарной окраской, который с тех пор так и не удалось демонтировать». ⁹

Новые «Временные правила» Толстого о печати, изданные в августе 1882 г., позволяли главному цензору Е. М. Феоктистову, назначенному на этот пост в начале 1883 г., человеку крайне консервативных убеждений, пресекать любые выражения либеральных и радикальных взглядов. Толстой закрыл «Голос», самую популярную и влиятельную из прореформистских газет, издававшуюся с 1863 г.; затем запретил газету «Страна», появившуюся во время «оттепели» 1880 г., откровенную сторонницу свободы печати и конституционной формы правления. Высшей точкой кампании Толстого против прессы явилось закрытие «Отечественных записок»; одновременно Михайловский был выслан из Петербурга. Российская ежеднев-

ная пресса, подвергавшаяся суровым экономическим санкциям за любые неблагонадежные политические заявления, вступила в новую полосу своего существования. Потеряв значение политической трибуны, печать постепенно становилась все более профессиональной и коммерческой, обслуживая расширяющуюся и разнородную читательскую аудиторию.¹⁰

Общественные похороны двух писателей

Смерть Достоевского и Тургенева, героев Пушкинского праздника, означала завершение определенной эпохи в культурной и политической жизни России. Достоевский не дожил до конца «оттепели»; он умер 28 января 1881 г., за месяц до убийства царя. Его популярность по-прежнему росла, и его похороны стали большим общественным событием. Траурную процессию, во главе которой шло несколько десятков (от 70 до 100) делегаций и пятнадцать хоров, наблюдали на ее пути к Александро-Невской лавре около ста тысяч человек. Прощальные речи над могилою писателя произнесли Вл. С. Соловьев, О. Ф. Миллер и др.¹¹ Победоносцев, Абаза, Сабуров, несколько великих князей и другие высокие должностные лица присутствовали на следующий день на панихидах по покойному писателю, а царь назначил его вдове ежегодную пенсию в размере двух тысяч рублей и предоставил его детям бесплатное обучение в государственных гимназиях. Популярность Достоевского продолжала расти и позже, в восьмидесятых и девяностых годах, — что обычно связывается с господством консервативной идеологии.¹² В период реакции, последовавшей за революцией 1905 г., идеи Достоевского, своего рода парадоксальным образом, помогли становлению нового поколения российских либералов. Группа «Вехи», состоявшая из бывших марксистов, таких как П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев, сознательно приняла обвинения, предъявленные Достоевским интеллигенции в пушкинской речи.¹³ Эти люди пытались воскресить русский либерализм и уважение к законам на основе православия и идеалистической философии — этого Тургенев и Достоевский не могли предвидеть в 1880 г.

В 1881 г. Тургенев посетил Россию в последний раз и скончался в Буживале 3 сентября (22 августа) 1883 г. Посмертная судьба Тургенева служит, возможно, лучшим

комментарием к жизни и деятельности человека, которого в 1880 г. многие называли «достойным наследником Пушкина». Возвращение его тела в Россию для погребения проходило в обстоятельствах, странным образом повторявших действия правительства сорок шесть лет назад с целью не допустить публичных проявлений скорби по случаю смерти Пушкина.

За пять недель, прошедших между кончиной Тургенева и его погребением в Санкт-Петербурге, вопрос о том, какие почести ему воздать, вырос в крупную общественную проблему.¹⁴ В надежде поставить в затруднительное положение правительство России и, возможно, помешать ему обратить популярность Тургенева в свою пользу, политический эмигрант П. Л. Лавров сообщил одной французской газете, что Тургенев финансировал его газету «Вперед» (что, безусловно, было правдой). Заявление Лаврова было перепечатано Катковым и вызвало жаркое обсуждение в России, усилившее и без того достаточно оживленный интерес к «последнему возвращению» Тургенева. В то же самое время Лавров и группа политических эмигрантов демонстративно посетили в Париже заупокойную службу, рассчитывая шокировать русского посла князя Орлова и других присутствовавших на ней царских чиновников. Правительство Александра III клюнуло на приманку и, полагая, что проявление уважения к Тургеневу аналогично антиправительственному выступлению, в ответных своих действиях явно перестаралось. Тело Тургенева было доставлено в Россию под строгим полицейским надзором. В. К. Плеве, директор департамента полиции, распорядился, чтобы местные власти приняли «без всякой огласки с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы (...) не делается было торжественных встреч» поезда, который должен был проследовать с телом Тургенева через Вильно и Псков в Петербург.¹⁵ Тем не менее почти на каждой станции по пути следования поезда собирались толпы людей. Губернатор Пскова отвечал Плеве, что «в настоящее время представляется более чем затруднительно совершенно отклонить встречу на станции железной дороги при провозе тела Тургенева через Псков. Постановлением думы, состоявшимся 26 августа, поручено городскому управлению отслужить на вокзале железной дороги, при провозе тела Тургенева, торжественную панихиду и возложить от имени города венки на его гроб. Такие же венки предположено положить от некоторых учебных заведений, а равно от редакций издающихся в Пскове газет и духовного журнана „Истина“. Газетные толки

о происходящем движении в Петербурге, телеграммы из разных мест России об открытии училищ имени Тургенева и различных жертвах, связанных с его именем, несомненно имели влияние и на здешнее общество, которое считает нравственным долгом воздать дань уважения памяти Тургенева, исключительно как писателя. Для придания предполагаемой встрече более скромного характера, я надеюсь иметь возможность отклонить служение панихиды, что собственно и составило бы показную сторону встречи, и посоветую воздержаться от речей при возложении венков на гроб; но отклонить самое возложение венков — я считаю уже несвоевременным, если не выступать в этом деле официальным образом. В сущности я думаю, что при кратковременной остановке поезда на Псковской станции, — все обойдется весьма просто и смиренно; но вместе с тем следует обратить внимание на то, что здесь завелись корреспонденты, которые сообщают всякие новости северному агентству и нередко в превратном или извращенном виде. — Несомненно, что о провозе тела Тургенева через Псков и о сделанной встрече будет телеграфировано в С.-Петербург, и я вперед уверен, что постараются придать этому возможно широкое и торжественное значение, которого в сущности здесь вовсе не будет. Контролировать депеши — я не имею возможности, почему было бы желательно, чтобы известие об этом из Пскова было проредактировано в Петербурге, прежде чем оно попадает в газеты». ¹⁶

Повторялось то, что произошло после смерти Пушкина, когда полицейские чины тайно доставили тело поэта в Псков, точно так же пытаясь помешать проявлениям общественной скорби. Лавров с удовлетворением отмечал неспособность правительства ни открыто помешать демонстрациям сочувствия, ни взять на себя организацию похорон, ни даже скрыть «свою бессильную и нерешительную оппозицию церемонии, в которой участвовали все оппозиционные силы в России». Несмотря на все усилия полиции сдерживать общественное возбуждение в связи с «возвращением» Тургенева, толпы людей наблюдали за похоронной процессией на улицах Петербурга — по некоторым оценкам, их число доходило до четырехсот тысяч. Сто семьдесят шесть делегаций проследовали от вокзала до Волковского кладбища, где над могилой были произнесены речи и читались стихи. ¹⁷

На следующий день Литфонд провел литературный вечер в память Тургенева, а ОЛРС также решило провести открытое заседание в его честь. На смертном одре

Тургенев писал Толстому знаменитое ныне письмо, заклиная его не покидать русскую литературу. Толстой глубоко переживал потерю старого своего друга, какими бы глубокими ни были их идеологические и литературные расхождения. Он согласился приехать и задумывал большое выступление. Газеты предсказывали, что на заседании зал будет переполнен. Новый главный цензор Е. М. Феоктистов предупреждал министра внутренних дел: «Толстой — человек сумасшедший; от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи — и скандал будет значительный. Осмеливаюсь обратить на это внимание вашего сиятельства. Не следовало ли бы предупредить Московского генерал-губернатора, чтобы он <...> призвал к себе Юрьева и потребовал бы к себе на просмотр статьи и речи, предназначенные для прочтения? Казалось бы, необходимо принять меры предосторожности, ибо Юрьев и Гольцев <секретарь ОЛРС.— М. Л.>, прикрывшись Толстым, способны на все».¹⁸ Министр согласился и приказал Долгорукову поступить так, как предлагал Феоктистов, с тем чтобы предотвратить «нежелательное проявление». Долгоруков беседовал с Юрьевым и сообщил мнение Юрьева, что «на предложение гг. Гольцеву и графу Толстому представить приготовляемые ими к заседанию статьи и речи, они могут отозваться неимением их в рукописи, а затем, в самом заседании, потребовав слова, могут произнести приготовленное ими заранее, как бы импровизацию, причем отказать им в ту минуту в праве произнесения речей было бы неудобно, так как это могло бы возбудить в публике нежелательные толки, — я предпочел, по соглашению с г. Юрьевым, устранить вовсе предположенное заседание. С этою целью оно объявлено отложенным на неопределенное время».¹⁹

Само собою разумеется, что это заседание так и не состоялось.

1887: Пушкин становится общественным достоянием

Благодаря Пушкинскому празднику 1880 г. популярность Пушкина заметно возросла, но потребовалось время, чтобы масштаб и смысл торжеств стали очевидны. Разгоревшаяся в печати острейшая полемика о том, как отмечать пятидесятую годовщину смерти Пушкина в 1887 г., отражала как новую расстановку политических сил, так

и более четкое осознание экономического и политического значения имени Пушкина. Ядовитая перебранка началась в декабре 1886 г., после того как ряд сохранившихся либеральных периодических изданий, возглавляемый «Неделей», «Русской мыслью» и «Историческим вестником», предложил широко отметить эту годовщину, а газета «Новое время», которую поддержали такие видные ученые и писатели, как Я. К. Грот, Гончаров, Григорович и Майков, отвергла эту идею на том основании, что неуместно праздновать день смерти великого поэта. Г. К. Градовский, Михневич и П. И. Вейнберг из «Новостей» попытались создать комиссию для организации обеда, этой все еще (как отметил советский литературовед И. Я. Айзеншток) «чуть ли не единственной формы общения в среде интеллигенции, которую допускало царское правительство». ²⁰ Но «Новое время» развернуло такую бурную кампанию против этого замысла, что комиссия была вынуждена самораспуститься. По мнению Айзенштока, правительство боялось нового пушкинского праздника и приняло меры, чтобы не допустить его проведения ни по официальной, ни по частной инициативе. Секретные циркуляры, разосланные по министерствам и некоторым членам ОЛРС, Литфонда и других литературных организаций, предупреждали, что от подобных торжеств следует воздержаться.

Сам по себе день 29 января 1887 г. прошел спокойно. Во многих церквях служили молебны по Пушкину; Академия наук и большинство университетов и ученых обществ провели специальные мемориальные заседания.

Однако на следующий день, когда истек пятидесятилетний срок действия авторского права на произведения Пушкина, в книжных магазинах началось столпотворение. Вдруг стало совершенно ясно, насколько популярен Пушкин. В книжном магазине «Нового времени» на Невском проспекте разразилась настоящая драка за разрекламированное новое дешевое издание Пушкина. Несмотря на то что были дополнительно наняты продавцы, книги упакованы заранее и приняты меры предосторожности, магазин не смог справиться с хлынувшей толпой. Как писала суворинская газета, «приказчики и артельщики сбились с ног; некоторые из публики взлезали на столы, забирались за прилавки, сами хватили сдачу. К 11-ти часам магазин представлял картину разрушения — в углах, за прилавками, были беспорядочно нагромождены груды разорванных, запачканных, истоптанных ногами различных книг, которых не успели вовремя прибрать с при-

лавка, разломана мебель и повержена на пол, конторка с кассой опрокинута, конторские книги измяты и растоптаны. Слова убеждения не действовали». ²¹ К полудню, под охраною полиции, весь запас из шести тысяч книг был распродан, а магазин закрылся. Эти полдня не имели аналогов в истории российской книготорговли.

За пятьдесят лет, прошедших после смерти Пушкина, общее число проданных экземпляров его сочинений не превысило 50—60 тысяч; из них примерно 20—30 тысяч принадлежали частным лицам; остальные находились в библиотеках или не сохранились. ²² Этот день, по утверждению И. Я. Айзенштока, принес Пушкину славы больше, чем все памятники, возведенные в Москве, Петербурге и Одессе, вместе взятые. Только в Петербурге было продано более 10 тысяч комплектов полного собрания сочинений, или 100 тысяч томов. В следующие два-три дня вышло еще пять изданий, каждое тиражом около 40 тысяч; следующие издания выходили еще большим тиражом. Эти цифры относятся только к «полным собраниям сочинений»; книгоиздатель Л. Н. Павленков писал в 1888 г., что насчитал в предыдущем году 163 названия разных произведений Пушкина общим тиражом 1 481 375 экземпляров, а мои собственные подсчеты, основанные на советской библиографии, изданной в 1949 г., показывают, что Павленков, видимо, преуменьшил общий тираж на 1 миллион экземпляров. ²³ По моим подсчетам, сочинения Пушкина составляли от 12 до 18 процентов общего числа 12 677 538 книг, изданных на русском языке в том году. ²⁴ Подстегиваемое растущим спросом на сочинения Пушкина российское книгоиздательское дело расширялось темпами, фантастическими по абсолютным и относительным показателям для любой страны. Накануне первой мировой войны российская книгоиздательская индустрия превосходила по тиражам Великобританию, Францию и Соединенные Штаты, вместе взятые, уступая лишь Германии. ²⁵

Полемика 1887 г. стала особенно ожесточенной, поскольку столкнулись коммерческие интересы А. М. Скабичевского (сотрудничавшего в газете «Новости») и Суворина (издававшего «Новое время») касательно новых изданий сочинений Пушкина. Стараясь скомпрометировать своего соперника, Суворин, уже известный своим явным оппортунизмом, преследовал для себя политические и финансовые выгоды. Он обвинил Скабичевского в плагиате из готовившегося Литфондом издания сочинений Пушкина. ²⁶ Он также заявлял, что Скабичевский, друг

Писарева и его однокурсник в университете, поддерживал нападки Писарева на Пушкина и поэтому не имел права принимать участие в чествовании памяти Пушкина. В доказательство Суворин цитировал доброжелательную биографическую статью о Писареве, написанную Скабичевским в 1869 г., вскоре после безвременной смерти Писарева.²⁷ Суворин ханжески заявлял (используя редакционное «мы»), что «ничего подобного мы никогда не проповедовали; Пушкин нам всегда казался богом современной литературы, и мы не могли не протестовать, когда увидели, что именем его хотят воспользоваться *для личных целей, но от имени всей литературы*».²⁸ Во время торжеств 1880 г. консервативные группировки предприняли несколько робких попыток объявить поэта своим, что было встречено либералами с презрением.²⁹ В 1887 г. Суворин сочувствовал самым реакционным элементам в российском обществе и примкнул к тем, кто взял на себя обязанность «защищать» в печати Пушкина от нигилистов в либеральном обличье.

Русская интеллигенция давно уже признавала потенциальную политическую и нравственную силу литературы. Большинство российских учителей, под влиянием Белинского и позитивистов, видели в русских писателях «воспитательно-образовательный материал» (как назвал В. П. Острогорский свой известный учебник).³⁰ Даже Чернышевский, очень скептически относившийся к культуре Пушкина, смог оценить черты «века просвещения» в произведениях Пушкина и значение его творчества в воспитании гражданских добродетелей; в этом духе он написал и анонимно издал небольшой очерк о «жизни и творчестве» Пушкина.³¹ Сильная, хотя и не явно выраженная «просветительская» струя проходила в глубине всего Пушкинского праздника 1880 г., ориентированного, по крайней мере частично, на то, чтобы укрепить популярность Пушкина среди молодежи. Во время приготовлений к торжествам 1880 г. Острогорский, один из главных популяризаторов Пушкина, напомнил читателям, что «Пушкин во всех наших учебных заведениях в курсе словесности поставлен краеугольным камнем (нечто в роде памятника! — М. Л.) всего литературного образования». Сожалея о нехватке скромных, недорогих изданий сочинений поэта, Острогорский призывал интеллигенцию выполнить свою «гражданскую обязанность». Хотя русское общество апатично и инертно, а поле его деятельности очень ограничено, «есть одна сфера, и очень важная, в которой оно может действовать настойчиво,

энергически и в высшей степени благотворно. Эта сфера — просвещение русской земли...» Он призвал интеллигенцию способствовать тому, чтобы «сочинения Пушкина в целом полном собрании и в отдельности могли находиться в достаточном количестве экземпляров решительно во всех библиотеках учебных заведений, в каждом сколько-нибудь образованном, не совсем бедном семействе». ³²

После того как в 1887 г. истек срок действия авторских прав, интеллигенция получила возможность проводить в жизнь свои представления. Пропаганда Пушкина и русских «классиков» заняла важное место в движении «малых дел», идейною опорой которого в значительной степени было то, о чем писал Острогорский: при невозможности (незаконности) политической деятельности, в это русло образованные слои могли направить свою энергию, чтобы пусть даже понемногу делать какое-то реальное дело, медленно подготавливая русский народ к будущему, когда он сам будет за себя отвечать. Подобная миссия была очень привлекательна для интеллигенции, которая, занимая по своему образованию отдельное положение в обществе, не могла (по словам Л. Мартова) «не чувствовать и не сознавать себя носительницей того культурного процесса, который, ломая устои крепостничества, вводил Россию в семью цивилизованных наций». ³³ Кроме того, это была та сфера, где интересы государства и интеллигенции явно совпадали. Произведения Пушкина были признаны необходимыми для того, чтобы сделать доступной для инородцев, равно как и для русского крестьянства, «европеизированную» русскую светскую культуру.

По мере того как интеллигенция обращалась к «малым делам», а радикалы зарывались все глубже в подполье, изучение Пушкина все более выделялось в особую область и становилось профессиональным — так же, как и русская журналистика. Выставка рукописей поэта и «пушкинианы», организованная ОЛРС в 1880 г., послужила стимулом для систематического сбора, классификации и изучения пушкинского наследия. После этой выставки П. И. Бартенев убедил сына Пушкина, Александра Александровича, передать большую часть рукописей отца в Румянцевский музей и Московскую публичную библиотеку. Изучение этих документов стало основой всей последующей исследовательской работы и, как издание Вольтера, Шекспира и Гете во Франции, Англии и Германии, ускорило создание в России национальной акаде-

мической литературоведческой традиции. К 1890-м годам, когда курс изучения творчества поэта вошел в университетскую программу, образовался особый круг профессиональных «пушкинистов». Пушкин быстро становился официально признанным национальным атрибутом.

Под эгидой царского правительства: Пушкинский юбилей 1899 года

К 1899 г. царское правительство также осознало, насколько могущественно имя Пушкина, и превратило литературный праздник в официальное политическое и идеологическое мероприятие. По прямому указанию царя Академия наук совместно с Министерством народного просвещения создали Пушкинскую комиссию по организации массового празднования столетия Пушкина.³⁴ Комиссию возглавил президент Академии, великий князь Константин Константинович; в нее вошли члены правительства (С. Ю. Витте, Н. П. Благоепов), профессора (А. Ф. Кони, М. И. Сухомлинов, А. Н. Веселовский, А. Н. Пыпин, А. А. Шахматов), директор императорских театров, ректор Петербургского университета, В. П. Острогорский и несколько редакторов периодических изданий, включая М. М. Стасюлевича и А. С. Суворина. Они составили программу пушкинских празднеств неслыханного масштаба, включив в нее систему учебных заведений по всей империи. Празднества не ограничивались только Москвой, Петербургом и несколькими губернскими центрами, как это было в 1880 г.; во время столетнего юбилея Пушкина, как писал один журналист, было «трудно указать на обширном пространстве от Тихого океана до Балтийского моря и от Ледовитого до границ Афганистана такой географический пункт, где бы можно было заподозрить личность общественной жизни и где не откликнулись бы на Пушкинский юбилей».³⁵ Празднования 1899 г. преследовали цель приобщить широкие массы народа, русских и инородцев, к культуре и донести имя Пушкина до самых отдаленных уголков империи. Юбилейные мероприятия как в столицах, так и в провинции включали в себя богослужения, публичные лекции, театральные представления, торжества в учебных заведениях и университетах, публичные чтения для народа, переименование улиц и открытие библиотек и школ имени Пушкина, приобретение государством родового имения Пушкиных в Михайлов-

ском, учреждение пушкинских стипендий и премий, выпуск памятных медалей и так далее. Государство тиражировало бюсты и портреты поэта, равно как и его сочинения, которые бесплатно раздавались школьникам (в некоторых случаях вместе с плиткой шоколада, украшенной портретом поэта) в день юбилея.

Многие писавшие о торжествах из числа интеллигенции с разочарованием отмечали возникновение «официальной народности» нового типа, которая использовала Пушкина как свое знамя.³⁶ Взяв на вооружение созданный реакционерами упрощенный образ Пушкина — верного защитника самодержавия и любимца Николая I, государство пропагандировало и защищало этого «своего» Пушкина. Оно тщательно следило за отбором произведений Пушкина для публичных чтений и школьных программ, а когда на юбилейном заседании в Москве известный пушкинист В. Е. Якушкин прочел лекцию о тесных связях Пушкина с движением декабристов (эту мысль он высказал печатно еще в 1886 г.), ему был сделан суровый выговор и он был выслан из города.³⁷

Многие современники не видели смысла в том, чтобы участвовать в такого рода торжествах, усматривая в их организации дурной вкус, надуманность и фальшь. В печати отмечалось с тревогой, что не только государство, но и всякие малочисленные группировки в России пытались использовать Пушкина в своих интересах и что юбилей превращался в ряд «частных» и не связанных между собой торжеств, далеких от реальных нужд русской словесности и общества. С официальным взглядом на юбилей не соглашались и некоторые русские священники, считавшие Пушкина атеистом, а также отдельные крайние революционные организации, но они не могли, тем не менее, настроить общество против поэта.³⁸ Образ Пушкина в общественном сознании стал расплывчатым и противоречивым, чему способствовали очень разнородный состав читательской аудитории, не устоявшееся еще к тому времени состояние пушкинистики и многообразие высказывавшихся несхожих мнений. Многие вспоминали 1880 г. как время относительного единства и свободы или, по крайней мере, счастливой иллюзии, что «теперь на нашей улице праздник» (как заявил Островский). Тяжкое чувство беспомощности охватило русскую интеллигенцию, обостренное голодом, поразившим в то время многие губернии. У многих образованных россиян юбилей вызвал только отчаяние, еще раз показав им неизмеримую глубину пропасти, по-прежнему отделявшей их от невеже-

ственных и страдающих народных масс: «...литература чужда народу, который не ощущает потребности в ней, и верхние слои народа, так называемое общество, настолько обессилено собственной пустотой, что не чувствует необходимости и не находит в себе умения и силы влить в народную душу готовое, давно и не современным культурным поколением выработанное, содержание, предварительно подготовив народ к восприятию его. Пока этого нет, пока благодарное чувство радости исходит не от самого народа, ни о каком народном значении Пушкина, как поэта, не может быть и речи <...> Культура в своем высшем значении не привита народу во всей массе его <...> в нем не проснулась <...> потребность осмысливать свое существование в текущих проявлениях жизни, — что и составляет сложность и задачу литературы...» — писал один журналист.³⁹

В отличие от 1880 г. ведущие русские писатели не приняли участия в столетнем юбилее поэта, а многие демонстративно отстранились от официальных торжеств и вулгаризации Пушкина. В весеннем номере журнала «Мир искусства» за 1899 г., посвященном пушкинскому юбилею, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Федор Сологуб и Н. Минский (Н. М. Виленкин) опубликовали статьи о Пушкине, в которых отказывались признать упрощенный образ Пушкина, навязываемый во время юбилея.⁴⁰ В своем известном очерке «Пушкин» (1896) Мережковский охарактеризовал русскую литературу как отчаянную и безуспешную попытку вернуться к подлинному культурному идеалу, представленному поэтом; профанация образа Пушкина в 1899 г. воспринималась как подтверждение неудачи этих попыток.

Интерес символистов к Пушкину снова поставил его в центр русской литературной жизни, где он и оставался на протяжении большей части двадцатого века. В течение тридцати лет после юбилея 1899 г. Пушкин играл важную роль в литературных биографиях почти всех больших поэтов — А. А. Блока, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; был предметом споров в дискуссиях о русской литературе, которые вели марксисты, футуристы, акмеисты, формалисты, пролетарские поэты и многие другие литературные группировки до тех пор, пока в результате принудительной регламентации литературы в сталинский период литературный праздник — вновь с Пушкиным в главной роли — не стал неотъемлемой частью культурной политики государства.

Прощание с Пушкиным

В опустошенном революцией Петрограде 1921 г. группа писателей и литераторов собралась в «Доме литераторов» на скромный пушкинский праздник, чтобы продемонстрировать связь с традициями 1880 г. и признание того факта, что эти традиции обрываются навсегда. Эти «Пушкинские дни» в память восьмидесяти четвертой годовщины гибели поэта состояли из нескольких скромных вечеров, на которых поэты Блок, Сологуб, Ахматова, Ходасевич, Кузмин и несколько ведущих ученых-пушкинистов выступали с речами, лекциями и стихами.⁴¹ Для многих участников эти встречи символизировали прощание с тем, что Ходасевич назвал «петровским и петербургским периодом русской истории», с традициями пушкинской России и старой интеллигенции, которые постепенно уничтожили революция и гражданская война. «Пушкин восстанет <...> гигантским образом, — предсказал Ходасевич в своем выступлении. — Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы — но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, — грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано. <...> Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоящей потребности: отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, <...> отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».⁴²

В своем оказавшемся последним публичном выступлении Блок говорил о «назначении поэта», которое завещано России Пушкиным. Возведение памятников и сочинение литературных манифестов, сказал он, не имеют никакого отношения к поэту; те, кто любят Пушкина, не участвуют в служении «внешнему миру». Свобода поэта — внутренняя и «тайная». «У нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине: праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его — внутреннее — культура, это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже бога. <...> Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. <...> И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило от-

сутствие воздуха. С ним умирала его культура». ⁴³ Всем в 1921 г. было ясно, что Блок читает эпитафию революции, себе как поэту и дореволюционной культуре, высшим достижением которой для него был Пушкин. Блок и Ходасевич и их собратья по перу были уверены в том, что они переживают пору, которую исследователь Ренато Поджоли назвал «сумерками поэзии и искусства» в России. ⁴⁴ Через шесть месяцев после своего выступления Блок скончался, а менее чем через год после этого Ходасевич вместе с другими художниками и писателями был вынужден покинуть страну. Их современник О. Э. Мандельштам (оставшийся и погибший в сталинском исправительно-трудовом лагере в 1938 г.) сходными словами выразил свое художественное кредо — акмеизм, назвав его «тоской по мировой культуре» и этим подразумевая, что мировой культуры, воплощенной для его поколения, несомненно, в Пушкине, в России больше не существует.

В своем выступлении на тех же Пушкинских днях 1921 г. (где и Блок, и Ходасевич высказали опасение, что истинное понимание Пушкина погибнет с революцией) блестящий молодой ученый Б. М. Эйхенбаум доказывал, что для обретения подлинно объективного взгляда на Пушкина необходимо новое ощущение дистанцированности от прошлого. Такая перспектива была необходима для того, чтобы положить конец бесплодной гегемонии избитой критической традиции Белинского, которая свела Пушкина не просто до уровня памятника, а «жалкой гипсовой статуэтки, <...> безделушки, украшавшей будуары». ⁴⁵ На рубеже веков В. Я. Брюсов, Андрей Белый и многие другие ведущие писатели внесли большой вклад в пушкинистику, которая к первой мировой войне стала вполне самостоятельной научной дисциплиной. Период примерно с 1900 г. до конца 1930-х годов был своего рода золотым веком пушкинистики. Он отмечен как новаторскими теоретическими работами Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова, так и вкладом двух поколений преданных своему делу пушкинистов — Н. О. Лернера, Б. Л. Модзалевского, П. Е. Щеголева, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского, Ю. Г. Оксмана и С. М. Бонди — всех, кто занимался текстологией и изучением творческой биографии поэта.

Сталинская советизация Пушкина

Начатый в 1899 г. процесс превращения литературного праздника в инструмент влияния государства в политике и культуре достиг своего апогея при Сталине в конце 1930-х годов, когда окончательно сформировался монументальный и качественно иной (какой предвидел Ходасевич) образ Пушкина. Тоталитарное государство, умевшее мобилизовать все общество на выполнение единой задачи, превратило сотую годовщину смерти Пушкина в основной пункт программы культурных преобразований и в веху на пути к поголовной грамотности в России и в других республиках Советского Союза. Уже к окончанию коллективизации Советское государство отказалось от всех своих намерений создать особую «пролетарскую культуру» и приступило к реализации амбициозной программы «социалистического образования», опиравшейся преимущественно на русских классиков, необходимость изучения которых оспаривалась в первые годы советской власти. Аналогичное Пушкинскому юбилею 1899 г. празднование столетней годовщины гибели Пушкина в 1937 г. должно было охватить весь народ и поддержать культурную и политическую программу правительства. Планировался литературный праздник, фантастический по своим масштабам.⁴⁶

Подразумевалось, что идеи Пушкина, подогнанные под текущие идеологические потребности, должны дойти практически до каждого человека — мужчины ли, женщины или ребенка. Если в 1899 г. государство преувеличивало монархизм Пушкина, то теперь гибель Пушкина и фальсификация его наследия числились главными грехами старого режима. Официальным постановлением Центрального Комитета Пушкин был объявлен «создателем русского литературного языка», «родоначальником новой русской литературы», предшественником коммунизма и глашатаем славного социалистического настоящего.⁴⁷ Особое внимание уделялось пушкиноведению: в связи с юбилеем было торжественно объявлено о некоторых фундаментальных работах, включая академическое издание полного собрания сочинений поэта. Работа над программой юбилея началась уже в августе 1934 г., одновременно с Первым съездом Союза писателей, поставившим всю советскую литературу под прямой политической надзор и утвердившим доктрину социалистического реализма. Всесоюзный пушкинский комитет, образованный в это время под председательством Максима Горького, получил задание от правительства «разработать мероприятия по увековечению

памяти великого поэта и содействовать широкой популяризации его творчества среди трудящихся Советского Союза». ⁴⁸

Вопрос ставился не просто о том, чтобы провести широкомасштабное празднование пушкинской годовщины: 1937 год должен был стать в буквальном смысле слова «Пушкинским годом», на всем протяжении которого во всех уголках страны должны были проводиться мероприятия и торжества, предназначенные «донести Пушкина до народа». Практически все театры во всех республиках Советского Союза ставили пьесы, оперы и концерты, посвященные поэту. Каждый класс в каждой школе устраивал собственные пушкинские праздники и мероприятия: школьники играли инсценировки его произведений, организовывали специальные выставки и создавали пушкинские библиотеки, совершали походы по «пушкинским местам», посвящали поэту стихи и делали рисунки к его произведениям. Огромные усилия были приложены к тому, чтобы провести пушкинские мероприятия в колхозах и на заводах, где партийные функционеры и местные комитеты организовывали занятия кружков по изучению творчества поэта, собрания, постановки художественной самодеятельности, чтения, лекции, работу библиотек и походы; лучшие «пушкинские» газеты, которые выпускали рабочие на многих фабриках и заводах, поощрялись премиями. ⁴⁹ На многих языках выпускались кинофильмы, романы, пьесы и стихи о Пушкине. «Правда» в 1936 и 1937 гг. напечатала серию редакционных статей о поэте. Радиопередачи, газеты и журналы были заполнены рассказами о Пушкине и пушкинских мероприятиях наряду с новостями о фашистах и врагах народа. Имя поэта присваивалось колхозам, заводам, школам, улицам, паркам, площадям, самолетам, кораблям и театрам. Общий тираж сочинений Пушкина, изданных в Советском Союзе в 1936 и 1937 гг., составил 19 миллионов, из которых почти три миллиона были изданы на языках народов СССР. ⁵⁰

В советскую эпоху концепция литературного праздника приобрела новый смысл и масштабы исходя из «социалистических» взглядов на природу литературного процесса и культуру. В предисловии к сборнику статей о Пушкине и русской культуре, изданному в 1967 г., выдающийся советский пушкинист Б. С. Мейлах предложил следующее определение культуры: «Ведь культура — это не только совокупность достижений общества в отдельных областях литературы, науки, искусства, но также и система определяющих принципов использования этих до-

стижений в интересах народа, нации, прогрессивного движения истории. Именно в этом смысле Пушкин представляет собой явление исключительное». ⁵¹ Другими словами, «культура» представляет собой фиксированную «систему определяющих принципов», которая должна использоваться как средство достижения заранее поставленных целей. На протяжении тридцатых и сороковых годов почти пятьдесят различных национальностей и народностей в Советском Союзе впервые в своей истории стали грамотными, и Пушкину отводилось центральное место в этом процессе приобщения к культуре. Точно так же, как западноевропейские литературы и языки служили Пушкину и России образцом нового языка и литературы, так и теперь «новые» народности СССР обретали «начала» грамотности и национальных литератур, приобщаясь через переводы сочинений Пушкина к европейскому типу литературы.

В свете задуманных советской властью культурных преобразований Пушкинский праздник 1880 г. выглядел незначительным событием. С одной стороны, он изображался жалким, малочисленным, неподобающим мероприятием «горстки интеллигенции», несопоставимым с современным праздником; с другой стороны, он осуждался наряду с официозным празднованием столетия со дня рождения поэта в 1899 г. как праздник «синодальных певчих, трактирщиков, сановников в расшитых золотом мундирах и всяких иных потомков Булгарина, Бенкендорфа, Сенковского». ⁵² Повсеместно осуждалось политически неприемлемое использование Пушкина Достоевским. Старые пушкинские торжества, как писали в те дни (вторя осуждению Достоевского Михайловским в 1880 г.), «были издевательские, мучительные для памяти поэта, оскорбительные для культуры казенно-полицейские „празднования“, которыми попы и реакционные чиновники пользовались, чтобы измазать лампадным маслом сияющий образ поэта-мятежника». ⁵³

Партийная линия в 1937 г. заключалась в том, чтобы отрицать любые положительные черты царского режима, одновременно создавая мифический, героический образ прошлого. В тридцатые годы старая интеллигенция не только была физически уничтожена, но и ее громадные интеллектуальные, культурные и политические достижения были преданы забвению или же приписывались большевикам и их предшественникам революционным демократам. Честь проведения в стране культурной революции нельзя было делить ни с кем. Успехи дореволюционной интеллигенции в пропаганде творчества Пушкина и

распространения грамотности систематически отрицались как ничтожные и бесплодные. Пушкинский праздник 1880 г. — «праздник русской интеллигенции» — также стал жертвой этого «переписывания истории». Характерным было заявление В. Л. Комарова — президента Академии наук — на заседании 13 февраля 1937 г., посвященном Пушкину, где он благодарил Красную Армию за то, что она держит фашистов в страхе: «Да здравствует Красная Армия, бойцы которой больше интересуются Пушкиным, чем им когда-либо интересовалась либеральная буржуазия прошлого, считавшая себя монополистом образованности!»⁵⁴ Интеллигенция как класс не подходила под традиционные марксистские категории и была с легкостью причислена к а priori ненавистной буржуазии, чьи эгоистичные экономические интересы перечеркивали любой положительный эффект, который могла бы иметь ее деятельность. Символично то, что Страстной монастырь был снесен, а Пушкинская площадь (названная так в 1931 г.) расширена. В это же время высеченные на пьедестале строки из стихотворения «Я памятник себе воздвиг...» в редакции Жуковского были заменены подлинными пушкинскими, и 10 февраля 1937 г. состоялось «как бы второе открытие памятника поэту».⁵⁵

Как бы ни казалось странным, но именно «сияющий образ» Пушкина был выбран образцом «нового советского человека». Примечательно, что Пушкинский год совпал с пиком показательных судебных процессов и репрессий против последних из оставшихся в живых представителей дореволюционной интеллигенции.⁵⁶ В известном смысле это были два дополняющих друг друга явления: в то время как на показательных судебных процессах создавался грандиозный образ «врага народа», Пушкин являл собой положительного героя. «Культ» Пушкина был, возможно, самым важным следствием юбилея 1837 г. «Известия» спрашивали своих читателей: «Чем нам дорог Пушкин?» и отвечали: «Ни одна черта в многогранности Пушкина не уходит из поля зрения советского читателя. Он видит дальше и глубже многих исследователей, многих записных критиков. Он отдает все должное Пушкину, создателю русского литературного языка, родоначальнику новой русской литературы, гению, обогатившему человечество бессмертными произведениями, но за всеми этими определениями советский человек ищет Пушкина — своего современника, ищет в Пушкине черты, которые жаждет видеть в самом себе, в повседневной жизни советского общества. (...) Советский читатель видит в Пушкине своего

согражданина, современника. Он не хочет воспринимать Пушкина как прошлое, как исторически прошедшее явление». ⁵⁷

В этой и множестве подобных статей 1937 г. Пушкин предстает полубогом — романтическим, внеисторическим и немарксистским типом героя. А в заключительных словах выступления поэта Николая Тихонова в Большом театре 10 февраля 1937 г. слышатся отголоски апокалиптической пушкинской речи Достоевского: «И когда мы окончательно победим во всем мире и все народы принесут на пир дружбы радостные имена своих гениальных поэтов и писателей, мы вспомним тебя, Пушкин, первым на всемирном нашем торжестве!» ⁵⁸

Пушкинская кампания 1949 года

Следующий большой пушкинский юбилей был в организационном отношении повторением торжеств 1937 г., а в идеологическом — неуклюжей попыткой привести Пушкина в соответствие с партийной линией. Юбилей 1949 г. отражал пропаганду патриотизма и идеи величия русского народа, развернутую во время войны, когда Пушкина стали упоминать изо дня в день как национального героя. Это празднование, возглавляемое А. А. Ждановым, как зеркало отражало послевоенное идеологическое наступление, сопровождавшееся антисемитской кампанией против «безродных космополитов» и новой волной репрессий. В 1949 г. процесс «советизации» Пушкина и утверждения монолитной социалистической культуры под его эгидой достиг, можно сказать, точки насыщения. В пропагандистской кампании, приуроченной к Пушкинскому юбилею 1949 г., беспрестанно раздавались гиперболические заявления о превосходстве русской культуры (например, Пушкина как первого и величайшего в мире писателя-«реалиста»), а также истерические «разоблачения» идеологических отщепенцев и двурушников. Прямое вмешательство партии в постановку задач пушкиноведения, начавшееся в 1930-х годах, вероятно, никогда не ощущалось столь сильно, как теперь, когда Сталин усиливал давление на советскую науку. Были учреждены ежегодные Всесоюзные пушкинские конференции. На Второй конференции 6 июня 1950 г. Н. Ф. Бельчиков в напыщенно-бюрократической манере напомнил собравшимся политические установки, которыми должна руководствоваться советская пушкини-

стика: «Исторические решения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, доклад тов. Жданова о журналах „Звезда“ и „Ленинград“, выступления партийной печати с разоблачением антипатриотической группы критиков-космополитов, оказав нецензурную помощь в борьбе с формализмом, космополитизмом, компаративизмом и другими идеалистическими взглядами на творчество Пушкина, направили нашу науку на верный и плодотворный путь изучения исторического своеобразия и независимости Пушкина от зарубежных воздействий». ⁵⁹

Пушкин должен быть «очищен» от чуждых идеологических наслоений и прославлен за принадлежность к великому русскому народу, который один на один мужественно противостоял немецкому вторжению. Упрощенное понимание взаимосвязей литературы и политики доходило до абсурда. Мрачной пародией на знаменитый сталинский лозунг может показаться заявление одного ученого о том, что «Пушкин не только догнал в своем литературном развитии, но и перегнал Западную Европу». ⁶⁰

Пропаганда Пушкина и его творчества также достигла немалых размеров. А. А. Фадеев, генеральный секретарь Союза писателей СССР и председатель Всесоюзного пушкинского комитета по проведению юбилея, заявил в докладе, с которым выступил в Большом театре, что «теперь в среднем каждая семья в нашей стране имеет произведения Пушкина». ⁶¹ Суммарный тираж сочинений Пушкина достиг в тот год 45 миллионов, а библиография юбилейного года насчитывает 500 страниц и более 3800 записей. ⁶² Она включает в себя: сочинения Пушкина, изданные на сорока четырех языках народов Советского Союза; множество статей, лекций, брошюр и очерков; стихи, романы, повести и пьесы на пушкинские темы или о самом Пушкине; постановки произведений Пушкина в театре, в кино и на радио, оперы, балеты, вокальные и инструментальные произведения; изображения Пушкина в скульптуре и живописи, политических карикатурах, графике и прикладном искусстве; иллюстрации к произведениям Пушкина и т. д. Юбилейные мероприятия — открытие памятников, выставки, конкурсы — проводились по всему СССР целый год. Пушкинские музеи были открыты в «городе-памятнике» Пушкине (бывшее Царское Село, переименованное в 1937 г.) и в Михайловском, где было восстановлено родовое имение Пушкиных, разрушенное фашистами.

Пушкин и пушкиноведение в послесталинское время

Как явление массовой культуры Пушкин и все с ним связанное, включая литературные торжества, оставался в Советском Союзе и остается в России центром неслабеющего внимания. Малая продолжительность жизни Пушкина (всего тридцать семь лет) явилась причиной относительной частоты «больших» («всесоюзных») юбилейных дат, которые отмечались в 1962 г. (125 лет со дня смерти), в 1974 г. (175 лет со дня рождения) и, наконец, в 1987 г. (150 лет со дня смерти). Ежегодно проводятся праздники поэзии (с 1966 г.) в день рождения Пушкина в Михайловском и чествования памяти поэта — в день смерти, в петербургской квартире, где он скончался. В 1949—1989 гг. проводились ежегодные научно-исследовательские Всесоюзные пушкинские конференции; каждый год по всей стране проходит множество «пушкинских» мероприятий. Со времен второй мировой войны возрастал интерес к «пушкинским местам», который привел, по выражению одного видного музейного работника, к пушкинскому «музейному буму» в шестидесятые и семидесятые годы.⁶³ Существует более двадцати пушкинских музеев и множество памятных мест, расположенных по всей России и в других республиках бывшего Советского Союза (Грузия, Армения, Молдавия, Украина); во многих из них регулярно отмечаются юбилейные даты. В 1962 г. суммарный тираж книг Пушкина, изданных на русском языке, превысил 87 миллионов, и примерно еще 10 миллионов составили переводы на шестьдесят девять языков народов бывшего Советского Союза. Литературовед В. С. Непомнящий, отмечая «стремительно нарастающий и ширящийся интерес к Пушкину», утверждал в 1974 г.: «Трудно найти издание — новую книгу, номер журнала или газеты, — имеющие отношение к вопросам искусства, литературы, культуры в целом, где бы не писали о Пушкине, не цитировали бы его, не выносили бы в эпиграф, не ссылались на его авторитет, где не мелькало бы, по крайней мере, его имя. Сочинений Пушкина найти в магазинах невозможно. Литература о нем стала предметом особого коллекционирования у многих библиофилов, чутких к веяниям времени. Новые работы пушкинистов — даже самые специальные — исчезают с прилавков, едва появившись на них.

На протяжении последних лет Пушкин все чаще и чаще становится героем и темой произведений, обращен-

ных к самой широкой аудитории: прозы, стихов, публицистики, концертной программы, писательского эссе, фильма, различных жанров „популярного пушкиноведения“, пьесы, спектакля. Без преувеличения можно сказать, что все это — по-настоящему массовый процесс...»⁶⁴

Однако за десятилетия после смерти Сталина литературные праздники перестали играть сколь-нибудь заметную политическую роль или оказывать ощутимое влияние на русскую литературную или интеллектуальную жизнь; у творческой интеллигенции развилось негативное отношение как к вульгарной политизации Пушкина, так и к разрушительной официальной «юбилейной культуре» в целом. Самые пагубные последствия сталинских празднований и насаждаемого ими отношения к литературе ощущались, пожалуй, именно в пушкиноведении. В беседе, состоявшейся в феврале 1987 г., заместитель директора Института мировой литературы имени Горького в Москве ностальгически говорил о юбилее 1937 г. как «о своего рода идеале», во-первых, потому что он показал, как Пушкин был созвучен чаяниям народа, а во-вторых, потому что это было время, когда исследованиям творчества Пушкина отводилась в государстве первостепенная роль и было положено начало ряду фундаментальных изданий, включая академическое полное собрание сочинений.⁶⁵ В то время как юбилей 1937 г. послужил становлению советского культа Пушкина, вмешательство политиков в пушкиноведение нанесло ему долговременный ущерб. «Юбилейное издание», к которому приступили в середине тридцатых годов, но завершили лишь в 1949 г., неоднократно приостанавливалось в результате изменений в составе редколлегии по политическим мотивам; препятствием служили периодические чистки Академии наук, жертвой которых стал один из главных редакторов (Ю. Г. Оксман).⁶⁶ Кроме того, решение не печатать комментарии, принятое после того как первый, пробный том подвергся суровой критике по политическим мотивам и был изъят из обращения, существенно снизило ценность издания. И многие другие важные научно-исследовательские работы, начатые в тридцатые годы, оставались (и по-прежнему остаются) незавершенными.⁶⁷

В 1957 г., незадолго до своей смерти, Б. В. Томашевский, один из лучших советских пушкинистов первого поколения, говорил о снижении уровня пушкиноведения в Советском Союзе. Он связывал это с упрощением Пушкина в последние годы сталинского времени, особенно в результате политической пропаганды 1949 г., которая

светла поэта до уровня формулы «патриот, демократ и реалист», основываясь на «общих местах, лукавых софизмах, обязательных цитатах». «Не им ли мы обязаны тем, что налет догматизма явно выступал на многих научных работах послевоенных лет и в атмосфере этого догматизма и цитатничества выращивалось поколение молодых ученых?»⁶⁸ Другой ученый в 1967 г. также критиковал так называемую литературу круглых дат, представлявшую творчество Пушкина и других писателей-классиков лишь как «механическое отражение передовых народных стремлений» и «подменявшую научно обоснованное освещение Пушкина юбилейным славословием, набором однотипных цитат, которые с одинаковым успехом применялись к творчеству любого из писателей прошлого, без всякого различия».⁶⁹ Он добавил, что отголоски этого все еще были слышны в конце шестидесятых годов.

Советское пушкиноведение действительно долгое время переживает глубокий кризис. Представляется весьма проблематичным, что переработанное академическое издание выйдет в срок к двухсотлетней годовщине Пушкина в 1999 г. Как указывало одно из ведущих литературных должностных лиц, Пушкинская группа Института русской литературы Академии наук, готовящая это издание, многие годы была «катастрофически малочисленной»; общепризнано, что для выполнения этой работы не хватает высококвалифицированных специалистов; некому составлять пушкинские библиографии, не издававшиеся с 1963 г.⁷⁰ Кроме того, широкий интерес ко всяческим мелочам в пушкиноведении, ставший (по выражению покойного Д. Д. Благого) «общенациональным занятием», равно как и непрерывный поток работ о жизни и творчестве Пушкина (во многих научное исследование подменяется публицистикой), создают огромные помехи, затуманывая реального, исторического Пушкина.

Пушкин в 1980-е годы. «Наша духовная опора»

В 1987 г. В. С. Непомнящий проанализировал двойственные следствия «канонизации» Пушкина, который в тридцатые годы стал «одной из краеугольных ценностей государственной культуры». С одной стороны, указывал он, Пушкин того времени отвечал потребностям революционного века, стал «неотъемлемой и необходимой при-

надлежностью <...> культурного обихода». В то же время, отмечал он, непрерывная политизация Пушкина, превратившая поэта в «прежде всего певца декабризма», привела к тому, что в начале послесталинского периода русская интеллигенция потеряла интерес к поэту: «Чем глубже внедрялась, чем ортодоксальнее проводилась эта концепция, тем более плоским и упрощенным представал поэт, тем скучнее становилось читать о нем (да и его самого), тем больше он походил на любого другого „великого писателя“ — „проводника“ каких-нибудь других „идей“, „выразителя“ каких-нибудь иных „тенденций“». ⁷¹ Необходимость что-то делать с «остатком» Пушкина, который не подходил под эту узкую концепцию, привела, по словам Непомнящего, к «довольно неестественному» и «вымученному симбиозу сильнейшей политизации с сильнейшим же эстетизмом». Все, что не умещалось в узкие рамки прогрессивных политических взглядов, «числилось по ведомству „художественного совершенства“, реалистической правдивости, психологической тонкости, гармонии и „мастерства“».

Этот дуализм, идущий явно от Белинского, по-прежнему сильно ощутим в современных взглядах на Пушкина, доказательством чему служат торжества 1987 г., хотя акцент теперь делается на духовном в отличие от политического, личном в отличие от социального и культурном в отличие от идеологического. В своей речи на открытии Пушкинских дней 1987 г. советский министр культуры В. Г. Захаров связал интерес общества к Пушкину с изменениями, происходившими в то время в стране: «Дни памяти Пушкина, которые торжественно идут по нашим городам и селам, органично близки утверждающейся в советском обществе атмосфере активных гражданских дел, широкой демократии, правды и гласности. Высочайший гуманизм его поэзии — наш верный союзник в сражении с духовной коррозией и косностью, за глубокое обновление всей нашей жизни». ⁷² Доклад Захарова отражал согласие с мнением, согласно которому с конца 1960-х годов русская интеллигенция «возвращалась к Пушкину» и к духовному наследию русских классиков, что можно назвать «духовной перестройкой». Некоторые критики даже утверждали, что обращение русской литературы в семидесятые и в начале восьмидесятых годов к проблемам нравственности, тесно связанное с возвратом к гуманистической традиции русских классиков, представляло собой своего рода прелюдию к перестройке. ⁷³

Однако духовное наследие Пушкина и классиков уже не вовлекается через интерпретацию в текущую политическую борьбу. В статье, написанной к юбилею 1987 г., поэт Александр Кушнер выступил против чрезмерно тяжелого бремени, которое политика традиционно возлагала на искусство в России: «Мы гордимся великой русской литературой XIX века, заменившей в России демократическую государственность, правовое сознание, политические свободы. Литература от этого выиграла, но жизнь проиграла.

Литература в России была всем, в том числе и парламентом. Западники и славянофилы — вот наши виги и тори, либералы и консерваторы. Страсть, пыл, обличительный пафос, доходящий на парламентских скамьях до драки, газетная перепалка, отражающая борьбу партий, — все это у нас разворачивалось в литературе. Отсюда в ней такая непримиримость, нетерпимость, которые возмущали уже Пушкина <...>

Впрочем, и литература кое-что на такой подмене теряла, впадая из-за нее в учительство, морализаторство, в гордые отказываясь от себя. <...>

Предшественником <тех, кто отвергал подобную назидательность. — М. Л.> <...> был Пушкин, в начале 20-х годов в споре с декабристами защищавший поэзию от морализаторских догм. „Цель поэзии — поэзия“. Искусство не думает о своей воспитательной функции, оно нравственно по самой своей природе <...>

Нелепо подменять литературой другие сферы общественной жизни, наступление на зло должно идти по всему фронту. Все это входит в понятие подлинной свободы». ⁷⁴

Точно так же, как защитники поэта в 1860-х годах старались показать односторонность взгляда Белинского на Пушкина как на «чистого художника», обращая внимание на гражданские, национальные и этические ценности в творчестве поэта, так и в современных работах прослеживается отчетливо выраженное стремление сосредоточиться на личных нравственных и духовных ценностях его поэзии и насаждать культ Пушкина на эстетических основаниях. Хотя сталинская интерпретация Пушкина как «певца декабристов» утратила свое значение, сопутствующий ей культ Пушкина вновь стал, какжется, утверждаться во всех слоях общества, распространяясь вглубь от ученых, писателей, интеллигенции и авангарда широких масс. Объясняя огромный, глубокий интерес, проявленный к Пушкину в 1987 г., поэт Глеб Горбовский писал, что «чувство <...> страшится всяческих кампаний, на которые в недавнем прошлом были мы столь горазды», но затем

«приходит спасительная мысль: любовь к Пушкину — не есть кампания! Это — мировоззрение наций, населяющих нашу страну. <...> Это еще и Любовь к выразителю чувств народных, к духовному Отцу, на которого можно опереться как на людскую, земных достоинств Истину. Пушкина можно исповедовать, положась на него как на Веру. Пушкин — категория духовная и одновременно абсолютно земная, то есть своя, доступная, осязаемая мыслью и телом».⁷⁵ Литература о Пушкине в 1987 г. полна подобных «исповеданий веры» и заявлений о том, что Пушкин и его произведения служат «духовной опорой» в этом бездушном мире, «защитой от бездуховности» и развращенности современной цивилизации. По мнению актера Михаила Ульянова, «обычному человеку, не гению, трудно, ему нужна опора, нужна вера. Пушкин и есть наша вера, прекрасная и светлая».⁷⁶ Александр Кушнер попытался объяснить особое отношение русских людей к Пушкину: «Однажды зимой в Святогорском монастыре у заснеженной могилы я испытал странное чувство. Мне было трудно, почти невозможно представить, что здесь лежит Пушкин. Как, здесь покоится его прах? Куда естественней было думать, что он — божество, воскресшее после смерти, взятое на небеса. Он растворен в воздухе, которым мы дышим. Он в хлебе, который мы едим, в вине, которое пьем. Разве его стихи стоят у нас на полке? Нет, они всегда с нами, растворены в нашей крови».⁷⁷

Вся современная культура представляется таинством, совершаемым перед алтарем Пушкина. Н. Н. Скатов, директор Пушкинского дома и пропагандист духовных ценностей русских классиков, считает, что «Пушкин — слово, которое давно уже перестало быть для нас только фамилией писателя, пусть великого, а стало обозначением чего-то такого, без чего самую жизнь нашу помыслить нельзя». Выступая на заседании, посвященном состоянию пушкиноведения, Н. Н. Скатов подчеркнул, что «перестройка как процесс обновления нашей духовной культуры остро нуждается в Пушкине».⁷⁸ По мнению писателя Сергея Залыгина, «пушкиноведение — это не только литературоведение, это — россиеведение, это — человековедение, это — история и футурология».⁷⁹ С. А. Фомичев, секретарь Пушкинской комиссии, отмечал в одном из интервью, что «через него <Пушкина. — М. Л.> проверяются и просматриваются все явления сегодняшней культуры»; интерес к нему возникает «не по указке свыше, а по велению сердца, от внутренней потребности, которая объединяет и охватывает всех».⁸⁰ В качестве примера того, что ранее

он назвал современным «пушкинским бумом», он привел планировавшееся тогда трехтомное издание поэта, которое должно было быть выпущено несслыханным тиражом 10,7 миллионов экземпляров.

Можно было бы привести десятки подобных заявлений о всеобъемлющем значении Пушкина в современной жизни России. Вместе с неиссякающим потоком Пушкинианы они, кажется, подтверждают мнение, согласно которому пушкинистика стала призмой, через которую можно рассматривать все аспекты русской культуры. Писатель Андрей Битов писал: «...уже не столько Пушкин — наш национальный поэт, — сколько отношение к Пушкину стало как бы национальной нашей чертой. Одно — что уже ни одна жизнь не обходится без его стихов, другое — поклонничество, чрезвычайно развитое. До страсти, до пристрастия, до сектантства. Есть пушкинисты, пушкиноведы, но есть и пушкинофилы, пушкинианцы-пушкинолюбы. <...> Если ругать Толстого — ничего, сойдет, даже прислушаются; если Пушкина — могут выцарапать глаза. <...> Не трожь святыню! Достоинство этой святыни в том, что ее никак не удастся ни скомпрометировать, ни раздуть, — она естественна, *принадлежна*».⁸¹ В докладе на юбилейной XXIX Пушкинской конференции С. А. Фомичев утверждал, что для проникновения в сложные причины того, что «Пушкин занял такое исключительное место в современной культуре», потребовались бы объединенные усилия «литературоведов, историков, искусствоведов, социологов и психологов». Обрисовывая некоторые из основных причин главенствующего положения Пушкина, он признал воздействие «целенаправленной идеологической пропаганды Пушкина», ведшейся на протяжении десятков лет, указал, что ее корни «уходят в пушкинские торжества 1880 года».⁸²

Духовный возврат к Пушкину стал и возвратом к Достоевскому и, в частности, к его пушкинской речи. Он сопровождался критической переоценкой критиков-публицистов, отцов-основателей социалистического реализма — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, в меньшей степени — Писарева, и реабилитацией Григорьева, Дружинина, Ходасевича и других ранее осуждавшихся «идеалистических» толкователей Пушкина. В пространной работе Владимира Седуро о реабилитации Достоевского в Советском Союзе, где имя писателя было практически предано анафеме при Сталине, указывалось, что «христианско-гуманистическое мировоззрение Достоевского <...> постепенно отвоевывает себе место в советской культуре как

великое гуманистическое наследство». ⁸³ Одним из главных элементов нового отношения к Достоевскому стала интерпретация его отношения к Пушкину не в свете христианства и не как политической программы, а как центрального момента в современном русском самосознании. ⁸⁴ В современных трудах о Пушкине вновь и вновь заявляют о том, что великим достижением Достоевского стало провозглашение поэта «знаменем, под которым должна развиваться не только русская литература, но и русское общественное самосознание». ⁸⁵

О Пушкинских торжествах 1880 г. исследователи вспоминают ныне не как о крупном политическом событии или празднике интеллигенции, но лишь в связи с пушкинской речью Достоевского, которая вновь рассматривается как ключевой момент в эволюции современного русского самосознания. Во многих из этих работ видно искреннее желание вернуться к живым ценностям прошлого, но в то же время досадное, а иногда и умышленное пренебрежение исторической точностью в поисках неколебимых «духовных опор». Одной из таких «опор», очевидно, является Пушкинский праздник 1880 г. Возврат к Пушкину в 1980-х годах, утверждал В. С. Непомнящий в книге изданной в 1983 г., — «это стократное эхо пушкинских торжеств 1880 года, вершиной которых была речь Достоевского». И он заключил: «Смею думать, что мы сейчас находимся на пороге очередного, нового исторического акта самосознания русской культуры, ее отчета перед своею совестью, определения ею своего дальнейшего пути, или — уже присутствуем при этом акте и участвуем в нем». ⁸⁶

ПРИМЕЧАНИЯ

Первый эпитафия приведен в переводе (с незначительными изменениями) В. В. Евгеньева (см.: Корабли мысли: Зарубежные писатели о книге, чтении, библиофилах: Рассказы, памфлеты, эссе/Сост. и послеслов. В. В. Кунина. М., 1980. С. 145—146). — *Ред.*

ВВЕДЕНИЕ

ПУШКИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В 1880 г.

И КРИЗИС РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

¹ Голос. 1880. 15 июня. № 164. С. 1; 19 июня. № 168. С. 1.

² Неделя. 1880. 25 мая. № 21. С. 651; 15 июня. № 24. С. 747.

³ Современные известия. 1880. 7 июня. № 155. С. 2; 11 июня. № 159. С. 2.

⁴ Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках по поводу открытия памятника Пушкину//Русский архив. 1891. Кн. 2. № 5. С. 91. На этой же странице находятся и приводимые далее (с. 75, 78) без ссылки цитаты из «Письма И. С. Аксакова».

⁵ Леонтьев К. Н. Катков и его враги на празднике Пушкина. I//Варшавский вестник. 1880. 15 июля. № 150. С. 3.

⁶ Большое число работ о торжествах 1769 г. вышло в свет во время Шекспировского юбилея 1964 г., например: Stockholm J. M. Garrick's Folly. New York, 1964; England M. W. Garrick's Jubilee. Columbus, Ohio, 1964; Deelman C. The Great Shakespeare Jubilee. London, 1964. Вывод, согласно которому традиция юбилеев восходит к 1769 г., сделан мною; в XIX в. русские обычно называли более хронологически близкие события этого рода (поздние шекспировские торжества и празднования в честь Мольера, Байрона, Шиллера и др.).

⁷ Михневич В. Пушкинский праздник//Новости. 1880. 13 июня. № 154. С. 2.

⁸ Автор монографии пользуется здесь и неоднократно далее понятием современной американской науки «intellectual life», являющимся близким соответствием часто употреблявшегося в русской публицистике 1870—1880-х годов словосочетания «умственная жизнь», которое подразумевало все аспекты деятельности и приложения сил интеллигенции (литературу, культуру, искусство, духовные, нравственные, политические искания и др.). В этом же смысле употребляется оно и в переводе, причем берется в кавычки. — *Ред.*

⁹ Это Карлейль говорил в третьей лекции «Герой-поэт» („The Hero as Poet“) книги «О героях, о култе героев и о героическом в истории» („On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History“); см.: The Works of Thomas Carlyle/Ed. H. D. Traill. London, 1898. Vol. 5. P. 114 (Centenary Edition).

¹⁰ См., например, отрицание существования русского общества в анонимной статье: Темы для разговора//Неделя. 1880. 19 апреля. № 16. С. 506—510.

¹¹ Употребляемые автором слова „the nation“ и „the people“ переводятся существительным «народ», которое в этих случаях имеет значение «население страны» (см.: Словарь современного русского литературного языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 7. С. 446—447), подразумевая, конечно, главным образом русских. В тех случаях, когда в английском тексте употреблено русское слово „the narod“, оно является почти всегда соответствием русского словосочетания «простой народ» (в богатом оттенками значении, которое оно имело в XIX в.) и в тех местах перевода, где может возникнуть неясность, им передается. — *Ред.*

¹² Цит. (с уточнениями) по: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. Изд. 3-е, просмотр. и доп. М.; Л., 1928. С. 326—327. Французский подлинник опубликован в первом издании книги П. Е. Щеголева (Пг., 1916. С. 192).

¹³ Сам Пушкин играл важную роль в становлении профессии независимого от меценатства писателя, зарабатывающего литературным трудом, и в формировании в России «европейского» рынка литературной продукции. См.: Гессен С. Я. Книгоиздатель Александр Пушкин: Литературные доходы Пушкина. Л., 1930 (факс. перензд. с прил. В. В. Кунина: М., 1987); Meunieux A. Pouchkine homme de lettres et la littérature professionnelle en Russie. Paris, 1966, и его же сопутствующий труд: La littérature et le métier d'écrivain en Russie avant Pouchkine. Paris, 1966; Todd W. M., III. Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative. Cambridge, Mass., 1986.

¹⁴ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 36. Близкие мысли Белинский высказывает в восьмой статье своего знаменитого цикла «Сочинения Александра Пушкина», где утверждает, что Пушкин

почти единственно создал и само русское общество (Там же. Т. 6. С. 371—377, *passim*).

¹⁵ Цит. по: Глинский Б. Б. Раздвоившаяся редакция «Москвитянина»//Ист. вестник. 1897. Т. 68. № 4. С. 244—245 (подлинник по-французски). Об «официальной народности» см.: Riasanovsky N. Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825—1855. Berkeley, Calif., 1959; Monas S. The Third Section: Police and Society in Russia under Nicholas I. Cambridge, Mass., 1961; Whittaker C. H. The Origins of Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1789—1855. DeKalb, Ill., 1984.

¹⁶ Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине//Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т. 6. С. 68. Хрестоматийная статья Гоголя стала и остается исходным печатным текстом, на который опирается культ Пушкина.

¹⁷ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым//Изд. под ред. К. Я. Грота. СПб., 1896. Т. 3. С. 320.

¹⁸ См. статьи: Malia M. What is the Intelligentsia?//The Russian Intelligentsia/Ed. R. Pipes. New York, 1961. P. 1—18; Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia//Ibid. P. 47—62. Аллен Макконнелл рассматривает распространение взглядов на интеллигенцию как историческое явление в статье: McConnell A. The Origin of the Russian Intelligentsia//Slavic and East European Journal. 1964. Vol. 8. No 1. P. 1—16. См. также: Pomper P. The Russian Revolutionary Intelligentsia. New York, 1970.

¹⁹ Писарев Д. И. Схоластика XIX века//Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 135.

²⁰ Однако Фредерик Ч. Баргорн приходит к заключению, что идеи Писарева «столь мало были годны для проведения в жизнь, что относятся более к мифотворчеству и фантазии, нежели принадлежат к области практической политической и общественной мысли». См.: Barghoorn F. C. Nihilism, Utopia, and Realism in the Thought of Pisarev//Russian Thought and Politics. s'Gravenhage, 1957. P. 227 (Harvard Slavic Studies. Vol. 4).

²¹ Здесь я имею в виду Бенкендорфа и Уварова; в сороковые годы существовали неофициальные приверженцы официальной народности, самый яркий из них — С. П. Шевырев, которые считали Пушкина своим.

²² См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)//Учен. зап./Тартуский гос. ун-т. — 1977. Вып. 414. Труды по русской и славянской философии. XXVIII. Литературоведение. С. 3—36.

²³ Русский философ Н. О. Лосский имеет в виду почти то же самое явление, когда в своей книге «Характер русского народа» (Франкфурт-на-Майне, 1957) говорит о «недостатке средней области культуры» (название гл. 9). Лотман и Успенский полагают, что источником двухполюсности русской культуры могло быть влияние манихейства на старую русскую культуру (см.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А.

Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры//Учен. зап./Тартуский гос. ун-т. — 1975. Вып. 358. Труды по русской и славянской филологии. XXIV. С. 173 (сноска 9).

²⁴ Буква [Василевский И. Ф.]. Наброски и недомолвки: Итоги московских «красных» дней//Молва. 1880. 15 июня. № 163. С. 1.

²⁵ Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация в России (конец 70-х — начало 80-х годов XIX века): Кризис правительственной политики. М., 1963. С. 3.

²⁶ См. письмо к М. М. Стасюлевичу от 21 апреля 1880 (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М., 1967. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 236).

²⁷ Русские ведомости. 1880. 6 июня. № 145. С. 1 (передовая).

²⁸ Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1897. Т. 4. Стлб. 912, 916.

²⁹ Там же. Стлб. 924.

³⁰ Об этом термине см.: Netting A. G. Russian Liberalism: The Years of Promise, 1842—1855. Unpublished Diss. Columbia University, 1967. P. 20—24; Todd W. M. Fiction and Society in the Age of Pushkin. P. 15—18, passim. О русском либерализме см. ниже, примеч. 39, и гл. 3, примеч. 3, 10.

³¹ О взглядах славянофилов на «общество» и «свободу слова» см.: Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840—1850-х гг. М.; Л., 1951. С. 337—404 (особенно с. 363); Lukashevich S. Ivan Aksakov (1823—1886): A Study in Russian Thought and Politics. Cambridge, Mass., 1965. P. 55—63; Christoff P. K. S. Aksakov: A Study in Ideas. Princeton, 1982. P. 162—164, 422—424; Walicki A. The Slavophile Controversy/Tr. by H. Andrews-Rusiecka. Oxford, 1975. P. 250—256, 271—272. Об особом отношении Достоевского и славянофилов к церкви см. гл. 5.

³² Вопрос о том, в какой степени Достоевский отождествлял реальное самодержавное «государство» и идеальный русский «народ», приобретает первостепенное значение при изучении политических взглядов писателя в системе его общего мировоззрения; этот вопрос освещен в гл. 5. Алан П. Поллард относит Достоевского к числу защитников самодержавия (см.: Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech and the Politics of the Right under the Dictatorship of the Heart//Canadian-American Slavic Studies. Summer 1983. Vol. 17. P. 222—256). См. также ниже, примеч. 37.

³³ М., 1882; переизд.: 1887. См.: Общество любителей российской словесности при Московском университете: Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911. С. 86.

³⁴ СПб., 1880 (далее сокращенно: Венок). Об авторстве см.: Общество любителей российской словесности... С. 84, сноска 1.

³⁵ См. также составленную В. И. Межовым общую библиографию „Pushkiniana“ (СПб., 1886). Пушкинскому празднику 1880 г. посвящены две небольшие работы советского времени: книга И. М. Суслова «Памятник А. С. Пушкину в Москве» (М., 1968), в которой освеща-

ется главным образом история самого памятника работы А. М. Опекушина, и брошюра к столетию торжеств, написанная директором Государственного музея А. С. Пушкина в Москве (Крейн А. З. Руковорный памятник. 1880—1980: К столетию открытия в Москве памятника Александру Сергеевичу Пушкину работы А. М. Опекушина. М., 1980). Об Опекушине см. ниже, гл. 2, примеч. 32, 33.

³⁶ Советская власть традиционно приписывала исключительно себе заслугу ликвидации в России неграмотности, однако, как показал Джеффри Брукс в своем фундаментальном исследовании «Когда Россия научилась читать» (Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861—1917. Princeton, 1985), процесс шел уже полным ходом задолго до революции, а советское государство на самом деле уничтожило в 1920-х годах богатую, процветавшую литературную культуру народа. Брукс публикует большой материал о росте грамотности в период, рассматриваемый в данной книге. Однако, с точки зрения данной книги, Брукс, как мне кажется, не проводит достаточно четкого различия между царствованиями Александра II и Александра III, а также между количественными и качественными изменениями на литературной сцене до и после периода, отмеченного Пушкинским праздником.

³⁷ О Тургеневе и Каткове см., например: Thaden E. C. Conservative Nihilism in Nineteenth-Century Russia. Seattle, 1964. P. 38. В другом месте этой книги автор, неправильно поняв статью К. Н. Леонтьева, пишет, что на праздновании выступал с речью К. П. Победоносцев (P. 171).

Единственным существенным исключением является упомянутая выше, в примеч. 32, статья Алана П. Полларда о пушкинской речи Достоевского. Как явствует из заглавия статьи, Поллард смотрит на эту эпоху и на торжества как на время, когда начал о себе заявлять «зародыш русского правого направления», которое он считает «порформенным явлением, возникшим в конце 1870-х годов в качестве реакции на русско-турецкую войну и революционное движение» (P. 238). Однако литературные и мировоззренческие корни правого движения уходят, совершенно очевидно, много глубже назад. См., например: Dowler W. The „Young Editors“ of *Moskovitianin* and the Origins of Intelligentsia Conservatism in Russia//Slavonic and East European Review. 1977. July. Vol. 55. No 3. P. 310—327. В статье Полларда содержится полезный обзор приготовлений на пути к Пушкинским торжествам и детально освещаются участие в них Достоевского, а также соперничество между Тургеневым и Достоевским. С этой статьей мне довелось познакомиться уже, к сожалению, на поздней стадии работы над моей книгой, тем не менее она помогла внести уточнения в мой анализ политических аспектов взглядов Достоевского, о чем идет речь в гл. 5, где рассматриваются и некоторые выводы Полларда.

³⁸ Raeff M. Some Reflections on Russian Liberalism//Russian Review. 1959. July. Vol. 18. No 3. P. 218, 226.

³⁹ См., в частности, работу А. Неттинга, указанную выше в примеч. 30; см. также: Russo P. A. „Golos“, 1878—1883: Profile of a Russian Newspaper. Diss. Columbia University, 1974; Offord D. Portraits of Early Russian Liberals. Cambridge, 1985. Примечательно, что «либеральный» «Голос» не употреблял этого слова для самохарактеристики. О проблеме определения значения термина «либерализм» см.: Russo P. A. Op. cit. P. 395—400.

⁴⁰ Благосветлов Г. Е. Ответ «С.-Петербургским ведомостям» на статью «Литературные впечатления», 1861, № 61//Северная пчела. 1861. 20 марта. № 63. С. 250.

⁴¹ [Михневич В. О.]. Пушкинский праздник//Новости. 1880. 13 июня. № 154. С. 1.

⁴² Еще несколько слов о Пушкинском празднике//Русский курьер. 1880. 1 июля. № 176. С. 3.

⁴³ Л. П. [Полонский Л. А.]. Два лагеря или — двадцать?//Страна. 1880. 3 апр. № 27. С. 2. В одной из передовых статей «Голоса» указывалось, что, по представлениям противников либерализма, т. е. второй из упомянутых групп, «с неограниченною монархией несомнительны ни свобода совести, ни самостоятельность церкви, ни независимость суда, ни свобода печати, ни свобода передвижения, ни равенство в податях, ни возможность защиты своего права»; они, продолжал автор передовицы, говорят: «От существующей формы правления России больше ждать нечего; пусть умолкнут всякие надежды, хотя бы самые законные» (Голос. 1880. 25 мая. № 144. С. 2). Далее оппозиция претерпевает изменение: противостояние двух сторон двухполюсной антитезы уступает место выбору между двухполюсной и тройственной (плюралистической) системами. Тройственная схема представляет собой совершенно новый тип диалога, который допускает «другие» мнения и должен, по крайней мере теоретически, выйти за пределы резкого распределения на крайности. На практике, однако, двухполюсная ментальность, воспринимающая все в свете определенных твердо усвоенных ценностей и превращающая любое несогласие в столкновение непримиримых врагов, вводит любую беседу в свои узкие рамки.

⁴⁴ Знамение времени: [Редакционная статья]//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 746.

⁴⁵ Политическое значение пушкинского праздника//Голос. 1880. 13 июня. № 162. С. 1.

⁴⁶ См.: Brooks J. Readers and Reading at the End of the Tsarist Era//Literature and Society in Imperial Russia, 1800—1914/Ed. W. M. Todd, III. Stanford, Calif., 1978. P. 97—150; Idem. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861—1917. Princeton, 1985.

⁴⁷ Brooks J. When Russia Learned to Read. P. 317. См. также его статью: Russian Nationalism and Russian Literature: The Canonization of the Classics//Nation and Ideology: Essays in Honor of Wayne S. Vu-

cinich/Ed. I. Banac, J. G. Ackerman, and R. Szporluk. Boulder, Colo., 1981. P. 315—334.

⁴⁸ Воскресные наброски//Голос. 1880. 15 июня. № 164. С. 1.

⁴⁹ Михневич В. О. Пушкинский праздник//Новости. 1880. 13 июня. № 154. С. 1.

⁵⁰ Голос. 1880. 11 июня. № 160. С. 1.

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПОЛЕМИКИ

¹ Пер.: общественное бедствие (*фр.*).— Письмо Д. В. Давыдова к Н. М. Языкову от 3 февраля 1837 (см.: Давыдов Д. В. Соч. 4-е изд. М., 1860. Т. 3. С. 157).

² Цит. по: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. Изд. 3-е, просмотр. и доп. М.; Л., 1928. С. 221.

³ Там же. С. 215—216. Хлопоты Жуковского о Карамзине подробно описаны в кн.: Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями. М., 1866. Ч. 2. С. 494—504. Именно Жуковский назвал Карамзина «ангелом» (с. 504). Сын Карамзина Андрей, получив за границей известие о смерти Пушкина, написал родным 12 февраля скорбное письмо, в котором спрашивал: «Не думают ли о памятнике?» (Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 годов/Под ред. Н. В. Измайлова. М.; Л., 1960. С. 399).

⁴ Анонимные письма, вызванная ими переписка и распоряжения Бенкендорфа и Николая I опубликованы в кн.: Поляков А. С. О смерти Пушкина (по новым данным). Пг., 1922. С. 36—43. Прусский посланник в Петербурге сообщал о подсчетах, согласно которым «со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь, в его доме перебивало до 50 000 лиц всех достояний», пришедших проститься с поэтом (Там же. С. 33—34; подлинник по-французски в кн.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Пг., 1916. С. 245). По этому поводу А. С. Поляков писал: «Для николаевского времени такое проявление общественного горя было событием удивительным, а с точки зрения охранителя государственного порядка и общественного спокойствия, каковым и был шеф жандармов, буквально опасным. III отделение вообще не выносило ничего, что выходило за пределы официально разрешаемого, и совершающегося без его ведома, хотя бы это было открытое поклонение пред талантом или интимная исповедь горячего сердца, болеющего о благе отечественном» (т. е. автора анонимных писем) (Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 32).

⁵ Там же. С. 46. (Подлинник по-французски).

⁶ Ныне существующий Исаакиевский собор в то время еще строился (освящен в 1858 г.), а этим именем называлась церковь в здании Адмиралтейства, прихожанином которой был Пушкин.— *Ред.*

⁷ Яшин М. Хроника преддвуэльных дней//Звезда. 1963. № 9. С. 166—187. По предположению М. Яшина, царь перенес отпевание в Конюшенную церковь потому, что там было бы удобнее подавлять уличные беспорядки (с. 187); из документов, публикуемых исследователем, видно, что по плану внезапного смотра около церкви должны были стоять войска.

⁸ Закончив просмотр переписки Пушкина, Жуковский написал Бенкендорфу (но, вероятно, не отправил) резкое письмо, которое противоречит многому из того, что говорилось в его известном письме С. Л. Пушкину о великодушии, проявленном царем по отношению к покойному. Жуковский выговаривал Бенкендорфу за установленный при жизни Пушкина «строгий, мучительный надзор» и высказал свою обиду по поводу мер, принятых после смерти поэта. Он советовал полиции «не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом, не производить самой того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. С. 257).

⁹ Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 42.

¹⁰ Хотя Пушкин последовательно отстаивал свою независимость как писателя, попытки изложить его взгляды политическим языком более позднего времени чаще всего приводят к печальному анахронизму. Вопрос о политических взглядах Пушкина очень запутанный не только вследствие множественности их интерпретаций (Пушкин — монархист, декабрист, защитник или хулигатель православия, аристократ, коммунист и пр.), но и потому, что поэт был глубоким мыслителем, жившим в особо сложное время. Современное состояние вопроса освещается в статье: Driver S. Puškin and Politics: The Later Works//Slavic and East European Journal. 1981. Vol. 25. No 3. P. 1—23; в другой статье того же исследователя (The Dandy in Puškin//Ibid. 1985. Vol. 2. No 3. P. 243—257) разбираются политические аспекты дендизма Пушкина.

¹¹ Литературное приложение к «Русскому инвалиду». 1837. 30 янв. № 5. С. 48. Долгое время автором считался сам А. А. Краевский; Р. Б. Заборова, вслед за П. Н. Сакулиным, предположила, что некролог был написан В. Ф. Одоевским (Заборова Р. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине//Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 320—324). Эта точка зрения нашла подтверждение в опубликованной в 1960 г. переписке семьи Карамзиных (см.: Пушкин в письмах Карамзиных. С. 176, 396).

¹² О кампании, развернутой цензурой против Пушкина, см.: Никитенко А. В. Дневник/Подгот. текста, примеч. и вступ. ст. И. Я. Айзенштока. М., 1955. Т. 1. С. 195—197. Неофициальные отклики на смерть Пушкина сохранились в огромном количестве дневниковых записей, воспоминаний, писем, стихотворений (из числа последних самым знаменитым было стихотворение М. Ю. Лермонтова «На смерть Поэта», за которое автор был сослан на Кавказ). См., например: Пушкин

кин в неизданной переписке современников, 1815—1837//Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 3—154; Иезуитова Р. В. Эволюция образа Пушкина в русской поэзии XIX века//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5. С. 113—139; а также соответствующие библиографии пушкинианы.

¹³ Русская старина. 1880. Т. 28. № 7. С. 536—537. Этот выговор Краевскому часто цитировался в газетах 1880 года. Ср. также редакционную заметку (с. 503), в которой перечислены и поставлены в связь с Пушкинским праздником последние публикации журнала о Пушкине. Среди других важных документов, прояснявших позицию Пушкина, были преданы гласности его переписка с Бенкендорфом, опубликованная в «Русской старине» в 1874 г. (те самые письма, которые привели в ярость Жуковского), и бумаги из Остафьевского архива Вяземских, опубликованные отдельно книгой в 1880 г. и привлечшие к себе широкое внимание. См.: „Pushkiniana“ В. И. Межова, № 411, 761.

¹⁴ Так о нем говорилось в статье: Внутреннее обозрение//Русская мысль. 1880. Кн. 5. С. 26 (отд. паг.).

¹⁵ См., например, неотправленное письмо Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. о «Философских письмах» последнего. Возражая против тезиса Чаадаева об «историческом ничтожестве» России, он тем не менее согласился с ним в том, «что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству, — поистине могут привести в отчаяние» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1979. Т. 10. С. 465; подлинник по-французски).

Вяземский увидел в «народной скорби» по поводу смерти Пушкина «самое красноречивое опровержение знаменитого письма Чаадаева» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 265). Несколькими годами позже маркиз де Кюстин, в подтверждение мысли об отсутствии «возможности русской цивилизации» (как выразился его петербургский собеседник-француз, неверно изложивший многие факты), рассказал об отношении Николая I к покойному Пушкину и о ссылке на Кавказ Лермонтова за стихотворение «На смерть Поэта». См.: Custine A., de. La Russie en 1839. 2d éd., rev., corr. et augm. Paris, 1843. Т. 2. P. 227.

¹⁶ Стоюнин В. Я. Исторические сочинения. СПб., 1881. Т. 2. С. 342—343 (первоначально: Исторический вестник. 1880. № 6. С. 217—254; № 7. С. 435—458; № 8. С. 615—666; № 10. С. 254—281; № 12. С. 679—748). О Стоюнине см.: Роткевич Я. А. Очерки по истории преподавания литературы в русской школе//Известия АПН РСФСР. М., 1953. Вып. 50. С. 309—340. История биографий Пушкина освещена Я. Л. Левкович в коллективном труде: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 249—302. Я. Л. Левкович называет труд В. Я. Стоюнина «значительным вкладом в историю пушкинской биографии» (с. 272).

¹⁷ Страхов Н. Н. По поводу отрицания авторитетов: Несколько запоздалых слов о Пушкине//Отечественные записки. 1866. № 1. С. 117—127.

¹⁸ Мимоходом//Молва. 1880. 6 июня. № 155. С. 1; Голос. 1880. 13 июня. № 162. С. 1 (редакционная статья).

¹⁹ Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. СПб., 1881. Т. 3. С. 266—267. О взгляде Анненкова на Пушкина как на «либерального консерватора» см. ниже, примеч. 46 к гл. 4.

²⁰ Чествование памяти Пушкина в Петербурге//Молва. 1880. 8 июня. № 157. С. 2.

²¹ О деятельности опеки см.: Архив опеки Пушкина/Ред. и коммент. П. С. Попова. М., 1939 (Летописи Государственного литературного музея. Кн. 5); Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. Ч. 3; Цявловский М. А. Новые материалы для биографии Пушкина//Звенья. М., 1951. Т. 9. С. 180—183.

²² Сведения о результатах подписки в Черниговской и Казанской губерниях приведены в статьях: Модзалевский В. Подписка на сочинения Пушкина в Черниговской губернии в 1837 году//Пушкин и его современники. 1913. Вып. XVII—XVIII. С. 270—276; Петровский Н. К истории распространения сочинений Пушкина//Там же. 1927. Вып. XXXI—XXXII. С. 149—150.

²³ См.: Муратов М. В. Книжное дело в России в XIX и XX веках. М.; Л., 1931. С. 76. Автор ошибочно назвал тираж «Сочинений» Пушкина 5000 экземпляров.

²⁴ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 492 (конец одиннадцатой статьи). В 1880 г. многие из писавших о Пушкине сознавали, что в этой области почти ничего не изменилось, и выражали недоумение по поводу того, что при всем ажиотаже вокруг поэта так и не вышло «порядочного» — или хотя бы общедоступного — собрания его сочинений. В действительности, сочинения Пушкина стали к этому времени библиографической редкостью. В. П. Острогорский назвал национальным «позором», «унижением нашей родины» то обстоятельство, что «уже около года ни в Петербурге, ни в Москве нельзя (было) купить Пушкина ни за какие деньги» (Острогорский В. В виду ожидаемого открытия памятника Пушкину//Новое время. 1879. 7 сент. № 1266. С. 3). Исключительное право на сочинения Пушкина принадлежало книгопродавцу и издателю Л. А. Исакову, и выпущенное им собрание в шести томах, выходявших с нерегулярными интервалами на протяжении 1880 г., было лишь четвертым изданием полного собрания сочинений за прошедшие после смерти поэта 43 года.

²⁵ В редакции Жуковского строки из этого стихотворения были высечены на пьедестале памятника Пушкину в Москве. Авторскую редакцию впервые обнародовал П. И. Бартенов, процитировав ее в своей речи 8 июня 1880 г. (Русский архив. 1880. Кн. 2. С. 485—487) и напечатав в следующем году (О стихотворении Пушкина «Памятник»//

Там же. 1881. Кн. 1. С. 233—237). Однако надпись на пьедестале была изменена лишь в 1937 г.

²⁶ См.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения. Л., 1967. В этой фундаментальной монографии стихотворение Пушкина анализируется в контексте предшествовавших ему и следовавших за ним переводов и переложений горацианского прототипа.

²⁷ Там же. С. 3—4. Анализируя стихотворение и говоря о читательском его восприятии, А. Битов приводит широко распространенный взгляд, согласно которому «„Памятник“ — это генерал, фельдмаршал, главнокомандующий над всеми стихами Пушкина» (Битов А. Г. Статьи из романа. М., 1986. С. 260).

²⁸ В разборе стихотворения я следую превосходной статье П. Н. Сакулина «Памятник нерукотворный» (в кн.: Пушкин/Ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924. Сб. 1. С. 31—76; приводимые цитаты — на с. 49), в которой «традиционное» прочтение стихотворения противопоставляется точке зрения М. О. Гершензона, утверждавшего в своей книге «Мудрость Пушкина» (М., 1919), что стихотворение проникнуто авторской иронией.

²⁹ См. разбор Уолтером Ангом оды Горация „Exegi monumentum“ с точки зрения дихотомии восприятия на слух неграмотного человека и восприятия через чтение (в кн.: Ong W. J. Interfaces of the Word. Ithaca. N. Y., 1977. P. 237—238), а также: Мейлах Б. С. Пушкин в восприятии и сознании дореволюционного крестьянства//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5. С. 81, 83, 101. Высокая, библейская лексика пушкинского стихотворения усиливает иконные черты образа Пушкина. «Нерукотворными» назывались традиционно многие русские иконы, эпитет передавал их неземную, богоданную сущность.

³⁰ Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 6. С. 250.

³¹ В пятой статье о Пушкине Белинский писал: «Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнью всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего» (Там же. С. 287).

³² Споры о Пушкине, занимавшие очень важное место в литературной жизни 1860-х годов, заслуживают отдельного исследования В составленной В. И. Межовым библиографии посвященных Пушкину работ, вышедших в XIX в. (Pushkiniana. СПб., 1886), этот период отражен с существенными пропусками. О полемике написано много, однако до сих пор не существует непредубежденного обзора отдельных ее составляющих и взаимодействия между ними. Работы советских ученых страдают односторонностью, выражающейся в преувеличенной оценке позиции радикалов, хотя постепенно переиздаются и реабилитируются и «забытые» критики. Общие обзоры см.: Трубачев С. С.

Пушкин в русской критике 1820—1880. СПб., 1889; Благой Д. Д. Критика о Пушкине//Путеводитель по Пушкину. М.; Л., 1931. С. 199—203; Пушкин: Итоги и проблемы. М.; Л., 1966. С. 50—77 (авторы: В. Б. Сандомирская и Б. П. Городецкий). См. также: Terras V. Some Observations on Pushkin's Image in Russian Literature//Russian Literature. [North Holland], 1983. Vol. 14. P. 299—316.

³³ В подлиннике здесь и далее автор употребляет словосочетание „social critics“, имея в виду литературных критиков, писавших на острые, злободневные общественно-политические темы, и не желая пользоваться привычным в советском литературоведении понятием «революционные демократы». — *Ред.*

³⁴ Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений//Собр. соч. СПб., 1895. Т. 7. С. 32. Лучшая работа о критическом наследии А. В. Дружинина: Schulak H. S. Aleksandr Družinin and His Place in Russian Criticism. Diss., Univ of California at Berkeley, 1967; см. с. 32, 152—158.

³⁵ Гымалэ [Волков Ю. А.]. Литературные впечатления//Санкт-Петербургские ведомости. 1861. 16 марта. № 61. С. 332. Статья С. С. Дудышкина «Пушкин — народный поэт» появилась в «Отечественных записках» (1860. Т. 129. № 4. Отд. III. С. 57—74). Позднее Волков предложил называть движение «дельным» или «научающим». См. его статью: Литературные впечатления//Санкт-Петербургские ведомости. 1861. 3 мая. № 96. С. 549. Подпись: Гымале.

³⁶ К. В. [Варнек К. А.]. По поводу статьи «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности»//Русский инвалид. 1861. 3 мая. № 95. С. 387.

³⁷ О Писареве см.: Coquart A. Dmitri Pisarev (1840—1868) et l'idéologie du nihilisme russe. Paris, 1946; Плоткин Л. А. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. М.; Л., 1945. Он же. Д. И. Писарев: Жизнь и деятельность. М.; Л., 1962; Forsyth J. Pisarev, Belinsky and „Yevgeniy Onegin“//Slavonic and East European Review. 1970. Vol. 48. P. 163—180; Конкин С. С. Пушкин в критике Писарева//Русская литература. 1972. № 4. С. 50—74.

³⁸ Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 357.

³⁹ Благой Д. Д. Критика о Пушкине. С. 204.

⁴⁰ Суждения Писарева о Пушкине ставили в крайне затруднительное положение русских критиков-публицистов и литературоведов последующих, вплоть до нынешнего, поколений, которые временами пытались либо их игнорировать, либо от них отмахнуться поверхностными объяснениями. Например, А. Н. Пыпин, упомянув «единственную в своем роде филиппику Д. И. Писарева», заметил (без указания, впрочем, источника), что автор ее «впоследствии (...) сам, говорят, осуждал» (Пыпин А. Н. История русской литературы. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб., 1903. Т. 4. С. 416—417). В новейшем изданном в СССР собрании критических статей Писарева опущена его самая, вероятно, знаменитая статья «Пушкин и Белинский». См.: Писа-

рев Д. И. Литературная критика: В 3 т./Примеч. Ю. С. Сорокина. Л., 1981.

⁴¹ См. выше, примеч. 19 к «Введению».

⁴² Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 1. С. 97—98; Т. 3. С. 109.

⁴³ Домашняя беседа. 1860. 9 июля. № 28. С. 349—355. О Пушкине Аскоченский говорит, что этот «кумир, которому поклоняются многие и весьма многие», сделан «не из чистого золота, а из глины» (с. 353). Аскоченский, как позднее и Писарев, сочетал отрицание Пушкина с критикою суждений о нем Белинского.

⁴⁴ Григорьев А. А. Соч./Изд. Н. Н. Страхова. СПб., 1876. Т. 1. С. 624, 238. О Григорьеве см.: Whittaker R. T., Jr. Apollon Aleksandrovič Grigor'ev and the Evolution of „Organic Criticism“. Diss., Indiana Univ., 1970; и работы, указанные ниже, в примеч. 37 к гл. 5.

⁴⁵ Coquart A. Dmitri Pisarev... P. 263.

⁴⁶ [Катков М. Н.]. Литературное обозрение и заметки//Русский вестник. 1861. Т. 33. № 6. Отд. II. С. 157.

⁴⁷ Ахшарумов Н. Д. О порабощении искусства//Отечественные записки. 1858. Т. 119. № 7. С. 323. Друг Писарева А. М. Скабичевский также пытался представить нигилистический экстремизм следствием низкой культуры читательской аудитории. Скабичевский, сам заигрывавший с радикализмом, а позднее занявшийся популяризацией Пушкина, утверждал, что «большинство (...) читающей публики далеко еще не доросло до (...) солидных писателей, и Писарев ему совершенно по плечу, тем более, что это большинство переживает еще тот период развития, который главным образом отражается в сочинениях Писарева». Подобно этой публике, Писарев был «крайне неразвитой» (Скабичевский А. М. Дмитрий Иванович Писарев: (Его критическая деятельность в связи с характером его умственного развития): Статья первая//Отечественные записки. 1869. Т. 182. № 1. Отд. II. С. 43, 47).

⁴⁸ Крестовый поход наших передовых журналов на Пушкина//Свечеч. 1860. № 8. Отд. III. С. 4.

⁴⁹ Благосветлов Г. Е. Ответ «С.-Петербургским ведомостям» на статью «Литературные впечатления», 1861, № 61//Северная пчела. 1861. 20 марта. № 63. С. 250.

⁵⁰ Лонгинов М. Н. Что значит «договориться?»//Современная летопись. 1865. Авг. № 32. С. 10.

⁵¹ Объяснив успехи нигилизма отсутствием свободы слова, Лонгинов тем не менее показал себя очень консервативным в должности главного цензора, которую он занимал с 1871 г. и до смерти (1875).

⁵² Крестовый поход наших передовых журналов на Пушкина//Свечеч. 1860. № 8. Отд. III. С. 7.

⁵³ Соханская Н. Степной цветок на могилу Пушкина//Русская беседа. 1859. Кн. 17. № 5. Отд. III. С. 55—57 [175—177]. Двумя годами ранее Соханская послала статью в какой-то не названный ею «петербургский журнал», который ее не принял. В добавленном при публи-

кации введении писательница сердито выговаривала тем, кто не принял ее статьи.

⁵⁴ Например, Екатерина II приурочила в 1782 г. открытие знаменитой статуи Петра Великого работы Фальконе («Медного всадника») к двадцатилетию своего царствования и придала ему характер широкомасштабного политического события. Церемония состоялась при большом стечении зрителей и включала в себя военную флотилию на Неве, ружейный и артиллерийский салюты, парад. См.: Зарецкая З. В. Фальконе. Л.; М., [1965]. С. 34—35. Открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в 1818 г. также было организовано как демонстративный политический акт. Об истории национальных памятников см.: Pevsner N. A History of Building Types. Princeton, 1977. Chap. 1.

⁵⁵ Одним из самых широко организованных торжеств было празднование в 1872 г. двухсотлетней годовщины рождения Петра Великого. См.: Межов В. И. Юбилей Петра Великого: Библиогр. указ. литературы петровского юбилея 1872 г. с прибавлением книг и статей о Петре I вообще, явившихся в свет с 1865 г. по 1876 г. включительно. СПб., 1881.

⁵⁶ Так обстояло дело до 1850-х годов, когда организацию подобных торжеств приняло на себя Общество любителей российской словесности (о чем см. гл. 2). См., например, воспоминания И. И. Панаева о юбилее И. А. Крылова 2 февраля 1838 г. Свои указания касательно его организации дали и Бенкендорф, и Уваров, и сам Николай I (Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 85—87; в примечании на с. 375—376 И. Г. Ямпольский приводит литературу вопроса).

⁵⁷ Например, согласно «Современной летописи» (1865. Май. № 16), средства на памятник Ломоносову в Архангельске, сооруженный не ранее 1838 г., сложились из пожертвований 5000 руб. от Николая I, 1000 руб. от Академии наук, 2000 руб. от графа Воронцова, 1000 руб. от родственницы Ломоносова С. Раевской и др. Местный епископ Неофит организовал подписку на памятник и собрал среди местных жителей 2000 руб. Предложение о памятнике Карамзину было выдвинуто симбирским дворянством и поддержано царем. См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891—1894. Т. 4. С. 151—152; Т. 8. С. 180—201.

⁵⁸ Барсуков Н. П. Указ. соч. Т. 8. С. 181.

⁵⁹ См.: Межов В. И. Юбилей Ломоносова, Карамзина и Крылова: Библиогр. указ. книг и статей, вышедших по поводу этих юбилеев. СПб., 1871 (редкая книга, изданная тиражом 100 экземпляров; имеется в Российской государственной библиотеке); Пономарев С. И. Материалы для библиографии литературы о Ломоносове//Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1872. Т. 8. № 2.

⁶⁰ Московская жизнь: (Письма к редактору)//Голос. 1867. 6 янв. № 6. Подпись: Псевдоним. Карамзинский юбилей отмечался также

в Симбирске, Киеве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах, в университетах и нескольких гимназиях.

⁶¹ По окончании Лицея в 1817 г. Пушкин был определен в Министерство иностранных дел и числился в его штате на всем протяжении южной ссылки, получая от него денежное довольствие. В 1831 г. Пушкин вернулся в Министерство в связи с предложением Николая I пользоваться архивом этого ведомства в работе над историей Петра Великого.

⁶² РГАЛИ, ф. 384, оп. 1, д. 102.

⁶³ Через несколько лет, в 1864 г., Ковалевский в качестве председателя Литературного фонда ходатайствовал перед Министерством двора о разрешении праздновать трехсотлетний юбилей Шекспира в Императорском Большом театре, но Александр II счел «неуместным» «учредить юбилейное торжество в память рождения иноземца, хотя и великого поэта, при непосредственном участии и как бы по вызову правительства» (Шекспир и русская культура/Под ред. М. П. Алексева. М.; Л., 1965. С. 411).

⁶⁴ Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 128.

⁶⁵ По иронии судьбы Горчаков, умерший в 1883 г., был последним оставшимся в живых «первенцем» Лицея, ответом на вопрос, заданный Пушкиным в 1825 г. в стихотворении «19 октября»:

Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

⁶⁶ Однако они не посещали занятий из-за напряжения международных отношений и ожидания войны с Наполеоном (Томашевский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1 (1813—1824). С. 11). Кроме монографии Б. В. Томашевского, основные работы о Лице: Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники: Статьи и материалы. 2-е изд. СПб., 1899; Селезнев И. Исторический очерк имп. бывшего Царскосельского, ныне Александровского лицея. СПб., 1861; Кобеко Д. Ф. Имп. Царскосельский лицей: Наставники и питомцы, 1811—1843. СПб., 1911; Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811—1817). СПб., 1911; Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицей: Материалы для словаря лицейстов 1-го курса 1811—1817 гг. СПб., 1912—1913. Т. 1—3.

⁶⁷ Первая цитата приведена из кн.: Памятная книжка имп. Александровского лицея, на 1886 год. СПб., 1886. С. XV; вторая из кн.: Кобеко Д. Ф. Указ. соч. С. 101.

⁶⁸ Б. С. Мейлах называет, не без преувеличения, «усмиренный» Лицей «настоящей тюрьмой» (Мейлах Б. С. Указ. соч. С. 153). Николай I заявил, что «ученики, подобные выпущенным во вкусе Энгельгардта, не будут более выходить из Лицея» (Кобеко Д. Ф. Указ. соч. С. 272). Для самого Энгельгардта увольнение стало личной трагедией, потому что, как он писал, «Лицей был предметом жизни моей» (Там же. С. 155). Он поддерживал связь со многими своими бывшими воспи-

танниками, в том числе со ссыльными Пушным и Кюхельбекером. Именно Энгельгардт был организатором первых лицейских годовщин, которые проходили в 1818—1821 гг. в Царском Селе, а после его отставки в его петербургском доме (см.: Грот Я. К. Указ. соч. С. 81—86).

⁶⁹ Селезнев И. Пятидесятилетие IV отделения Собственной е. и. в. канцелярии. СПб., 1878.

⁷⁰ О принце Ольденбургском см.: Энциклопедический словарь/Издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1899. Т. 21. [Полутом 42]. С. 914—916; Палков А. Жизнь и труды принца Петра Георгиевича Ольденбургского. СПб., 1885; Селезнев И. Пятидесятилетие IV отделения. . ., passim; Памятная книжка Александровского лицея, на 1886 год. СПб., 1886. С. 50—56.

⁷¹ Селезнев И. Пятидесятилетие IV отделения. . . С. 444.

⁷² Письмо от принца Ольденбургского в Министерство финансов от 13 марта 1861. — РГИА, ф. 565, оп. 4, д. 14242, л. 11.

⁷³ См., например, редакционную статью в газете «Голос» (1880. 13 июня. № 162. С. 1) и речь Я. К. Грота, цитируемую в кн.: Венок. СПб., 1880. С. 204. В брошюре о Пушкинском празднике, во многом тенденциозной, А. З. Крейн, стараясь показать непримиримую вражду царизма по отношению к Пушкину, утверждает, что правительство «не пожелало выделить ни копейки» (Крейн А. З. Рукотворный памятник, 1880—1980. М., 1980. С. 7); однако вопрос о финансировании правительством памятника никогда не ставился — напротив, именно то обстоятельство, что сооружение памятника было «исключительно частным» и общественным предприятием, составляло предмет гордости его организаторов, служило доказательством способности русского общества к самостоятельному действию.

⁷⁴ РГАЛИ, ф. 384, д. 103 (копия с оригинала в Горьковском краевом архиве, оп. 131).

⁷⁵ О переводе денег, которые будут пожертвованные, по подписке, на сооружение памятника поэту А. Пушкину, 20 ноября 1860 — 3 июня 1870. — РГИА, ф. 565, оп. 4, ед. хр. 14242, № 19/631.

⁷⁶ Согласно цитированным выше делам Министерства финансов, ежемесячные поступления из губерний составляли:

Дата поступления	Сумма	Число губерний	Лист архивного дела
7 июля 1861	2593 руб. 68 коп.	26	л. 74
9 июля 1861	3229 руб. 34 коп.	22	л. 116
11 ноября 1861	2422 руб. 32 $\frac{1}{2}$ коп.	24	л. 162
7 февраля 1862	1442 руб. 13 $\frac{1}{2}$ коп.	24	л. 205
30 марта 1862	514 руб. 40 коп.	21	л. 238—239
21 июля 1862	890 руб. 21 коп.	20	л. 279—280

30 октября 1862	411 руб. 80 $\frac{3}{4}$ коп.	11	л. 303—304
25 января 1863	246 руб. 14 коп.	10	л. 325—326
15 июня 1863	182 руб. 11 коп.	10	л. 342—343
13 августа 1863	75 руб. 11 коп.	3	л. 347—348
10 октября 1863	1073 руб. 95 $\frac{1}{4}$ коп.	4	л. 359—360
10 февраля 1864	29 руб. 95 коп.	1	л. 369—370
29 октября 1864	182 руб. 15 коп.	6	л. 393
19 марта 1865	218 руб. 19 коп.	?	л. 411

Кажется странным, что Московская губерния не значится среди приславших эти пожертвования; может быть, этим объясняется тот факт, что она занимала видное место в возобновленной подписке 1870-х годов.

⁷⁷ Наше житье-бытье//Петербургский листок. 1866. 17 июля. № 105. С. 2.

⁷⁸ Ответ на вопрос № 2-й, помещенный в фельетоне «Петербургского листка», № 105//Там же. 6 августа. № 114. С. 2. Подпись:р. р. р.

⁷⁹ Несколько слов о памятнике Пушкину//Санкт-Петербургские ведомости. 1871. 5 мая. № 122. С. 1.

⁸⁰ Документы об этом любопытном эпизоде в истории памятника Пушкину находятся в фонде Академии художеств в РГИА (ф. 789, оп. 3, ед. хр. 156 «О памятнике Пушкину», 1861).

⁸¹ Селезнев И. Пятидесятилетие IV отделения. . . С. 444—445. Деньги были выплачены из этого фонда потому, что принц Ольденбургский отнес их к расходам по неосуществленному проекту, заказанному для Лицея.

2

ТЕ, КТО НЕ ДАВАЛ ОГНЮ УГАСНУТЬ: ПУТЬ К ПАМЯТНИКУ, 1869—1880

¹ О возобновлении подписки на памятник Пушкину (от высочайше учрежденного комитета)//Санкт-Петербургские ведомости. 1871. 17 апр. № 104. С. 4.

² РГАЛИ, ф. 123, оп. 1, д. 10; цитата из «Книжки для сбора пожертвований на сооружение памятника Пушкину. С. Петербург. 1871».

³ См. работы, указанные выше в примеч. 66 к гл. 1, а также: Грот К. К. Празднование лицейских годовщин. СПб., 1909. О лицейском культе см.: Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. Гл. 1—4 (особенно с. 14—15); Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 158—167 и по указат. (на фамилию «Грот»).

⁴ А. Д. Комовский вспоминал, что лицеисты шестого выпуска регулярно, в течение нескольких лет по окончании Лицея, собирались для

празднования «святого дня» основания их учебного заведения. Затем после многолетнего перерыва, в 1859 г., К. К. Грот и лицеист седьмого выпуска Д. Д. Мертваго организовали совместную встречу шестого и седьмого выпусков. Когда она закончилась, эта маленькая группа присоединилась к пятому выпуску, который собрался в том же ресторане. В дальнейшем эти три выпуска объединились. См.: Кобеко Д. Ф. Имп. Царскосельский лицей. С. 473—475; выдержки из дневника Д. А. Комовского были первоначально опубликованы в журн.: Колосья. 1884. № 4. С. 54—55.

⁵ Протоколы собраний, цитируемые здесь и ниже, велись с 1865 г. главным образом «постоянным секретарем» группы К. К. Гротом. Они хранятся в РГАЛИ, ф. 123, оп. 1, ед. хр. 7.

⁶ См. список его работ в кн.: Я. К. Грот: Несколько данных к его биографии и характеристике. СПб., 1895. Я. К. Грот сам писал сентиментальные стихотворения о Лицее (см. с. 135—137, 139).

⁷ Грот Я. К. Автограф Пушкина//Известия Второго отд. имп. Академии наук. 1857. Т. 6. Вып. 4. С. 326—336.

⁸ О «лицейской теме» в стихотворениях Пушкина см.: Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. С. 157—168; Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. Гл. 1.

⁹ О печатной истории стихотворения см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [Л.; М.]: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 2. Кн. 2. С. 1168—1169.

¹⁰ Различие Ф. Н. Аннецкий проводит между «Царскосельским лицеем» и «Александровским лицеем» в Петербурге. См. дневник А. Д. Комовского, цитируемый в кн.: Кобеко Д. Ф. Имп. Царскосельский лицей. С. 474.

¹¹ Не следует придавать слишком большого значения политическому аспекту встреч лицейстов, хотя, как видно из цитированных речей, он, безусловно, присутствовал. Б. С. Мейлах подчеркивает, что Я. К. Грот «особенно заботился о том, чтобы „лицейский культ“ (<...> лишить какой-либо политической окраски, и рассматривал его как идиллически-сентиментальное содружество людей, связь которых заключалась лишь в том, что они воспитывались под одной кровлей» (Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. С. 14).

¹² См.: Макашин С. А. Салтыков-Щедрин: Биография. 2-е изд., доп. М., 1951. Гл. 2.

¹³ С. А. Макашин пишет, что Салтыков присутствовал на встречах как с целью поддерживать нужные ему связи с некоторыми одноклассниками, так и с целью сбора материала для сатирического изображения петербургского чиновничества (!) (Указ. соч. С. 143).

¹⁴ РГАЛИ, ф. 123, оп. 1, ед. хр. 7. См. также: Я. К. Грот: Несколько данных... С. 170.

¹⁵ Селезнев И. Исторический очерк имп. бывшего Царскосельского, ныне Александровского лицея с 1811 по 1861 год. СПб., 1861. С. 445.

¹⁶ Венок. С. 198—199.

¹⁷ Селезнев И. Исторический очерк... С. 446—447. Всякий раз, когда поднимался вопрос о месте памятника, из произведений Пушкина цитировались строки в похвалу рекомендуемому городу.

¹⁸ Официальная переписка о месте памятника хранится в Центральном государственном историческом архиве г. Москвы: ЦГИАМ, ф. 179, оп. 21, д. 298 «Дело об отрезке на Тверском бульваре площадки для постановки памятника А. С. Пушкину».

¹⁹ Письмо П. И. Миллера редактору «Московских ведомостей» (1871. 2 дек. № 264. С. 4).

²⁰ [Передовая ст.]//Русский курьер. 1880. 6 июня. № 152. С. 1.

²¹ В цитированной выше (примеч. 79 к гл. 1) статье М. Ф. де-Пуле возражал против Москвы, равно как и Ф. Шатов из Симферополя в «Русской старине» (1871. № 4. С. 173—176).

В 1880 г. соперничество между Москвою и Петербургом обострилось в очередной раз, но что любопытно — в юмористических колонках газет. Осуждая равнодушие Петербурга к приближавшемуся Пушкинскому празднику, один стихотворец писал: «А бедный Пушкин позабыт.../Вся Русь с укором говорит:/„Недаром он в Москве родился,/ А в Петербурге был убит!..“» (Накануне: Юбилейно-драматическая сцена в одном действии//Молва. 1880. 22 мая. № 140. С. 1. Подпись: Д. М.). Д. Д. Минаев вступился за честь Петербурга в своем многократно перепечатававшемся стихотворении «С неевского берега», в каждой строфе которого варьируется рефрен: «Нет, мы не отдадим поэта:/Он наш не менее Москвы!» (Венок. С. 306—308).

²² Например, секретарь Общества любителей российской словесности, которое выступило главным организатором знаменитого Славянского съезда в 1867 г., писал в 1871 г.: «Степень участия, которое обнаружится между заграничными славянами к сооружению памятника Пушкину, будет иметь в глазах русского общества серьезное значение; степень этого участия укажет, делает ли успех идея славянского единения» (Щебальский П. К. По поводу памятника Пушкина//Русский вестник. 1871. Т. 92. № 4. С. 714). Об участии Общества в Славянском съезде см.: Беседы в Обществе любителей российской словесности. М., 1868. № 2.

²³ Русский вестник. 1873. Т. 105. № 5. С. 422.

²⁴ Иронический намек на чрезмерно тяжеловесный слог газеты и ее показное выражение верноподданнических чувств. Например, объявление о подписке (1871. 8 апр. № 73. С. 2) гласило: «Мы получили извещение, что Государю Императору угодно было назначить особый комитет для сооружения памятника Пушкину и что для этой цели Высочайше разрешено открыть повсеместную подписку. С радостным чувством извещаем читателей наших об этом новом доказательстве сочувствия Августейшего Главы русского народа ко всему тому, с чем на каком бы то ни было поприще связаны слава и честь России. Великие художники, ученые и мыслители столько же прославляют свое отече-

ство, так же служат ему, как великие министры и полководцы, и Пушкин есть не только популярнейший между русскими поэтами, но один из популярнейших русских людей вообще; его поэзию вдыхали в себя, вместе с воздухом, уже несколько поколений; его культ красоты и правды оставил неизгладимый след в нашем народном воспитании. Русской публике предстоит случай доказать признательность тому, кто доставил своим соотечественникам столько чистых наслаждений и столько нравственной пользы».

²⁵ Гражданин. 1873. 23 апр. № 17 (без подписи). Об атрибуции этой статьи Н. Н. Страхову см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 182 (примеч. 26).

²⁶ Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине//Складчина: Литературный сборник. СПб., 1874. С. 561. Страхов утверждал, что значение Пушкина огромно и все еще не поддается определению. Ср. его сердитую отповедь Писареву в 1866 г.: По поводу отрицания авторитетов: Несколько запоздалых слов о Пушкине//Отечественные записки. 1866. № 1. С. 117—127.

²⁷ Венок. С. 203.

²⁸ После смерти Шторха в декабре 1878 г. делопроизводством Комитета и хранением поступавших пожертвований занимался К. К. Грот; когда же он заболел и уехал для лечения за границу, эти обязанности принял на себя Ф. П. Корнилов (Там же. С. 198).

²⁹ Подписка на памятник Пушкину: (От Высочайше учрежденного комитета)//Голос. 1871. 22 нояб. № 323. С. 3.

³⁰ Фамилии подписавшихся и их пожертвования напечатаны: Русская старина. 1871. Т. 3. С. 648—650, 794; 1871—1872. Т. 4. С. 461, 595, 699—700; 1872—1873. Т. 5. С. 348—354, 686; 1873. Т. 7. С. 586; Вестник Европы. 1872. Т. 1. Кн. 2. С. 870—876; Т. 2. Кн. 4. С. 922—926; Т. 3. Кн. 6. С. 907—910; Т. 5. Кн. 10. С. 930—933; Голос. 1872. 17 янв. № 17.

³¹ Венок. С. 204.

³² Список работ о памятнике работы А. М. Опекушина см.: Межов В. И. Pushkiniana. С. 27—35 *passim*; см. также: Суслов И. М. Памятник А. С. Пушкину в Москве. М., 1968; Либрович С. Портреты Пушкина. СПб., 1890. Существуют две небольшие работы, посвященные жизни и творчеству Опекушина: Варшавский Л. Р. Александр Михайлович Опекушин. 1841—1923. М., 1947; Беляев Н. Александр Михайлович Опекушин, 1841—1923. М., 1954.

³³ По замечанию М. Л. Неймана, памятник «так прочно вошел в наше сознание, что образ Пушкина уже невольно ассоциируется с произведением Опекушина» (История русского искусства/Под общ. ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева. М., 1965. Т. 9. Кн. 2. С. 252).

³⁴ ЦГИАМ, ф. 418, оп. 202, д. 26, л. 31—31 об.

³⁵ Там же. л. 39 об.

³⁶ РГИА, ф. 733, оп. 193, д. 504, л. 41 об. — 42.

³⁷ Отечественные записки. 1876. Т. 229. № 12. Отд. II. С. 250—251. Цит. по: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1973. Т. 15. Кн. 1. С. 366.

³⁸ Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. М., 1940. Т. 15. С. 222—223.

³⁹ Я. К. Грот: Несколько данных к его биографии... С. 171.

⁴⁰ Хорошо известные «Труды», издававшиеся Обществом в 1812—1828 гг., являются важным источником материалов касательно полемики этого времени о языке.

⁴¹ Гиляров-Платонов Н. П. Возрождение Общества любителей российской словесности в 1858 году//Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 146. Первоначально это была речь, произнесенная на открытом заседании ОЛРС 7 декабря 1886; статья перепечатана в кн.: Гиляров-Платонов Н. П. Сборник соч. М., 1899. Т. 2. С. 292—308. О возрождении ОЛРС см. также: Общество любителей российской словесности при Московском университете: Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911. С. 40—43; Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1902. Кн. 16. С. 26—28; статью М. Н. Лонгинова, указанную ниже в примеч. 50 к гл. 2.

⁴² Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики, 1840—50 гг. М.; Л., 1951. С. 347—348.

⁴³ Гиляров-Платонов Н. П. Сборник соч. Т. 2. С. 300—301. Б. И. Есин указывает, что в России «лозунг „свободы печати“ долго сводился к лозунгу „свободы от цензуры“» и что «в его буржуазном истолковании» он вошел в русское сознание с Аксаковыми (Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России. М., 1981. С. 18—19). Аксаков и другие славянофилы понимали, что свобода печати даст им возможность противостоять влиянию радикалов; тот же, по существу, аргумент Лонгинов выдвинул в полемике против Писарева (см.: Сладкевич Н. Г. Славянофильская критика 40—50-х годов//История русской критики/Ред. коллегия: Б. П. Городецкий, А. Лаврецкий, Б. С. Мейлах. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 345).

⁴⁴ Гиляров-Платонов Н. П. Сборник соч. Т. 2. С. 295. Традиция устных выступлений, как легко понять, приобретала в России большое значение, особенно в периоды жесткой цензуры и политической реакции; но влияние этой традиции, по вполне очевидным причинам, трудно измерить, и поэтому ее часто не замечают историки. Председатель ОЛРС в 1880 г. и организатор Пушкинских торжеств С. А. Юрьев являет собою яркий пример человека, чье влияние распространялось главным образом через его устные речи, а не через немногочисленные статьи или издававшиеся им журналы (см.: Веселовский Алексей Н. Из воспоминаний о старом друге//В память С. А. Юрьева: Сб., изданный друзьями покойного. М., 1891. С. 145—146).

⁴⁵ Подробный отчет об этой стороне деятельности Общества содержится в кн.: Общество любителей российской словесности... С. 77—80 (отсюда заимствован приведенный перечень).

⁴⁶ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1931. Т. 5. С. 271—272. Царь не разрешил ОЛРС иметь собственного цензора из числа его членов, и потому Общество остановило работу над томом, в который предполагалось включить речь Л. Н. Толстого, оставшуюся вследствие этого неопубликованной до 1928 г.

⁴⁷ Несмотря на то что ОЛРС не удалось отстоять свою независимость от цензуры, оно сумело опубликовать ряд выдающихся научных трудов, в том числе русскую грамматику К. С. Аксакова (1860), собрание народных песен П. В. Киреевского в десяти частях (1860—1874, предприятие, начатое под влиянием Пушкина) и до сих пор сохраняющий свою ценность словарь В. И. Даля (1861—1866). Полный список изданий Общества до (включительно) 1911 г. см. в кн.: Общество любителей российской словесности... С. 195—199.

⁴⁸ О разногласиях между ОЛРС и петербургскими радикалами см.: [Шелгунов Н. В.]. Либеральные тенденции Московского Общества любителей российской словесности//Русское слово. 1860. № 4. С. 138—140 (авторство статьи раскрыто в кн.: Общество любителей российской словесности... С. 59, сноска 1); Московские ведомости. 1860. 22, 23, 27 марта, 12, 14 апр. № 65, 66, 69, 80 и 82.

⁴⁹ Хрушов И. Впечатления одного из депутатов на открытии памятника Пушкину//Берег. 1880. 10 июля. № 107. С. 2.

⁵⁰ Общество любителей российской словесности... С. 77. Сообщая о возрождении Общества в июне 1858 г. и рассказав о круге его предполагаемой деятельности, М. Н. Лонгинов в заключение упомянул: «Мы почли долгом помянуть добром память уже отшедших от нас благородных деятелей на поприще науки и словесности, положивших начало делу честному и общепользному» (Лонгинов М. Н. Общество любителей российской словесности при имп. Московском университете//Русский вестник. 1858. Т. 15. № 6. Кн. 2. С. 612).

⁵¹ Лонгинов М. Н. Письмо к редактору//Наше время. 1862. 11 февр. № 33. С. 132. Издано также отдельной брошюрой.

⁵² Лонгинов М. Н. Из современных записок//Русский вестник. 1861. Т. 33. № 6. [Отд. II]. Литературное обозрение и заметки. С. 127. Ср. похожее заявление М. П. Погодина в письме к Вяземскому: «Ведь грустно смотреть на нынешнее пренебрежение литературы. Надо восстановить предание» (Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к кн. П. А. Вяземскому 1825—1874 годов (из Остафьевского архива)/Изд. с предисл. и примеч. Н. Барсукова. СПб., 1901. С. 77).

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ УСТРОИЛСЯ САМ СОБОЮ

¹ Буква [Василевский И. Ф.]. Наброски и недомолвки: Итоги московских «красных дней»//Молва. 1880. 15 июня. № 163. С. 1. Более подробно процитировано выше (см. «Введение», с. 17).

² Ср. заглавия двух основных работ о данном периоде: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964; Wortman R. The Crisis of Russian Populism. Cambridge, Mass., 1967. См. также отчасти тенденциозное исследование: Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация в России. М., 1963 и фундаментальный труд: Venturi F. The Roots of Revolution. New York, 1966.

³ О Каткове см.: Любимов Н. А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889; Неведенский С. [Татищев С. С.]. Катков и его время. СПб., 1888 (книга, написанная в защиту Каткова его соредктором); Katz M. Mikhail N. Katkov: A Political Biography. The Hague, 1966 (книга содержит библиографию); Thaden E. C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle, 1964. Chap. 4; Nepomnyashchy C. T. Katkov and the Emergence of the „Russian Messenger“//Uibandus Review. Fall 1977. Vol. 1. No 1. P. 59—89, а также превосходное исследование, которому я особо обязан в оценке данного периода: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия: (М. Катков и его издания). М., 1978.

При отсутствии лучших определений я следую общепринятой терминологии, говоря о «консерваторах» и «либералах». Марк Райефф отметил, что в России сторонники либерализма в сфере политики и общественной жизни нередко поддерживали экономические доктрины «консерваторов», в частности протекционизм. Некоторые же «консерваторы» или «реакционеры» в политике (такие, как Катков), напротив, были «либералами» в экономике. См.: Raeff M. A Reactionary Liberal: M. N. Katkov//Russian Review. 1952. Vol. 11. July. No 3. P. 152—167, а также ниже, примеч. 10. Прореформистская газета «Страна» указывала на то, что позицию Каткова неправомерно называть «консерватизмом». Она не согласилась с утверждением «Вестника Европы», что за газетой «Московские ведомости» стояла целая общественная группа консерваторов. «В России нет и не может быть целой общественной группы, которая отрицала бы в русском обществе всякие нравственные силы. Никакая часть общества не может отрицать самое общество — это было бы нелепостью. (. . .) Разве мыслимо — спросим опять — где-либо такое общество, которое так думало бы о самом себе? Где видан такой „консерватизм“, который отрицал бы самое общество?» (Л. П. [Полонский Л. А.]). Два лагеря или — двадцать?// Страна. 1880. 3 апр. № 27. С. 2).

⁴ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. С. 151; Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия. С. 185 и след.

⁵ Передовая статья «Московских ведомостей» (1880. 7 февр. № 37). Перепечат. в кн.: Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей», 1880 год. М., 1898. С. 82.

⁶ Там же. С. 108—109 (20 февр. № 51).

⁷ Там же. С. 159 (19 марта. № 79).

⁸ Передовая статья «Московских ведомостей» (1880. 7 марта. № 66) (Там же. С. 128—129), написанная в ответ на неприятие его точки зрения либералом К. Д. Кавелиным. О нелегальной прессе см.: Чубинский В. В. Бесцензурная печать революционного народничества// Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1965. Т. 2. Вторая половина XIX в./Редкол.: В. Г. Березина и др. С. 337—366.

⁹ Катков отстаивал систему «классического» образования, видя причину успеха революционного движения в недостатках и слабости существующей системы учебных заведений. Однако всплеск терроризма в конце семидесятых годов доказал несостоятельность подобных аргументов. Подробнее о роли Каткова в реформе образования см.: Sinel A. *The Classroom and the Chancellery: State Educational Reform in Russia under Count Dmitry Tolstoy*. Cambridge, Mass., 1973. P. 168—169; а также собрание редакционных статей Каткова о школьной реформе под редакцией Л. И. Поливанова, опубликованных под заглавием: *Наша учебная реформа*. М., 1890.

¹⁰ В то время «Голос» считался лидером либеральной прессы. Немаловажно, однако, что сама газета не употребляла этого термина, подразумевавшего специфически западную парламентскую доктрину, в то время как «Голос» хотел представлять сторонником воплощения духа великих реформ шестидесятых годов. См.: Russo P. A. „Golos“, 1878—1883: Profile of a Russian Newspaper: Diss., Columbia University, 1974. P. 395—400.

¹¹ Балусев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971. С. 20.

¹² Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России: Задачи и теоретическо-методологические принципы изучения. М., 1981. С. 24.

¹³ В царствование Николая I газета «Северная пчела», издававшаяся Ф. В. Булгариним, была единственным частным периодическим изданием, которому было дано право на освещение политических событий. Пушкин и его литературный кружок тщетно пытались бороться с этой несправедливой монополией. См.: Станько А. И. Русские газеты первой половины XIX века. Ростов-на-Дону, 1969.

¹⁴ Как говорилось в передовой статье «Голоса» (1880. 13 апр. № 104): «Более свободная печать была признана необходимым дополнением к совершившимся преобразованиям, одним из важнейших условий их применения, упрочения и развития». См. также: Balmuth D. *Origins of the Russian Press Reform of 1865*//*Slavonic and East European Review*. 1969. July. Vol. 47. No 109. P. 369—388.

¹⁵ Об изменениях в законах о печати с 1865 по 1880 гг. говорится в статье: Внутреннее обозрение//Вестник Европы. 1880. Июнь. Кн. 6. С. 813—836.

¹⁶ Валуев П. А. Дневник 1877—1884/Ред. и прим. В. Я. Яковлева-Богучарского и П. Е. Щеголева. Пг., 1919. С. 127.

¹⁷ Один из самых последовательных сторонников свободы печати в 1880 г., «Церковно-общественный вестник» писал: «Можно смело сказать, что каждый номер любой газеты, выходящий в настоящее время, есть сплошное преступление, начиная с заголовка газеты и кончая подписью редактора, сплошное нарушение целой сотни конфиденциальных распоряжений, вполне сохраняющих свою силу, но, по своей неудобоприменимости, игнорируемых самою цензурной администрацией» (Внутренние известия//Церковно-общественный вестник. 1880. 24 сент. № 114. С. 8).

¹⁸ Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1897. Т. 4. Стлб. 916—923. Более подробно позиция Михайловского рассмотрена далее в гл. 4.

Ср. с замечанием Лорис-Меликова в меморандуме Александру II о том, что в России периодическая печать имеет «своеобразное влияние, не подходящее под условия Западной Европы, где пресса является лишь выразительницей общественного мнения, тогда как у нас она влияет на самое его формирование» (Голицын Н. В. Конституция графа Лорис-Меликова: Материалы для ее истории//Былое. 1918. № 4—5. С. 160).

¹⁹ Буква [Василевский И. Ф.]. наброски и недомолвки: Итоги московских «красных дней»//Молва. 1880. 15 июня. № 163. С. 1.

²⁰ По сезону//Русский курьер. 1880. 22 июня. № 167. С. 1 (без подписи).

²¹ Из газет и журналов: (Русских и иностранных)//Молва. 1880. 11 июня. № 159. С. 2.

²² Журнальные заметки//Новороссийский телеграф. 1880. 13 авг. № 1652. С. 1.

²³ См.: Межов В. И. Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 году: Сочинения и статьи, написанные по поводу этого торжества: Библиогр. указ. СПб., 1885; Он же. Puschkiniana: Библиогр. указ. статей о жизни А. С. Пушкина, его сочинений и вызванных ими произведений литературы и искусства. СПб., 1886, а также 93 статьи, перечисленные в книге: Достоевская А. Г. Музей памяти Федора Михайловича Достоевского. СПб., 1906.

²⁴ Градовский Г. Памяти Пушкина//Молва. 1880. 6 июня. № 155. С. 1.

²⁵ Коломенский Кандид [Михневич В. И.]. Вчера и сегодня: Мелочи пушкинского праздника//Новости. 1880. 15 июня. № 156. С. 1—2.

²⁶ В то время среди газетчиков было широко распространено мнение, которое выразила в передовой статье «Русская правда» (1879. 21 авг. № 109) фразой: «Газета убила журнал!» В статье утверждалось, что «убеждения» и «знания» перестали пользоваться спросом,

а «осталась только потребность в новостях». Здесь же отмечалась появившаяся тенденция вытеснения литературных газет коммерческими.

Об изменениях в русской периодике с конца 70-х до 80-х годов XIX века см.: выводы Б. П. Балуева в указанной выше (примеч. 11) его монографии; Лисовский Н. М. Периодическая печать в России, 1703—1903 гг.: Статистическо-библиографический обзор русской периодической печати. СПб., 1903.

²⁷ Переработки произведений Пушкина в других жанрах и число работ, посвященных биографии поэта, стали в России особой, плодотворной отраслью, своего рода небольшой индустрией; также существует обширная литература о влиянии Пушкина в различных областях культуры царской России и советского времени: на русскую музыку, балет, кино, скульптуру и живопись, не говоря уже о влиянии на поэзию, драму и прозу. См. библиографии о Пушкине и сборник статей: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5./Редкол.: Б. С. Мейлах и др.

Пол Дебрецени (Debreceeny), изучающий формирование образа Пушкина в массовом сознании в России, любезно указал мне, что успеху торжества в значительной мере способствовали элементы народной культуры, которые в данной работе подробно не анализируются, т. к. торжества рассматриваются здесь как «праздник интеллигенции». Работы Дебрецени, Джеффри Брукса, Уильяма Тодда и Карил Эмерсон помогают глубже понять контекст и значение роли Пушкина в русской культуре XIX века.

²⁸ Петербургский листок. 1880. 11 мая. № 89. С. 1; Новое время. 1880. 25 мая. № 1622. С. 2; Монтеверде П. А. Беседа//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 2 июня. № 151. С. 2.

²⁹ Неохотно потому, что Общество не обеспечило журналистам особых условий и даже не выделило им места на своих публичных заседаниях. Возможно, что определенную роль сыграли также и политические мотивы. Критику того, как ОРЛС организовало торжества, см.: Новое время. 1880. 21 и 29 июня. № 1548, 1556; Русский листок. 1880. 3 июня. № 105; Русский курьер. 1880. 22 июня. № 167; Дело. 1880. № 7. Июль. С. 106.

³⁰ Неофициальные протоколы Л. И. Поливанова и заметки о заседаниях, откуда извлечена приводимая частично информация, хранятся в РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 179.

Поливанов Л. И. (1838—1899)— автор книги о Жуковском, переводчик Расина и Мольера, также писал статьи по педагогике, составлял школьные пособия по русскому языку и литературе. Стронник «классической» системы образования, Поливанов написал в 1890 г. хвалебное предисловие к сборнику статей М. Н. Каткова о школьной реформе (см. выше, примеч. 9). Изданные им «для семьи и школы», «с объяснениями и сводом отзывов критики» пятитомные «Сочинения» Пушкина (1887) были награждены золотой медалью Академии наук.

В гимназии, где он был директором, он насаждал «культ» Пушкина, что оказало значительное влияние на двух его знаменитых учеников — В. Я. Брюсова и Б. Н. Бугаева (писавшего позднее под псевдонимом Андрей Белый). Брюсов оставил записи о своем учителе в дневниках за 1891—1893 гг. и вывел его в автобиографической повести «Моя юность», а Белый трогательно рассказал о нем в своих мемуарах «На рубеже двух столетий» (М., 1930). См. также: Рябин М. В. В пушкинские дни 1899 года... (Страничка из истории поливановской гимназии)//Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 65—68.

³¹ Тургенев и И. В. Самарин организовали литературно-музыкальные представления. Художник К. А. Трутовский (1826—1893) разработал сценарий «апофеоза»: «В глубине памятник Пушкину. Подле него олицетворение России. Слева группа костюмированных лиц: Гений вводит Пушкина в общество представителей европейской поэзии, которые составляют: Байрон, Шекспир, Вальтер Скотт, Вольтер, Гете, Дант, Гомер, Софокл, Анакреон. Из славянских поэтов — Мицкевич. Справа другая группа: аллегорическая фигура поэзии Пушкина с написанием его произведений, из коих заимствовали музыка, сценическое искусство и живопись свои темы и образы; тут же олицетворения этих искусств. Внизу, спереди дети читают сказки Пушкина». (Из протоколов Пушкинской комиссии от 23 апр. 1880 г. — РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 179, л. 4).

О выставке см.: Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года/Под ред. Л. И. Поливанова. М., 1882; 2-е изд. М., 1887. Она также кратко описана в кн.: Венок. С. 323—328; Торжество открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, 6-го июня 1880 г., с биографией А. С. Пушкина. М., 1880. С. 26.

³² Гончаров не присутствовал по причине плохого самочувствия. Его трогательное письмо о Пушкине было прочитано на торжествах и опубликовано в газете «Страна» (1880. 25 мая. № 41. С. 2; перепечат.: Венок. С. 79—81). Салтыков также отсутствовал либо, возможно, из-за болезни, либо по причине своих смешанных чувств относительно праздника. См. его письмо к С. А. Юрьеву от 8 мая 1800 г. (Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 19. С. 151—152). Фет сообщил Поливанову, что не будет участвовать в торжествах, и послал стихотворение, написанное специально на этот случай («На 26 мая 1880 года: К памятнику А. С. Пушкину»). Это стихотворение, цитируемое далее (примеч. 22 к гл. 4), выражало откровенно критическое отношение к торжествам и не было прочитано публично. Позднее Фет включил его в свой сборник «Вечерние огни» (1883). См.: Поливанов И. Л. Из архива Поливанова//Искусство. 1923. № 1. С. 339 (отдельный оттиск: М., 1923). Причины неучастия в торжествах Л. Н. Толстого рассматриваются в следующей главе.

³³ Воспоминания Леже о празднике переведены на русский язык: Леже Л. У памятника Пушкину//Москва. 1965. № 8. С. 205—208. О поздравительной телеграмме Ауэрбаха см.: Мушина И. Б. Б. Ауэрбах

и пушкинский праздник//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 276—278. Гюго тоже послал телеграмму, которая была прочитана на торжествах (Венок. С. 78).

³⁴ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т.: Письма. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 238, 243 (далее: Тургенев. Письма). На заседании комиссии 23 апреля было постановлено: «Тосты и речи сообщаются письменно или устно состоящей при Обществе распорядительной Комиссии» (РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 179, л. 4). Достоевский, интересуясь привилегиями общества, писал С. А. Юрьеву: «... здесь в Петербурге на самом невинном литературном чтении (...) непременно всякая строка, хотя бы и 20 лет тому написанная, поступала на предварительное разрешение к прочтению к попечителю учебного округа» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 153).

³⁵ Поездка Тургенева в Россию в 1879 г. и его непримиримая вражда с Катковым будут рассмотрены в следующей главе.

³⁶ Русская мысль. 1880. № 3. Март. Цит. по кн.: Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка/Изд. подгот. С. В. Белов и В. А. Туниманов. Л., 1976. С. 461, примеч. 760.

³⁷ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 238.

³⁸ См.: Корреспонденция//Страна. 1880. 15 июня. № 47. С. 5—6 (без подписи); а также комментарии П. И. Бартенева к публикации: Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках по поводу открытия памятника Пушкину//Русский архив. 1891. Кн. 2. № 5. С. 91.

³⁹ О попытке исключить Достоевского из числа выступающих см.: Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках... С. 91. Об инциденте в 1879 г. см.: Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech and the Politics of the Right under the Dictatorship of the Heart//Canadian-American Slavic Studies. 1983. Summer. Vol. 17. No 2. P. 230.

⁴⁰ См.: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. 2-е изд. М., 1968. С. 240—241.

⁴¹ Московский фельетон//Новое время. 1880. 17 мая. № 1514. С. 2 (подпись: К).

⁴² Литературно-жизненные заметки//Неделя. 1880. 1 июня. № 22. С. 708 (без подписи).

⁴³ Известия Московской городской думы. М., 1880. Вып. 15. Стлб. 437. Последующее изложение того, что имело место на заседании Думы, основано на этом же источнике. См. также: Московский фельетон//Новое время. 1880. 17 мая. № 1514. С. 2 (подпись: К); Летопись городского управления//Современные известия. 1880. 16 мая. № 133. С. 2—3; Об участии города <Москвы> в праздновании открытия памятника А. С. Пушкину. 1880. 7 мая — 25 августа (ЦИГАМ, ф. 179, оп. 21, д. 559).

⁴⁴ Известия Московской городской думы. М., 1880. Вып. 15. Стлб. 413, 438—448; ср., например: Московские заметки//Голос. 1880. 20 мая. № 139; [Передовая ст.]//Современные известия. 1880. 17 мая.

№ 134. С. 2; Восток. 1880. 8 июня. № 48. С. 170, примеч. 2. Преображенский ответил на «клевету» «Современных известий» письмом в газете Каткова (Московские ведомости. 1880. 22 мая. № 140. С. 3). Обвинения Преображенского опровергали «Современные известия» (1880. 3 июня. № 151. С. 1) в фельетоне за подписью «Аде» [Андрей Мих. Дмитриев?].

⁴⁵ Не считая денег на открытие двух школ. См.: Современные известия. 1880. 24 мая. № 140. С. 2. 3000 руб. было потрачено на украшение зала думы, Тверского бульвара, городских строений и пиротехнику; 4000 руб. — на размещение и питание делегатов; 5000 руб. — на торжественный обед; 3000 руб. даны ОЛРС.

⁴⁶ См. отчет Сумбула городской думе (Известия Московской городской думы. Вып. 15. Стлб. 457—458) и открытое письмо Тихонравова к Сумбулу (Объяснение//Русские ведомости. 1880. 23 мая. № 132. С. 3).

⁴⁷ Буква [Василевский И. Ф.]. Пушкинская неделя в Москве//Молва. 1880. 6 июня. № 155. С. 2. О неудобствах, которые эти разногласия причиняли делегатам, писал Г. И. Успенский в статье «Пушкинский праздник» (Отечественные записки. 1880. № 6); см.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М.; Л., 1953. Т. 6. С. 413—415.

⁴⁸ Внутренние известия//Берег. 1880. 7 июня. № 75. С. 3.

⁴⁹ Согласно одному крайне тенденциозному в советском духе свидетельству, частью плана «дружины» было создать «газеты, которые выглядели бы как прогрессивные, даже как революционные издания, а между тем исподволь очень тонко вливали отраву в общественное сознание и дискредитировали революционное и либеральное движение» (Заславский Д. Взволнованные лоботрясы. М., 1931. С. 22). Однако «Священная дружина» начала свою деятельность, по всей видимости, после убийства Александра II. См.: Lukashevich S. The Holy Brotherhood: 1881—1883//The American Slavic and East European Review. 1959. Vol. 18. December. P. 222—256; Смельский В. Н. Священная дружина (Из дневника ее члена)//Голос минувшего. 1916. № 1. Янв. С. 222—256; № 2. Февр. С. 135—163; № 3. Март. С. 155—176; № 4. Апр. С. 95—110. В разных номерах заглавие незначительно варьировалось.

⁵⁰ «Современные известия» сообщили 23 янв. 1880 г., что Комитет министров пригласил Цитовича в Петербург и предложил субсидировать выпуск его газеты. Несмотря на то что 29 января газета была вынуждена отказаться от своих слов, тайна «Берега» была раскрыта. См.: Емельянов Н. Из истории русских офиценозов 1879—1880 гг.//Вопросы журналистики. Л., 1960. Вып. 2. Кн. 2. С. 72—80.

⁵¹ Например, хотя уже само хранение подпольной прессы составляло преступление, «Берег», пользуясь своим привилегированным положением, ссылаясь на нее совершенно безнаказанно, главным образом в доказательство того, что либеральная пресса, которую он язвительно называл «надпольной», была в союзе с революционерами. Подобные

приемы осуждали: Голос. 1880. 9 апр. № 100. С. 3; Новое время. 1880. 5 мая. № 1502. С. 3; Страна. 1880. 10 апр. № 29. С. 2.

И Салтыков, и Михайловский презрительно отзывались о Цитовиче и его предприятии. См., например, замечания Михайловского: Отечественные записки. 1880. № 5. С. 81; № 8. С. 256—258; № 10. С. 199. Салтыков осмеял его в «За рубежом» (1880—1881) и «Письмах к тетеньке» (1881—1882). См.: Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. Л., 1936. Т. 14. С. 568, примеч. 42. Джеймс Биллингтон неверно истолковал позицию «Берега» как «официальный либерализм». См.: Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. London, 1958. P. 115.

⁵² См.: Бельчиков Н. Пушкинские торжества в Москве в 1880 году в освещении агента III отделения//Октябрь. 1937. № 1. С. 271—282.

⁵³ Письмо Лорис-Меликова и ответ Долгорукова приведены в кн.: Письма Ф. М. Достоевского к жене/Предисл. и примеч. Н. Ф. Бельчикова. М.; Л., 1926. С. 360—361.

⁵⁴ Отсрочка пушкинского праздника//Молва. 1880. 4 июня. № 153. С. 1.

⁵⁵ Голос. 1880. 3 июня. № 153. С. 4; Новости. 1880. 3 июня. № 145. С. 3.

⁵⁶ Amicus [Монтеверде П. А.] Беседа//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 3 июня. № 152. С. 2. Кроме того, этот случай помог обратить скептиков в истинных приверженцев. Например, издававшаяся П. А. Гайдебуровым «Неделя» писала позднее о празднике: «... это настоящее открытие! Это груды золота там, где предполагался чуть не мусор» (Литературно-житейские заметки//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. Стлб. 769).

⁵⁷ Потолкуемте, читатель//Петербургский листок. 1880. 3 июня. № 105. С. 2. См. также: Новое время. 1880. 5 июня. № 1533. С. 3.

К. Н. Леонтьев, считавший Юрьева, Тургенева, «Голос» и других «либералов» не чем иным, как «легальными революционерами», предлагал им с насмешкой воздвигнуть памятник Каткову, установив его рядом с памятником Пушкину. «Пусть это будет крайность, пусть это будет неумеренная вспышка реакционного увлечения. Тем лучше! Тем лучше! Пора учиться — как делать реакцию!» (Леонтьев К. Н. Катков и его враги на празднике Пушкина//Варшавский дневник. 1880. 21 июля. № 155. С. 3).

⁵⁸ РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 155. Записка не датирована. Предпоследнее предложение несколько туманно.

Юрьев был недоволен тем, как пресса освещала торжества, и согласился с Тургеневым, Анненковым и Аксаковым, что ОЛРС следует опубликовать собственный отчет о празднике. 22 июля он писал Поливанову: «Верно, что Вы не в состоянии описывать празднеств и что Вас тошнит от всех разглагольств газетных об них. Описать необходимо однако, потому что всюду напечатано вранья такое множество, что вранье кажется читателю правдой, а правда враньем» (Поливанов И. Л. Из архива Поливанова. С. 340—341). Оригинал письма хра-

няется в РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 155. Письмо опубликовано выборочно (без первой части, цитируемой здесь) в кн.: Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 513 (Литературное наследство. Т. 86).

⁵⁹ См. указанное выше (примеч. 9, 30) предисловие Поливанова к сборнику редакционных статей Каткова о реформе образования, в котором он восхвалял их автора.

⁶⁰ Диссонансы, нарушающие нынешнее общественное настроение// Молва. 1880. 16 мая. № 134. С. 1 (редакционная ст.).

⁶¹ Л. П. [Полонский Л. А.]. Два лагеря или — двадцать?//Страна. 1880. 3 апр. № 27. С. 2.

⁶² Петербургские заметки//Современность. 1880. 13 мая. № 79. С. 1.

⁶³ Внутренние известия//Молва. 1880. 10 июня. № 158. С. 3. Согласно одному более позднему сообщению, дело завершилось привлечением к суду за клевету, но мне не удалось найти тому никакого независимого подтверждения.

⁶⁴ По сезону//Русский курьер. 1880. 22 июня. № 167. С. 1 (без подписи). По всей видимости, каламбур случайный. См. также: Апискус [Монтерерде П. А.]. Пушкинский праздник//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 16 июня. № 164. С. 2.

⁶⁵ Например: Филонов А. Поэт Пушкин: Общедоступное чтение. Писано к открытию памятника великому поэту в Москве. СПб., 1880. В рецензии на эту брошюру говорилось: «Разбирать в этой книжке нечего; кроме выписок из Пушкина, никаких мыслей в ней нет, а есть только фразы, удивительные по своей пошлости, бестолковости и безграмотности» (Дело. 1880. № 8. С. 342). См. также обзор: [Булгаков Ф. И.]. Юбилейная литература о Пушкине//Исторический вестник. 1880. № 8. С. 779—789 (подпись: Ф. Б.), где автор отзывается о вышедшей к торжествам литературе как о «недозрелом плоде поспешной работы» (С. 779).

⁶⁶ 4 июня большинство делегатов собрались в «Эрмитаже» Лентовского, пользовавшегося репутацией лучшего в столице общественно-веселительного сада. Здесь выступали оркестр и хор, исполнявшие положенные на музыку произведения Пушкина, здесь же размещались огромные транспаранты, представлявшие главные этапы жизни поэта, точная копия памятника (с которой было в должное время снято покрывало), горело электрическое освещение (большая новинка для своего времени) и был устроен фейерверк. По примеру Лентовского многие другие сады Москвы, Петербурга, Одессы и других городов устроили собственные «Пушкинские спектакли». Большинство газетных репортеров, разделявших общее презрение интеллигенции к подобным низким зрелищам, проигнорировали эти представления как «профанацию». Театральная газета «Суфлер» сообщала, что поскольку подобные спектакли пользовались успехом у публики, то «содержатели <...> летних театров заботились не столько о чествовании великого художника Пушкина, сколько о собирании рублей с доверчивой публики»

(Музыкально-драматические вечера в память Пушкина//Суфлер. 1880. 12 июня. № 43. С. 3).

⁶⁷ Буква [Василевский И. Ф.]. Мимоходом: Пушкинская неделя в Москве//Молва. 1880. 8 июня. № 157. С. 1.

⁶⁸ Успенский Г. И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 420, 419.

⁶⁹ Аксаков И. С. Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках... С. 92.

⁷⁰ Буква [Василевский И. Ф.]. Наброски и недомолвки: Итоги московских «красных» дней//Молва. 1880. 15 июня. № 163. С. 1. Речь В. С. Желнобובה была напечатана в газете «Голос» (1880. 18 июня. № 167) и перепечатана в кн.: Венок. С. 192—193.

⁷¹ Из газет и журналов: (Русских и иностранных)//Молва. 1880. 10 июня. № 158. С. 2. Леонтьев саркастически заметил, что «сама Церковь благословила поэзию» (Леонтьев К. Н. Катков и его враги на празднике Пушкина//Варшавский вестник. 1880. 15 июля. № 150. С. 3).

⁷² Пушкинский праздник//Восток. 1880. 8 июня. № 48. С. 170, примеч. 1.

⁷³ По сезону//Русский курьер. 1880. 22 июня. № 167. С. 2 (без подписи).

⁷⁴ Внутренние известия//Берег. 1880. 4 июня. № 72. С. 2. Роман Якобсон отмечает, что традиция православной церкви «сурово осуждала искусство скульптуры, <...> не допускала его в церкви, <...> считала это язычеством или дьявольской выдумкой (для церкви эти понятия были равнозначными)» (Jakobson R. Pushkin and His Sculptural Myth. The Hague, 1975. P. 40).

⁷⁵ Хрущов И. Впечатления одного из депутатов на открытии памятника Пушкину//Берег. 1880. 9 июля. № 106. С. 1.

⁷⁶ Чествование памяти Пушкина в Петербурге//Молва. 1880. 8 июня. № 157. С. 2. О запрещении в 1837 г. отпевать Пушкина в Исаакиевском соборе Адмиралтейства рассказывалось в письмах П. А. Вяземского, впервые опубликованных в 1880 г. в газете «Берег» (№ 74, 111, 113, 114, 115) (отд. оттиск: Вяземский П. П. Александр Сергеевич Пушкин, 1826—1837 гг.: По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. СПб., 1880).

⁷⁷ Более подробно этот конфликт рассмотрен мною в статье: Pushkin in 1899//Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age/Ed. by V. Gasparov, R. Hughes, I. Paperno. Berkeley, Calif., 1992. P. 183—203 (California Slavic Studies).

⁷⁸ Первая цитата: Современные известия. 1880. 7 июня. № 155. С. 2; вторая: Московские заметки//Голос. 1880. 11 июня. № 160. С. 1 (без подписи).

⁷⁹ Венок. С. 29. Очевидец открытия памятника М. А. Гришечко-Климов, написавший спустя сорок четыре года воспоминания, в которых допустил много неточностей, рассказывает, что толпа вырвала венок из рук Тургенева (РГАЛИ, ф. 384, оп. 1, ед. хр. 101). Он также подробно описывает, как Тургенев подвел к памятнику бедную ста-

рушку, и утверждает, что это — былая страсть поэта А. П. Керн (умершая в 1879 году).

⁸⁰ Литературно-жизненные заметки//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 772, 774.

⁸¹ По сезону//Русский курьер. 1880. 22 июня. № 167. С. 2 (без подписи).

⁸² Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 270. См. также: Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе//Минувшие годы. 1908. № 8. С. 12—13.

⁸³ Венок. С. 213.

⁸⁴ А. Ф. Кони вспоминал, что когда Катков «во второй раз протянул бокал Тургеневу, (<...> тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бокал ладонью руки». Когда же Майков заметил Тургеневу, что нужно простить и забыть, Тургенев отвечал: «Ну, нет (<...> Я старый воробей, меня на шампанском не обманешь!» (Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 156). Как писал знакомой симпатизировавший Каткову Достоевский, Тургенев сам рассказал ему, что «отвел свою руку и не чокнулся» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 199). Хотя в 1880 г. скандал разыгрался в основном вокруг того, как преподнес этот инцидент «Голос» (см. далее), историкам он запомнился главным образом резким поведением Тургенева. См., например: Thaden E. C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle. 1964. P. 38.

⁸⁵ Голос. 1880. 7 июня. № 157. С. 4.

⁸⁶ См.: Беседа//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 12 июня. № 160. С. 3; комментарии Михневича: Пушкинский праздник//Новости. 1880. 12 июня. № 153. С. 2. Аксаков, кажется, намекает на то, что мысль о протесте принадлежала ему (Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках... С. 94).

⁸⁷ Apicis [Монтеверде П. А.]. Беседа//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 17 июня. № 165. С. 2.

⁸⁸ Московские заметки//Голос. 1880. 17 июня. № 166. С. 1 (без подписи).

⁸⁹ Незнакомец [Суворин А. С.]. Недельные очерки и картинки//Новое время. 1880. 29 июня. № 1556. С. 2.

⁹⁰ Знамение времени//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 745—747 (передовая ст.). Примечательно, что вначале «Неделя» проявляла сильный скептицизм по поводу торжеств. См.: Литературно-жизненные заметки//Неделя. 1880. 1 июня. № 22. С. 695—700.

⁹¹ Примирение во имя Пушкина//Молва. 14 июня. № 162. С. 1 (передовая ст.).

⁹² Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 7 июня. № 156. С. 2; Петербургская газета. 1880. 13 июня. № 144. С. 1; Современные известия. 1880. 11 июня. № 159. С. 2 (редакционная ст.).

⁹³ Русский курьер. 1880. 6 июня. № 152. С. 1; Голос. 1880. 11 июня. № 160. С. 1 (редакционная ст.). Ср. с более осторожной оценкой в пе-

редовой статье «Русской правды» (1879. 30 авг. № 118): «Нет сомнения, что и в настоящее время все добросовестные русские журналисты нисколько не преувеличивают силы и размера своего влияния, вполне сознают и признают скромность той роли, которая им отведена в государственном механизме, и самообольщению на этот счёт не предаются. Они знают, что они выражают и теперь, как и прежде, свои личные мнения и мнения круга читателей, стоящего за ними, но не больше — что эти мнения никого ни к чему не обязывают, и всякий, — каково бы ни было общественное положение его, волен принимать или не принимать эти мнения по своему личному благоусмотрению. Они знают, что русская газета, так или иначе, влияет на ход общественной жизни; но они вместе с тем хорошо знают, что русская газета не такая сила, с которой приходится считаться».

4

ПОСЛЕДНЯЯ ТРИБУНА ТУРГЕНЕВА

¹ В своих воспоминаниях «Замечательное десятилетие» П. В. Анненков писал, что «не отсутствие народных симпатий в душе и не надменное пренебрежение к строю русской жизни сделали Европу необходимостью для его <Тургенева. — М. Л.> существования, а то, что здесь обильнее текла умственная жизнь» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 316); см. также: Schapiro L. Turgenev: His Life and Times. New York, 1978. Chap. 13; Moser C. A. Turgenev: The Cosmopolitan Nationalist//Review of National Literatures. 1972. Vol. 3. No 1. P. 57—58.

² Обзор откликов на роман см. в статье: Цейтлин А. Г. Новь//И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. М., 1976. С. 106—146 (Литературное наследство. Т. 76). И. Берлин назвал провал «Нови» «последним поражением» Тургенева (Berlin I. The Gentle Genius//New York Review of Books. 1983. Vol. 30. No 16. Oct. 27). Отзывы критики о всех романах Тургенева приведены в комментариях к его собранию сочинений (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М.; Л., 1978—). Ко времени написания этой книги вышли первые двенадцать томов (все — сочинения). Везде, где возможно, я буду ссылаться на это издание, сокращенно: Тургенев. ПСС. 2-е изд. В остальных случаях ссылки будут даны на более раннее издание: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960—1968, сокращенно: Тургенев. Соч. и Тургенев. Письма.

³ Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе//Минувшие годы. 1908. № 8. Авг. С. 9—12.

⁴ О собраниях в 1879 г. см.: Алексеева Н. В. Воспоминания П. П. Викторова о Тургеневе//И. С. Тургенев (1818—1883—1958)/Под ред. М. П. Алексеева. Орёл, 1960. С. 288—343; Лавров П. Л. И. С. Тургенев и развитие русского общества//И. С. Тургенев в воспоминаниях

революционеров-семидесятников/Собрал и комм. М. К. Клеман; Ред. и введ. Н. К. Пиксанова. М.; Л., 1930. С. 45—52. Несколько речей Тургенева, произнесенных в 1879 г., напечатаны в кн.: Тургенев. ПСС. 2-е изд. Т. 12. С. 335—340.

⁵ Тургенев в материалах перлюстрации III отделения и департамента полиции//И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. С. 325. Повседневная деятельность писателя прослежена в кн.: Клеман М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.; Л., 1934. Согласно П. Л. Лаврову (И. С. Тургенев и развитие русского общества. С. 54—55), Тургеневу, возможно, было запрещено появляться на некоторых собраниях в Петербурге, в которых он предполагал участвовать, и полиция «посоветовала» ему покинуть страну раньше, чем он намеревался.

⁶ Лавров П. Л. Социалистическое движение в России//Каторга и ссылка. 1925. № 1 (Кн. 14). С. 73—74.

⁷ Тургенев. ПСС. 2-е изд. Т. 12. С. 336—337.

⁸ Тургенев. Письма. Т. 10. С. 305.

⁹ См.: Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе. С. 9—13; Лавров П. Л. И. С. Тургенев и развитие русского общества. С. 56. Тургенев действительно оказывал помощь нескольким революционерам-эмигрантам, в том числе и своему старому другу М. А. Бакунину. См.: Scharif L. Turgenev. P. 279—280. Непосредственным предлогом для нападения Маркевича послужило доброжелательное предисловие Тургенева к статье революционера И. Я. Павловского „En cellule: Impressions d'un nihiliste“, опубликованной в газете „Le Temps“ (см.: Тургенев. Сочинения. Т. 15. С. 116—117).

¹⁰ Тургенев. Соч. Т. 15. С. 184—185.

¹¹ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 65.

¹² Там же. С. 177, 198.

¹³ См.: Тургенев и Савина: Письма И. С. Тургенева к М. Г. Савиной; Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Тургеневе/С предисл. и под ред. А. Ф. Кони. Пг., 1918. Шапиро считает, что в 1879 г. Тургенев «вital в облаках, не имея представления о положении на политической сцене России» (Р. 275). Ученый приводит доказательства, что причиной путешествия, предпринятого в 1880 г., равно как и слабости Пушкинской речи, была пылкая влюбленность писателя в актрису (Р. 306).

¹⁴ РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 179, Протоколы Пушкинской комиссии ОЛРС. На первом заседании 15 апреля было принято решение просить Тургенева написать брошюру, а также пригласить его войти в Комиссию (л. 1—2). Тургенев упоминает об этом поручении в письме к Стасюлевичу от 29 апреля (Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 243). См. также его письма к Леже и Флоберу (Там же. С. 240, 244—245). Об интриге против Каткова см. выше, гл. 3.

¹⁵ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 236. См. также: письмо Тургенева к Лорис-Меликову от 8 октября 1880 г. (Там же. С. 310—311);

Lettres inédites de Tourguenev à Pauline Viardot et à sa famille/Ed. H. Granuyard, A. Zviguilsky. Paris, 1972. P. 218, 220.

¹⁶ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 237; ср. с. 238, 243.

¹⁷ Там же. С. 238, 251.

¹⁸ Ходили слухи, что в беседе с Тургеневым Толстой осудил торжества, назвав их «комедией». См., например: Новое время. 1880. 29 июня. № 1556. С. 2. Н. К. Михайловский согласился с этим, добавив, что «кроме дрянной лицемерной комедии, была еще комедия искренняя» (Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1897. Т. 4. Стлб. 913).

¹⁹ Недельные очерки и картинки//Новое время. 1880. 25 мая. № 1522. С. 2 (без подписи).

²⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: Юбилейное изд.: В 90 т. М., 1956. Т. 78. С. 105; см. также: Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 542.

²¹ Brooks J. Russian Nationalism and Russian Literature: The Canonization of the Classics//Nation and Ideology: Essays in Honor of Wayne S. Vucinich/Ed. I. Banac, J. G. Ackerman, and R. Szporluk. Boulder, Colo., 1981. P. 323.

²² См. его стихотворение «К памятнику Пушкина» (Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 17), в котором о празднике говорится: «... торжище, где гам и теснота,/Где здравый русский смысл примолк, как сирота». Фет сообщил ОЛРС, что не может присутствовать «по нездоровью». Страхов писал Фету: «Читал ваши чудесные стихи, написанные против праздника. Мне стало понятно, почему их там публично не читали» (С. 655).

²³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 526.

²⁴ Там же. Т. 30. С. 363—364.

²⁵ Там же. С. 170—171. В черновике он написал: «Я знаю в народе несколько случаев сумасшествия от этого неразрешенного вопроса» (С. 361).

²⁶ Там же. Т. 63. С. 16.

²⁷ Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1914. С. 147.

²⁸ Сергеевко П. А. Тургенев и Толстой//Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива» на 1906 г. СПб., 1906. № 9—12. С. 48—49.

²⁹ См.: Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. 3-е изд. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 179; Simmons E. Leo Tolstoy. Boston, 1946. P. 340.

³⁰ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 247—249. В протоколе заседания ОЛРС, на котором было решено просить Тургенева написать брошюру, недвусмысленно говорится, что она должна быть прочитана «в день торжества Комиссией народных читален в Москве» (РГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 179, л. 1). Тургенев подтвердил это предложение в письме к Стасюлевичу (Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 243). Он пишет, что брошюра будет распространяться бесплатно, но не упоминает, что она предназначена специально «для народа».

³¹ Тургенев. Письма. Т. 5. С. 120—121.

³² Буква [Василевский И. Ф.]. Мимоходом: Пушкинская неделя в Москве//Молва. 1880. 11 июня. № 159. С. 2.

³³ Корреспонденция//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 10 июня. № 158. С. 1 (подпись. Один из публики).

³⁴ Петербургская газета. 1880. 8 июня. № 111. С. 1; Голос. 1880. 6 июня. № 156. С. 1 (передовая ст.).

³⁵ Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. М., 1939. Т. 19. С. 424.

³⁶ См., например, записи в дневнике М. А. Веневитинова, опубликованные в кн.: Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 502—504 (Литературное наследство. Т. 86). Ошибка в названии стихотворения произошла из-за того, что когда Жуковский впервые опубликовал его после смерти Пушкина, он изменил первую строчку на «Опять на родине! Я посетил!». С тех пор оно стало называться «Опять на родине» в посмертных исследованиях и в издании Анненкова. См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 3. Кн. 2. С. 1262—1263.

³⁷Сергеенко П. А. Тургенев и Толстой. С. 49. Веневитинов записал в дневнике, что сам Тургенев «в самом деле является последней тучей литературного оживления 40-х годов, заблудившейся на темном небе нашего времени» (Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 503).

³⁸Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском//Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 349. Следует иметь в виду славянофильские убеждения Страхова и то обстоятельство, что, когда он писал воспоминания, он знал об огромном успехе Достоевского.

³⁹Ссылки на речь Тургенева здесь и далее в тексте даны по изданию: Тургенев. ПСС. 2-е изд. Т. 12. С. 341—350. Некоторые фрагменты его речи возвращают нас к двум лекциям о Пушкине, прочитанным в 1860 г. (см.: Тургенев. Письма. Т. 4. С. 65—66, 469—470), большой отрывок из которых он впоследствии использовал в «Воспоминаниях о Белинском» (впервые: Вестник Европы. 1869. № 6; Тургенев. Соч. Т. 14. С. 22—63). Для публичного чтения Тургенев сократил свою речь примерно на двадцать процентов; среди опущенных фрагментов, восстановленных в публикации, был призыв помнить Белинского, день смерти которого совпал с днем рождения поэта (26 мая — день, на который первоначально было назначено открытие памятника). См. комментарии Н. В. Измайлова к речи: Тургенев. ПСС. 2-е изд. Т. 12. С. 681—687.

⁴⁰Широко было распространено мнение, что ко времени своей внезапной смерти Пушкин успел только достигнуть зрелости. По предположению Н. В. Измайлова (Тургенев. ПСС. 2-е изд. Т. 12. С. 686), Тургенев мог по ошибке заключить, что письмо Пушкина к Раевскому (1825), в котором говорилось: „Je sens que mon âme s'est tout-à-fait développée, je puis créer“ (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1979. Т. 10. С. 127; пер.: «Чувствую, что духовные силы

мой достигли полного развития, я могу творить»), было написано незадолго до смерти. Это письмо могло контаминироваться в сознании Тургенева с известным письмом Жуковского к С. Л. Пушкину, в котором, сообщая отцу о кончине его сына, Жуковский заявил, что смерть настигла поэта тогда, когда совершалось его созревание. Отсюда Тургенев заключил, что перед смертью Пушкин сам уже сознавал, что стоит на пороге нового, более высокого периода своего творчества, но еще не полностью проявил себя в этом качестве. Однако многие современники поэта и позднейшая критика разделяли мнение, что Пушкин умер слишком рано, для того чтобы стать наравне с «всемирными» гениями — Гете, Шекспиром или Данте, слишком рано, чтобы сказать свое «последнее слово». См., например: Мережковский Д. С. Вечные спутники (Пушкин). 3-е изд. СПб., 1906. С. 7—10. Ср. также заключительные слова речи Достоевского: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 148—149).

⁴¹ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 248.

⁴² Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе. С. 13. Слова Страхова приводятся в кн.: Тургенев. ПСС. 2-изд. Т. 12. С. 685. А. Ф. Кони также отметил отрицательную реакцию на речь: Кони А. Ф. На жизненном пути. М., 1916. Т. 2. С. 97—98. Другая современница писала: «Речь (...) была превосходно произнесена, ей много аплодировали, но понравилась она по содержанию своему далеко не всем» (Нелидова Л. Памяти И. С. Тургенева//Вестник Европы. 1909. № 9. С. 234).

⁴³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 182.

⁴⁴ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 271.

⁴⁵ Там же. С. 249.

⁴⁶ См. выше гл. 1, примеч. 19. О вкладе Анненкова в пушкинистику см.: Модзалевский Б. Л. Работы П. В. Анненкова о Пушкине//Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. С. 275—396; Пушкин: Итоги и проблемы изучения/Под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.; Л., 1966 (по указ.).

Анненков считал Пушкина (если употребить термин В. Б. Сандомирской, см.: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. С. 54) «либеральным консерватором», очень близким по духу к 1880 г. Он завершил свою статью об общественных идеалах Пушкина следующим утверждением «Он (Пушкин. — М. Л.) всегда останется тем, чем был при жизни — представителем типа гуманного развития в свою эпоху, примером человека, который, при всех обстоятельствах, сохранял живое гражданское чувство и всю жизнь обнаруживал неустанную энергию в поведении справедливых, честных отношений между людьми, за что и

подвергался часто обвинению в беспокойном либерализме, — который, наконец, всю душою постоянно желал для своей родины умножения прав и свободы, в пределах законности и политического быта, утвержденного всем прошлым и настоящим России. . .»

⁴⁷ Тургенев писал Анненкову в марте 1880 г.: «... всё молодое поколение пришло в умиление — оно поняло, что им есть чему поучиться у стариков <...> Bravo! Bravo! „La vieille garde ne meurt pas, ne se rend pas — elle attaque elle-même“» (Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 223; пер.: «Старая гвардия не умирает, не сдается — она сама атакует»). Примечательно, что мемуары Анненкова обострили взаимное раздражение между Достоевским и редакцией «Вестника Европы», воскресив старую сплетню о нем. См.: Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. Л., 1976. С. 463, примеч. 776; Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech and the Politics of the Right under the Dictatorship of the Heart//Canadian-American Slavic Studies. 1983. Summer. Vol. 17. No 2. P. 232—235.

⁴⁸ Лавров П. Л. И. С. Тургенев и развитие русского общества. С. 62.

⁴⁹ Тургенев. Соч. Т. 15. С. 268—269.

⁵⁰ Тургенев. ПСС. 2-е изд. Т. 12. С. 683—684.

⁵¹ Буква [Василевский И. Ф.]. Мимоходом: Пушкинская неделя в Москве//Молва. 1880. 11 июня. № 159. С. 1.

⁵² Корреспонденция//Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 19 июня. № 158. С. 1 (подпись: Один из публики).

⁵³ Литературно-житейские заметки//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 772.

⁵⁴ Цит. по: Лавров П. Л. И. С. Тургенев и развитие русского общества. С. 43. Я. П. Полонский вспоминал, как в 1881 г. Тургенев его спросил: «„Можешь ли ты пятью буквами определить характер мой?“ — Я сказал, что не могу. — „Попробуй, определи всего меня пятью буквами“. — Но я решительно не знал, что ему ответить. — „Скажи — „трус“, и это будет справедливо“» (Полонский Я. П. Повести и рассказы. СПб., 1895. Ч. 2. С. 577).

⁵⁵ Успенский не хотел произносить речь, подобно тому как 6 июня поступило большинство делегатов. См.: Иванчин-Писарев А. И. Хождение в народ. М.; Л., 1929. С. 375.

⁵⁶ Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М.; Л., 1951. Т. 13. С. 228.

⁵⁷ Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 159—160. Двумя днями раньше Салтыков написал Островскому: «... Умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу» (С. 158).

⁵⁸ Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. London, 1958. P. 118. См. также: Venturi F. Roots of Revolution. New York, 1966. P. 694.

⁵⁹ Михайловский Н. К. Революционные статьи. Берлин, 1906. С. 7 и след. О внутренних спорах в «Народной Воле» см.: Venturi F. Roots:

of Revolution. Chap. 21. О позиции Михайловского см.: Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. P. 108—114; на эту книгу я главным образом опираюсь в своем изложении. Биллингтон называет позицию Михайловского «критическим народничеством».

⁶⁰ Литература Социально-Революционной Партии «Народной Воли». [Paris], 1905. С. 90. См. по этому вопросу: Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. P. 247; а также: Venturi F. Roots of Revolution. P. 692—694.

⁶¹ См. письмо А. Н. Островскому от 25 июня 1880 г. (Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 158). В письме Н. Д. Хвощинской от 15 мая он жаловался на цензуру: «Хоть и обещают нам времена льготные, но это еще в будущем. <...> Я думаю, что льготы действительно будут, но сомневаюсь, чтоб они распространялись на ту общечеловеческую почву, которая составляет *pià desideria* (идеалы (лат.). — М. Л.) „Отечств(енных) записок“. Для нашего журнала, по видимому, нет ни правой, ни левой — все карты биты. <...> А результат таковых следующий: как бы при либералах именно и не погибнуть. Двенадцать лет как я хожу за „Отеч(ественными) записками“, видел Лонгинова, видел Шидловского и все-таки: жив емь и душа моя! А вот либералы, пожалуй, и подкузьмят» (С. 153).

⁶² Михайловский Н. К. Соч. Т. 4. Стлб. 918—919.

⁶³ Там же. Стлб. 922, 912, 916.

⁶⁴ Там же. Стлб. 949—950, 952.

⁶⁵ Там же. Стлб. 952.

⁶⁶ «Господин Оранский». Цит по ст.: Алексеев Л. Почему вскипел бульон и почему теперь только мы обращаем на это свое внимание//Русское богатство. 1880. № 12. Дек. С. 55.

⁶⁷ Михайловский Н. К. Соч. Т. 4. Стлб. 958.

⁶⁸ Современное состояние русской печати//Голос. 1882. 8 окт. № 273. С. 1.

⁶⁹ Михайловский Н. К. Соч. Т. 4. Стлб. 923.

⁷⁰ Там же. Стлб. 924.

5

ДОСТОЕВСКИЙ «ЭСКАМОТИРУЕТ» ПРАЗДНИК

¹ Литературно-житейские заметки//Неделя. 1880. 8 июля. № 27. С. 869 (без подписи).

² Московские заметки//Голос. 1880. 11 июня. № 160. С. 1.

³ Михневич В. О. Пушкинский праздник//Новости. 1880. 13 июня. № 154. С. 1.

⁴ У памятника//Петербургская газета. 1880. 8 июня. № 111. С. 1.

⁵ Московский дневник//Русский курьер. 1880. 7 июня. № 153. С. 1.

⁶ Знамение времени//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 746.

⁷ Молва. 1880. 15 июня. № 163. С. 1.

⁸ По свидетельству В. О. Михневича, так назвал торжества И. Ф. Горбунов (Пушкинский праздник//Новости. 1880. 7 июня. № 149. С. 1).

⁹ Литературно-житейские заметки//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 770; Знамение времени//Там же. С. 746.

¹⁰ У памятника//Петербургская газета. 1880. 8 июня. № 111. С. 1.

¹¹ Веселовский Алексей Н. Поэзия Пушкина и ее культурное значение//Русский курьер. 1880. 6 июня. № 152. С. 1.

¹² Чествование памятника Пушкину в Москве//Молва. 1880. 8 июня. № 157.

¹³ Аде [Дмитриев Андр. Мих.?). Мимоходом//Современные известия. 1880. 3 июня. № 151. С. 1. Ср. примеч. 44 к гл. 3. В то время апокалиптические предчувствия были в России очень распространенным явлением. См.: Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. Chap. 8; о русском мессианизме см.: Simmons E. J. Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. New York, 1967; Лосский Н. О. Характер русского народа. Франкфурт, 1957. Гл. 8.

¹⁴ Страхов Н. Н. Открытие памятника Пушкину//Семейные вечера. 1880. № 6. С. 267—268. Не вызывает сомнений, что Достоевский и его сторонники, как и вся публика, оценивали его появление на торжествах как противоборство или «дуэль» с Тургеневым. См. об их противостоянии: Никольский Ю. Тургенев и Достоевский: (История одной вражды). София, 1921; Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech and the Politics of the Right under the Dictatorship of the Heart//Canadian-American Slavic Studies. 1983. Summer. Vol. 17. No 2. P. 222—256; Гедроиц А. Пушкинские речи Тургенева и Достоевского (7 и 8 июня 1880 г.)//Transactions of the Association of Russian-American Scholars in the U. S. A./Ed. N. Jernakoff. New York, 1984. Vol. 17. P. 253—260. Достоевский настороженно следил за попытками Тургенева и его друзей из ОЛРС обратить проведение торжеств в свою пользу. Из его писем явствует, что он чувствовал себя обязанным приехать в Москву и их опровергнуть.

¹⁵ Михневич В. О. Пушкинский праздник//Новости. 1880. 13 июня. № 154. С. 2.

¹⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 184.

¹⁷ Буква [Василевский И. Ф.]. Мимоходом: Пушкинская неделя в Москве//Молва. 1880. 14 июня. № 162. С. 2.

¹⁸ Литературно-житейские заметки//Неделя. 1880. 15 июня. № 24. С. 776.

¹⁹ Любимов Д. Н. Воспоминания//Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 156—166; переизд. в кн.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников/Сост. А. С. Долинин. М., 1964. Т. 2. С. 378. (Далее сокращенно: Достоевский в воспоминаниях).

²⁰ Два предложения до многоточия приведены Н. Н. Страховым в его «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» (Достоевский в воспо-

минаниях. Т. 2. С. 352). Далее цит. по корреспонденции: Пушкинские дни в Москве: 8 июня. Второе утро в Обществе любителей словесности: Речь Достоевского//Новое время. 1880. 11 июня. № 1538. С. 2. Аксаков имеет в виду «сомнения» Тургенева относительно статуса Пушкина, которые тот высказал в своей речи накануне.

²¹ Начать подписку без официального разрешения было нарушением закона, однако 1 августа 1880 г. царь одобрил официальное прошение Общества. Это было сообщено генералом-губернатором Долго-руковым. ОЛРС осуществило этот проект, и памятник Гоголю в Москве был торжественно открыт 26 апреля 1909 г. См.: Общество любителей российской словесности при Московском университете. [М.], 1911. С. 101—103.

²² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 185. Многие очевидцы событий отмечали, что среди самых восторженных почитателей Достоевского большинство составляли женщины. Не все они, однако, одобрили его панегирик Татьяне, в которой он видел «тип положительной красоты», «апофеозу русской женщины». См., например, дневник радикально настроенной Е. П. Летковой-Султановой (цит. ниже, примеч. 65).

²³ См.: Достоевский в воспоминаниях. Т. 2. С. 352, а также описание литературно-музыкальных вечеров в дневнике М. А. Веневитинова в кн.: Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 506 (Литературное наследство. Т. 86).

²⁴ Тургенев. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 272.

²⁵ Речь Достоевского была напечатана 13 июня в газете «Московские ведомости». В августе она была перепечатана в «Дневнике писателя» за 1880 г. со вступлением и ответом А. Д. Градовскому и критикам. Науч. изд. в кн.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 129—174; варианты: С. 273—348. Далее ссылки приводятся в тексте по этому изданию (без указания тома).

Об истории написания речи и ее рукописях см.: Черновые наброски к «Речи о Пушкине»/Предисл. и публикация И. В. Иванько//Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 101—113; а также обширные комментарии в кн.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 440—507.

²⁶ Парафраза заключительной строфы стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855), которые Достоевский очень любил и часто цитировал (например, в «Братьях Карамазовых», кн. 5, гл. 5):

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

²⁷ Анализируя риторику парадокса у Достоевского, Роберт Белнап следующим образом комментирует фрагмент речи, в котором выражены мысли подобного рода: «Русская культура Достоевского и его

русский национализм тем более русские в силу того, что они производные, а его экспансионизм и неприятие других национальных идентичностей становятся составным элементом всеобъемлющей христианской любви, которая, по его мнению, и отличает Россию. В этом используемый им риторический прием примирения через уступку и парадокс становится неразличим с пониманием идентичности как всеобщности» (Belknap R. L. Dostoevsky's Nationalist Ideology and Rhetoric//Review of National Literatures. 1972. Vol. 3. No 1. P. 89—100).

² Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812—1855. Cambridge, Mass., 1961. P. 292. Далее Малиа пишет: «Славянофилы возвели в достоинство веры мысль о том, что в русском народе есть „*нечто*“, что оправдывает существование его огромной, но поработанной страны, веры, которая своей глубиной и страстностью являла меру того самого искомого ими „*нечто*“» (Р. 296). Ср. защиту этого «нечто» во вступлении к Пушкинской речи и слова Князя (Ставрогина) в подготовительных материалах к «Бесам»: «Мы несем миру единственно, что мы можем дать, а вместе с тем единственно нужное: православие, правое и славное вечное исповедание Христа и полное обновление нравственное его именем. Мы несем 1-й рай 1000 лет» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 167—168).

²⁹ В «Объяснительном слове», предпосланном Пушкинской речи в августовском выпуске «Дневника писателя», Достоевский задавал вопрос: «Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная служить *экономически* преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность (<...>)? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное» (Там же. Т. 26. С. 131—132).

³⁰ Подобные мотивы встречаются в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя, поэзии Тютчева, статьях К. С. Аксакова и у других писателей. См. в особенности знаменитый рассказ Лескова «На краю света» (1875—1876), а также его анализ в статье: Lantz K. A. Leskov's „At the Edge of the World“: The Search for an Image of Christ//Slavic and East European Journal. 1981. Spring. Vol. 15. No 1. P. 34—43. Лесков не соглашался с некоторыми аспектами мессианизма Достоевского, но защищал его от обвинений К. Н. Леонтьева. См. также: Богаевская К. П. Н. С. Лесков о Достоевском (1880-е годы)//Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 602—606; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 483—486.

³¹ [Благосветлов Г. Е.]. Романист, не попавший в свои сани//Дело. 1880. № 9. Современное обозрение. С. 160 (подпись. Г.-Н.). Эдуард Василюк отметил то ощущение дискомфорта, которое чувствуют многие, кто непосредственно сталкивается с мессианизмом Достоевского: «Для большинства из нас то, что Достоевский здесь (<в записных книжках к «Бесам». — М. Л.>) излагает в качестве положительного учения, сводится к назойливой и в некоем роде неразумной ненависти к За-

паду, а также иллюзорному представлению о том, что русский народ каким-то образом воплощает самый дух христианства. Подобные идеи едва приемлемы даже в отвлеченной форме, лучше всего они выглядят в виде страстных излияний его героев в состоянии галлюцинаций» (Dostoevsky F. M. The Notebooks for „The Possessed“/Ed. E. Wasiolek; Transl. V. Terras. Chicago, 1968. P. 185).

³² Замотин И. И. Ф. М. Достоевский в русской критике. Варшава, 1913. Ч. 1. 1846—1881. С. 288. Здесь приведен наиболее полный обзор печатных откликов на речь Достоевского.

³³ Статья С. П. Шевырева «Сочинения Александра Пушкина» была напечатана в журнале «Москвитянин» в 1841 и 1842 гг.; цит. по кн.: Русская критика XVIII—XIX веков/Сост. В. И. Кулешов. М., 1978. С. 134. Ср. с. 145.

О Пушкине-Прометее и Пушкине-Протее см., например, стихотворения И. П. Бороздина «К А. С. Пушкину» (1828) и Н. И. Гнедича «А. С. Пушкину по прочтении его сказки о царе Салтане и пр.» (1831?) (Каллаш В. Русские поэты о Пушкине. М., 1989. С. 29, 60). Подобное представление о Пушкине до сих пор широко бытует в критической традиции. Виктор Эрлих заметил, что «Якобсон и Томашевский постоянно обращают внимание на протейскую природу пушкинского видения мира, которое не допускает неизменности, не поддается попыткам предложить единственное толкование» (Erlich V. The Double Image: Concepts of the Poet in Slavic Literatures. Baltimore, 1964. P. 17).

³⁴ Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина: Статья восьмая//Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 367—368; см. также с. 277. Примечательно, что сам Пушкин так и не получил разрешения выехать за границу. Разбирая речь Достоевского спустя тридцать шесть лет, А. И. Кошелев, последний из ранних славянофилов, все еще подвергал критике эту черту русского характера (см. ниже, примеч. 39).

³⁵ В 31-й статье «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь говорит об особой природе Пушкина (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1978. Т. 6. С. 332—372, особо с. 334—348), а о русском мессианизме рассуждает в 10-й статье «О лиризме наших поэтов»: «Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поверием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чувствует приближение иного Царствия. <...> И этого не может быть у поэтов других наций. . .» (С. 217—218).

В то же время, однако, Достоевский с самого начала своей литературной деятельности возражал против «лженародности», порожденной «односторонним сатирическим взглядом» на русский народ в произведениях Гоголя (см. также его вторую «лекцию» в ответ Градовскому). Достоевский связывал это с тем, что Гоголь не вполне понимал русское православие. Ср. с его черновой записью в декабре 1876 г.: «У нас скорее литература дала положительное <т. е. Пушки-

на. — М. Л.), чем сатиру. Наши сатирики не имеют положительного идеала в подкладке. Идеал Гоголя странен: в подкладке его христианство, но христианство его не есть христианство» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 303—304).

³⁶ Поскольку православная церковь никогда не проявляла заботы о составлении письменного свода своих установлений веры, богословского канона, западные ученые, привыкшие к традиции римской католической церкви, часто затрудняются определить точные границы «православия» Достоевского. Например, А. Бойс Гибсон говорит об идиосинкразической природе православия Достоевского, беря за мерило во многом пристрастные и тенденциозные точки зрения К. Н. Леонтьева, Д. С. Мережковского и В. В. Розанова (Gibson A. V. *The Religion of Dostoevsky*. Philadelphia, 1973. P. 6—7). С другой стороны, во многих современных русских работах о православии различные положения в формулировках Достоевского и эпизоды из его романов приводятся в качестве примеров, в которых выражается суть православия. Лучшей работой, раскрывающей особую «окраску» православия Достоевского, остается книга Н. А. Бердяева «Миросозерцание Достоевского» (Paris, 1968). Об условиях, в которых развилась религиозность Достоевского, его воспитании и повседневных проявлениях его набожности см.: Gibson A. V. *Op. cit.* P. 8—13; Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк, 1953. Гл. 2.

³⁷ См. основные работы об «органической» традиции: Whittaker R. T., Jr. *Apollon Aleksandrovič Grigor'ev and the Evolution of „Organic Criticism“*: Diss. Indiana University, 1970; Krupitsch V. S. *Apollon A. Grigor'ev and His „Organic“ Criticism*: Diss. University of Pennsylvania, 1957; Dowler W. *Dostoevsky, Grigor'ev, and Native Soil Conservatism*. Toronto, 1982. Чап. 3; Terras V. *Belinskij and Russian Literary Criticism: The Heritage of Organic Aesthetics*. Madison, 1974; Зенковский В. В. *История русской философии*. 2-е изд. Париж, 1989. Т. 1.

³⁸ Сам Киреевский пришел к православию через Шеллинга. См.: Walicki A. *The Slavophile Controversy*. Oxford, 1975. P. 132—133; Сладкевич Н. Г. *Славянофильская критика 40—50-х годов*//История русской критики: В 2 т./Ред. коллегия: Б. П. Городецкий, А. Лаврецкий, Б. С. Мейлах. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 328—329.

³⁹ Кошелев А. И. Отзыв по поводу слова, сказанного Ф. М. Достоевским на Пушкинском торжестве//Русская мысль. 1880. № 10. С. 2—3.

⁴⁰ Горшков Александр [Протопопов М. А.]. Проповедник «нового слова»//Русское богатство. 1880. № 8. С. 6—7.

⁴¹ См., например, статью Хомякова «О возможности русской художественной школы» (1847), где он приходит к отрицательным выводам (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 4-е изд. М., 1900. Т. 1. С. 73—101); обзоры Киреевского, написанные в 1829 и 1831 гг., где он жаловался на «бедность нашей литературы» (Киреевский И. В. Полн. собр.

соч. М., 1861. Т. 1). В своих статьях 1860-х годов, например: «Два лагеря теоретиков» (1862), Достоевский полемизировал со славянофильскими взглядами на литературу. В 1870 г. он записал среди подготовительных материалов к «Бесам»: «Славянофилы — барская затея. Их мнение о Пушкине (бедность русской литературы)» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 64).

⁴² «Основание христианской церкви положил Господь Иисус Христос, но жизнь и деятельность ее вполне открылись в день сошествия Святого Духа на апостолов, с которого и начинается ее история» (Смирнов П. История христианской церкви. Берлин, [1903?]. С. 3). О толковании Пятидесятницы в православии см.: Ware T. The Orthodox Church. Baltimore, 1973. P. 20, 246, 253; Palmer W. Dissertations on Subjects Relating to the „Orthodox“ or „Eastern-Catholic“ Communion. London, 1853. P. 115; Horovsky G. The Sacrament of Pentecost//Idem. Creation and Redemption. Belmont, Mass., 1976. P. 189—200.

⁴³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 154.

⁴⁴ Там же. С. 237. Отметим, что в другом месте «Князь» (Ставрогин, полемист у Достоевского) «коснулся до Шекспира, заговорил, сравнил <с> Россией и сказал вдруг: „Ну куда и где нам равняться с такою колоссальностью!“» (Там же. С. 144).

⁴⁵ Там же. С. 188. Н. О. Лосский толкует эту мысль следующим образом: «Подлинная красота есть духовное совершенство и смысл, воплощенные в совершенной телесности, сполна преображенной в Царстве Божиим или хотя бы отчасти преображенной в земной действительности» (Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк, 1953. С. 206). Красота мира отражает воплощение божественной силы и обещание высшей, всеобщей красоты Царства Божия на земле в конце света. Философ-богослов С. Н. Булгаков делает следующий шаг, называя Святой Дух самой «Красотою» и представляя Бога, персонифицированного в Святом Духе, своего рода художником-гением (подобное представление восходит к Шеллингу): «Все образы бытия, облекающие его *смыслы*, будучи творениями в красоте, суть искусство Духа Святого, Который и есть мировой Художник... Красота мира есть действие Духа Святого, Духа Красоты...» (Булгаков С. Н. О Богочеловечестве. Париж, 1936. Т. 2. Утешитель. С. 233). Это описание действия Святого Духа восходит, несомненно, по крайней мере частично, к Достоевскому и его толкованию произведений Пушкина.

⁴⁶ Даже во времена Пушкина православие иногда называли «Богочеловечеством», имея в виду воплощение Бога в облик человека. Эта концепция получила широкое распространение в семидесятые годы (см.: Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. Chap. 8) и занимает центральное место во взглядах и творчестве Достоевского. У него «Богочеловек» противопоставляется «человекобогу», или «всечеловеку» («общечеловеку»), желающему, подобно «сверхчеловеку» Ницше, или антихристу, стать самому Богом. См., например, сцену кош-

мара Ивана Карамазова, в которой дьявол рисует будущее, когда «человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 83). См. также: Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Гл. 7. Владимир Соловьев также определял этим термином православие в своих знаменитых «Лекциях о Богочеловечестве» (1877—1881), а последователи Достоевского и Соловьева расширили его смысл. См., в частности, трехтомный магnum opus С. Н. Булгакова «О Богочеловечестве» (1933—1945), второй том которого указан в предыдущем примечании.

⁴⁷ А. И. Солженицын сделал эти слова лейтмотивом своей Нобелевской речи в 1970 г.

⁴⁸ См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 351—352; Достоевский Ф. М. Письма/Под ред. и с прим. А. С. Долинина. М., 1959. Т. 4. С. 771—772. О чтении Достоевским стихотворения «Пророк» см. выдержку из дневника Е. А. Штакеншнейдер в кн.: Достоевский Ф. М. Письма. Т. 4. С. 421. Существует обширная литература о Достоевском-чтеце. См.: Ф. М. Достоевский: Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем. 1917—1965. М., 1968, *passim*; Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech and the Politics of the Right under the Dictatorship of the Heart//Canadian-American Slavic Studies. 1983. Summer. Vol. 17. No 2. P. 228—229.

⁴⁹ См. статью «Церковь одна» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 1—27), а также другие его богословские работы, помещенные в том же томе. Совершенно очевидно, что своим отношением к церкви и православию Достоевский во многом обязан Хомякову. В декабре 1880 г., откликаясь, видимо, на июльскую статью А. Д. Градовского «Тревожный вопрос», он записал: «Русский народ весь в православии и в идее его. <...> Православие есть церковь, а церковь — увенчание здания и уже навеки. Что такое церковь — из Хомякова» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 64). Комментарий к этой записи см.: Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860—1881 гг. М., 1971. С. 704. (Литературное наследство. Т. 83). См. также: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 190, 381 (ср.: Неизданный Достоевский. С. 275).

⁵⁰ Богословское значение Пятидесятницы находит отражение во многих особенностях православного ритуала и мысли, от собственно праздника Троицы до совершения служб и молитв. О влиянии Пятидесятницы на православный ритуал см.: Лебедев П. Наука о богослужении православной церкви. М., 1881. Ч. 1. С. 14; Ч. 2. С. 13—15, 43—51, 82 и след.; *Orthodox Spirituality*. New York, 1945. P. 77. Оно, без сомнения, отразилось также и в канонах, исполняемых в праздник Пятидесятницы. Они имелись в библиотеке Достоевского: Ловягин Е. Богослужбные каноны на греческом, славянском и русском языках. 2-е испр. изд. СПб., 1861. О наличии этой книги у Достоевского см.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 44. (Репринт. изд.: The Hague, 1972).

⁵¹ Патриархи ответили на папскую энциклику „In suprema Petri Apostolica Sede“ в 1848 г. «Церковь — весь народ, — писал Достоевский в записной тетради 1880—1881 гг., — признано восточными патриархами весьма недавно в 48 году, в ответе папе Пию IX-му» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 57).

⁵² «Самим действием своим (то есть самовольным изменением символа) Римский мир подразумеваемо заявил, что в его глазах весь Восток был не более как мир илотов в делах веры и учения. Церковная жизнь кончилась для целой половины церкви» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 50, ср. с. 48—49). См. также: Ware T. *The Orthodox Church*. P. 54—66, 218—230; Palmer W. *Dissertations...* P. 102—105, 154—162; Булгаков С. Н. О Богочеловечестве. Т. 2. Гл. 2 (особенно с. 161).

⁵³ См., например, имевшийся у Достоевского официально одобренный комментарий к книге Бытия: Властов Г. К. Священная летопись первых времен мира и человека. 2-е изд. СПб., 1879. С. 129—134. О наличии этой книги (1877—1878. 3 т.) в библиотеке Достоевского см.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. С. 43.

В произведениях Достоевского существует явная связь между Вавилонской башней и Вавилоном Апокалипсиса, что закономерно для русского языка. В древнееврейском языке оба эти названия обозначались одним и тем же словом, что перешло в греческий и русский языки и в них сохранилось, в отличие от английского. Вавилонская башня и Вавилон неоднократно упоминаются в письмах, статьях и художественных произведениях Достоевского в значении символов сатанинской гордости, упрямства и слепоты, которые, по предсказанию писателя, приведут мир к гражданским войнам, канибализму и всеобщим бедствиям. См., например: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 25, 230, 235, 238; Т. 30. Кн. 2. С. 68.

⁵⁴ Zernov N. *Eastern Christendom*. New York, 1961. P. 141. См. также рассуждения Андрея Синявского (псевдоним Абрам Терц) о значении Святого Духа (Голос из хора. Лондон, 1973. С. 246—250).

⁵⁵ Как указывает Гари Сол Морсон, «„Дневник писателя“ за 1880 г. предвещал, что Пушкинская речь Достоевского откроет царство братства», будучи «апокалиптическим катализатором». Ученый полагает, что «к тому времени, когда Достоевский предпринял издание „Дневника писателя“, он уже, очевидно, уверовал в реальность и близость второго пришествия Христа и его тысячелетнего царства» (Morson G. S. *The Boundaries of Genre: Dostoevsky's „Diary of a Writer“ and the Traditions of Literary Utopia*. Austin, 1981. P. 36—37). Аксаков тоже считал Пушкинские торжества частью священной истории и поворотным моментом в судьбах интеллигенции, но не предвестником апокалипсиса. См.: Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках по поводу открытия памятника Пушкину. С. 90.

⁵⁶ Успенский Г. И. Праздник Пушкина (Письма из Москвы — июнь 1880)//Полн. собр. соч. Т. 6. С. 426. Именно эта статья вызвала недо-

вольство Салтыкова (см. выше, гл. 4). Примечательно, что первоначально Успенский назвал продолжение предполагавшейся серии статей о торжествах «На родной ниве», отозвавшись на призыв Достоевского «Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Эти слова явно напоминали Успенскому идеалы народников. Ср. замечание Д. Н. Овсяннико-Куликовского: «Достоевский (<...>) энергично, хотя и непреднамеренно, поддерживал в молодежи ту систему понятий и чувств, которая была психологическим основанием революционных иллюзий наших социалистов» (Овсяннико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. СПб., 1907. Т. 2. С. 271—272). На том же основании критиковал концепцию православия в речи Достоевского К. Н. Леонтьев, усмотревший ее близость к «розовым, гуманистическим» взглядам социалистов (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 483—485).

⁵⁷ Это утверждал Д. Д. Благой в своей идеологически тенденциозной статье «Критика о Пушкине»; см.: Путеводитель по Пушкину. М.; Л., 1931. С. 204—205 (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т.: Прилож. к журн. «Красная нива» на 1930 г. Т. 6). Черновики речи показывают, что Алеко ассоциировался в сознании Достоевского с утопическими социалистами (т. е. с самим собою до ареста), с террористами-народниками, с народничеством вообще (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 454—455); получается нарисованный в главных чертах портрет русского интеллигента, представленного как обобщенный «тип».

⁵⁸ Михайловский Н. К. Соч. Т. 4. Стлб. 922, 949.

⁵⁹ Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech. P. 249. О политических взглядах Достоевского см.: Гроссман Л. П. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов//Литературное наследство. 1934. Т. 15. С. 83—123 (Репринт. переизд.: Vaduz, 1963); Thaden E. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. P. 59—88; Kohn H. Pan Slavism: Its History and Ideology. 2d ed. New York, 1960. P. 208—222; Idem. Dostoevsky and Danilevsky: Nationalist Messianism//Continuity and Change in Russian and Soviet Thought/Ed. E. J. Simmons. New York, 1967. P. 500—515.

⁶⁰ Горшков Александр [Протопопов М. А.]. Проповедник «нового слова»//Русское богатство. 1880. № 8. С. 5—6.

⁶¹ Что же дальше?//Молва. 1880. 13 июня. № 161. С. 1. Отклики на статью приведены в кн.: Замотин И. И. Достоевский в русской критике. Варшава, 1913. Т. 1. 1846—1881. Гл. 1. См. также: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 463—469.

⁶² Thaden E. C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. P. 142.

⁶³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 204; ср. с. 187—188, 197—199; Градовский А. Д. Мечта и действительность//Голос. 1880. 25 июня. № 174. С. 1—2. См. также анализ этой полемики: Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому//Вестник Европы. 1880.

№ 11. С. 431—456. Достоевский резко возражал Кавелину в записной тетради (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 54—63, 83—87).

⁶⁴ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 198.

⁶⁵ Страхов вспоминал, что, говоря о «положительном типе русской женщины», Достоевский упомянул Лизу Калитину из «Дворянского гнезда», а за нею Наташу Ростову из «Войны и мира». Грохот рукоплесканий, раздавшийся, когда было произнесено имя Тургенева, заглушил продолжение фразы о героине Толстого, его услышали только стоявшие рядом с оратором, и поэтому Достоевский изъясил его из печатного текста (см.: Достоевский в воспоминаниях. Т. 2. С. 351; Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 105; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 496—497). Близкая к народникам писательница (в то время курсистка) Е. П. Леткова-Султанова не согласилась с оценкою в речи Лизы, считая, что истинный идеал представляет Елена из «Накануне», «первая политическая деятельница» (см.: Леткова-Султанова Е. П. О Ф. М. Достоевском: Из воспоминаний//Звенья. М.; Л., 1932. Т. 1. С. 459—477; перепечат.: Достоевский в воспоминаниях. Т. 2. С. 380—398). Она утверждает, что Тургенев был сконфужен и стеснялся принять овации; по свидетельствам других очевидцев, он был тронут до слез.

Далее в речи Достоевский назвал Тургенева и Толстого «самыми талантливыми» русскими писателями, но оговорил, что в сравнении с Пушкиным они — «лишь „господа“, о народе пишущие» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 144). Ср. запись 1870 г.: «Их изучения хоть и точные (Лев Толстой, Тургенев) как бы чуждую жизнь открывают. Один Пушкин настоящий русский» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 138).

⁶⁶ О том, как речь оказалась, в конце концов, напечатанной в «Московских ведомостях», вместо «Русской мысли» С. А. Юрьева или «Нового времени», и не вполне искренних переговорах и колебаниях Достоевского относительно того, где напечатать речь, см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 456—457; Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 509—510. Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech. P. 239—240.

⁶⁷ Pollard A. P. Dostoevskii's Pushkin Speech. P. 256.

⁶⁸ О судьбах славянофильства после Хомякова см.: Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. М., 1912. Гл. 8; Thaden E. C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Chap. 10. В записной тетради за 1876—1877 гг. Достоевский назвал Пушкина «главным славянофилом России» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 276); Каткова он считал «вовсе не славянофилом» (Там же. Т. 30. Кн. 1. С. 169). О деятельности Самарина и его философии см.: Нольде Б. Е. Юрий Самарин и его время. Paris, [1926].

⁶⁹ Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. С. 232. Ср. с рассуждениями о богословском «либерализме» Хомякова: Walicki A. The Slavophile Controversy. Oxford, 1975. P. 196—197.

⁷⁰ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 184.

⁷¹ Там же. Т. 14. С. 275.

⁷² Михайловский писал, что вопрос «об апокалипсических пророчествах г. Достоевского» в «Дневнике писателя» за 1880 г. «в том именно и состоит, что г. Достоевский, толкующий ныне о вредности европейского „просвещения“ и европейских политических форм, ни единым словом не протестовал против водружения у нас европейских экономических порядков» (Михайловский Н. К. Соч. Т. 4. Стлб. 949). Об изменениях в общей экономической ситуации см.: Wortman R. *The Crisis of Russian Populism*. Cambridge, Mass., 1967. Chap. 5 *The Intrusion of Economics*.

⁷³ Pollard A. P. *Dostoevskii's Pushkin Speech*. P. 256.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

¹ Парадоксы скромного обывателя//Дон. 1880. 8 июля. № 74. С. 2.

² См.: Русанов Н. С. Событие 1 марта и Николай Васильевич Шелгунов//Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2 т. М., 1967. Т. 1. С. 354.

³ Миллер О. Ф. Пушкинский вопрос//Русская мысль. 1880. Кн. 12. С. 32.

⁴ Сам Ленин считал, что проект конституции Лорис-Меликова мог бы привести к возникновению «буржуазных политических партий». См.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964. С. 292. Зайончковский пишет, что революционеры «недооценили» «уступки», которые собирался сделать царь, и полагает, что его убийство было ошибкой (С. 299).

⁵ См.: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1978. Гл. 5; Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. М., 1971. Гл. 1.

⁶ Аксаков И. С. Соч. М., 1887. Т. 5. С. 29. Об Аксакове в данный период см.: Thaden E. C. *Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia*. Chap. 10; Lukashevich S. Ivan Aksakov (1823—1886): *A Study in Russian Thought and Politics*. Cambridge, Mass., 1965. Chap. 6.

⁷ К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг., 1923. Т. 1. Кн. 1. С. 49; Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925—1926. Т. 1. С. 324. Оба эти издания цитируются в кн.: Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. С. 21.

⁸ Исповедь графа Лорис-Меликова/Сообщ. С. Шпицер//Каторга и ссылка. 1925. № 2 (Кн. 15). С. 118—125.

⁹ Pipes R. *Russia under the Old Regime*. New York. 1974. P. 298.

¹⁰ О переменах в русской печати см.: Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журналистика. Гл. 2—3; Ли-

совский Н. М. Периодическая печать в России. 1703—1903 гг. СПб., 1903; Розенберг В., Якушин В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905; Козьмин Б. П. Русская журналистика 70-х и 80-х годов XIX века. М., 1948; Боханов А. Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. М., 1984. Об изменениях в читательской аудитории см.: Brooks J. Readers and Reading at the End of the Tsarist Era//Literature and Society in Imperial Russia/Ed. W. M. Todd, III. Stanford, 1978. P. 97—150. По новому уставу 1884 г. русские университеты также лишились многих своих прав на самоуправление, и тогда же были уволены М. М. Ковалевский и другие профессора, придерживавшиеся либеральных взглядов.

¹¹ См.: Turgas N. On Dostoevsky's Funeral//Slavic and East European Journal. 1986. Vol. 30. No 2. P. 271—277.

¹² Знаменитая статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант» (1882) и большое число написанных разными авторами в последующие годы имели целью ослабить посмертное политическое влияние Достоевского. В годы первой мировой войны М. Горький продолжил эту борьбу, назвав влияние Достоевского «карамазовщиной».

¹³ Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909—1910. М., 1991. Особо см. рассуждения С. Н. Булгакова на с. 66, 75—76.

¹⁴ См.: Ланский Л. Р. Последний путь: Отклики русской и зарубежной печати на смерть и похороны Тургенева//И. С. Тургенев: Новые материалы и исследования. М., 1976. С. 633—701 (Литературное наследство. Т. 76).

¹⁵ Никольский Ю. Дело о похоронах И. С. Тургенева//Былое. 1917. № 4. С. 148. Стасюлевич сопровождал тело Тургенева и участвовал в организации похорон, сообщая в «Новости» и «Вестник Европы» о затруднениях, с которыми сталкивался. В письмах к жене он изливал свое негодование по поводу того, что делало правительство. См.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке/Под ред. М. К. Лемке. СПб., 1912. Т. 3.

¹⁶ Цит по ст.: Никольский Ю. Дело о похоронах И. С. Тургенева. С. 148—149.

¹⁷ Лавров П. Л. И. С. Тургенев и развитие русского общества//И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников/Собр. и коммент. М. К. Клеман; ред. и введ. Н. К. Пиксанова. М.; Л., 1930. С. 78. Революционер П. Ф. Якубович написал листовку в защиту Тургенева, которая распространялась в Петербурге во время похорон. См.: Якубович П. Ф. И. С. Тургенев: (Прокламация народовольцев)//Там же. С. 3—14; Ланский Л. Р. Последний путь. С. 679.

¹⁸ Цит. по ст.: Никольский Ю. Дело о похоронах. С. 152—153. О наблюдении за Толстым см.: Н-ский Б. [Николаевский Б. И.]. Л. Н. Толстой и департамент полиции//Былое. 1918. № 3. С. 204—215; Simmons E. J. Leo Tolstoy. Boston, 1946.

¹⁹ Цит. по ст.: Никольский Ю. Дело о похоронах. С. 153.

²⁰ Айзеншток И. Я. Пушкинская годовщина 1887 года//Книжные новости. 1937. № 5. С. 45.

²¹ 30-е января в книжном магазине «Нового времени»//Новое время. 1887. 31 янв. № 3924. С. 2.

²² Там же.

²³ Павленков Л. Н. Периодические издания и книжное дело в России в 1887 году//Исторический вестник. 1888. № 4. С. 240—248. По данным Павленкова, в 1887 г. в России было издано 3518 названий книг, самую большую группу (782) составляла художественная литература, и в ней первые 163 места занимали произведения Пушкина. (Вторым по числу изданий был Л. Н. Толстой, за ним шли Крылов, Гоголь и Тургенев.) По моим подсчетам, основанным на суммировании цифр, приведенных в кн.: Берков П. Н., Лавров В. М. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем, 1886—1899. М.; Л., 1949, общий тираж сочинений Пушкина достиг 2 305 723 (148 названий). Анонимный автор статьи «Разгром книжного магазина» (Книжные новости. 1936. № 9. С. 21) приводит значительно меньшие цифры изданий Пушкина в 1887 г., однако он учитывает лишь двенадцать новых изданий «полного собрания сочинений» Пушкина.

²⁴ Исходя из численности населения 106 610 814 человек и цифр, характеризующих уровень грамотности (см.: Муратов М. В. Книжное дело в России в XIX и XX веках: Очерки истории книгоиздательства и книготорговли, 1800—1917 годы. М.; Л., 1931), я подсчитал, что к концу века на каждых четырех грамотных в России приходился один том Пушкина.

²⁵ Friedberg M. Russian Classics in Soviet Jackets. New York, 1962. P. IX.

²⁶ Скабичевский был редактором собрания сочинений Пушкина в издании Л. Н. Павленкова, самого популярного в то время после суворинского. Он обвинил Суворина в «контрфакторском скандале». См. его обзор: Русская литература в 1887 году//Новости и биржевая газета. 1888. 1 янв. № 1. С. 2. О борьбе вокруг Пушкина в 1887 г. см.: Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. СПб., 1895. Стлб. 286—302. Об издании сочинений Пушкина в 1887 г. см. также статьи В. Е. Якушкина в кн.: Якушкин В. Е. О Пушкине. М., 1899.

Взаимные обвинения и ожесточение подхлестнула смерть молодого поэта С. Я. Надсона в январе 1887 г. В. П. Буренин написал в «Новом времени», что Надсон получил помощь от Литфонда обманным путем. Тяжело больной, нуждающийся, оскорбленный грязным подозрением поэт умер через три дня. См.: [Оболенский Л. Е.]. Обо всем: Общественно-критические заметки (Вместо «Внутреннего обозрения»)// Русское богатство. 1887. № 2. С. 177—179 (подпись: Созерцатель).

«Неделя» заключила, что полемика вокруг Пушкинской годовщины 1887 г., «плохая брани, взаимных подсиживаний, инсинуаций, клевет, призываний всякого рода кар и т. д.», невольно заставляла «задуматься над печальным состоянием наших литературных нравов». Свобод-

ный и искренний разговор стал невозможен вследствие «вторжения продажных элементов в литературу», которое «является одной из главнейших причин деморализации литературной среды» (Наши журнальные нравы//Неделя. 1887. 1 марта. № 9. Стлб. 273—277).

²⁷ Суворин ссылался на статью, указанную выше, примеч. 47 к гл. 1. Скабичевский ответил Суворину в статье «Литературная хроника» (Новости и биржевая газета. 1887. 29 янв. № 28. С. 2). На это Суворин парировал новыми нападками в статье «Два слова г. Скабичевскому» (Новое время, 1887. 1 февр. № 3925. С. 2).

²⁸ Суворин А. С. Напутствие «Обеденному собранию»//Новое время. 1887. 23 янв. № 3916. С. 1.

²⁹ Например, в 1880 г. «Берег» бранил в передовой статье «либералов» за старания представить Пушкина революционером, называя это «профанацией великого имени» (Берег. 1880. 6 июня. № 74. С. 1). В тот же день тифлисская газета «Обзор» писала об «очевидной недобросовестности некоторых из наших журналистов реакционного направления, стремящихся воспользоваться нынешними овациями Пушкину с целью бросить лишний раз камнем в ограду новейшей русской литературы» (№ 520. С. 1). Об «эксплуатации» имени Пушкина консерваторами см.: Городецкий Б. П. Проблема Пушкина в 1880—1900 годах//Учен. зап./Ленингр. педагог. ин-т им. М. Н. Покровского. 1940. Т. 4. Факультет языка и литературы. Вып. 2. С. 76—91.

³⁰ Острогорский В. П. Русские писатели как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми и для чтения народу. СПб., 1879. Вып. 1—2. В 1877—1884 гг. В. П. Острогорский был редактором официально одобренного журнала «Детское чтение».

³¹ [Чернышевский Н. Г.] Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения: Чтение для юношества. СПб., 1856. См.: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. С. 55—59. И Чернышевский, и Добролюбов считали, что литература «обладает способностью целостного воздействия на характер и поведение человека» (Роткевич Я. А. Очерки по истории преподавания литературы в русской школе//Известия Академии Педагогических Наук РСФСР. 1953. Вып. 50. С. 237). Роткевич раскрывает непосредственную связь между радикальным мышлением и теорией и практикой преподавания литературы.

³² Острогорский В. П. В виду ожидаемого открытия памятника Пушкину//Новое время. 1879. 7 сент. № 1266. С. 3. В 1880 г. существовали, по всей видимости, разные мнения относительно того, помогли ли русские школы сохранить Пушкина или нанесли его посмертной славе ущерб.

³³ Мартов Ю. Общественные и умственные течения в России, 1870—1905 гг. М.; Л., 1924. С. 17.

³⁴ См.: Levitt M. C. Pushkin in 1899 (см. выше, примеч. 11 к гл. 3). О годовщине 1899 г. см. также: Берков П. Н., Лавров В. М. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем, 1886—1899. М.; Л., 1949; Сиповский В. В. Пушкинская юбилейная литература

1899—1900 годов: Критико-библиогр. обзор. СПб., 1902; Фаресов А. И. А. С. Пушкин и чествование его памяти. СПб., 1899; Берков П. Н. Из материалов Пушкинского юбилея 1899 г.//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 401—414.

³⁵ Пешехонов А. Неудавшийся праздник//Сборник журнала «Русское богатство»/Под ред. Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко. СПб., 1899. С. 385 (второй паг.).

³⁶ Об этом говорилось, например, в статье: Вертинский Ч. Двадцать лет тому назад: Пушкинские дни 1887 г. в Петербурге//Нижегородский листок. 1899. 31 янв. № 30. С. 2—3. Я подробно пишу об этом в статье „Pushkin in 1899“. См. также: Городецкий Б. П. Проблема Пушкина в 1880—1900 годах. С. 79—82.

³⁷ Определенная Якушкину приговором двухлетняя ссылка на родную Ярославщину была сокращена до восьми месяцев. См.: Ростов Н. Пушкинский юбилей и московская охранка//Огонек. 1936. № 30. С. 21. О государственной цензуре сочинений Пушкина в конце XIX века см.: Произведения Пушкина и царская цензура: (По архивным материалам)/Ввод. ст. Л. Полянской//Красный архив. 1937. № 1 (80). С. 217—239.

³⁸ О неодобрении духовенством празднования столетия Пушкина см. мою статью „Pushkin in 1899“. Брошюра, агитировавшая против проведения торжеств, распространялась Саратовской социал-демократической группой; см.: Майер Р. «Несколько слов о Пушкине»: Нелегальная брошюра саратовской социал-демократической группы к пушкинскому юбилею 1899 г.//Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 1043—1052. Группа украинских эмигрантов в Швейцарии также выпустила к юбилею брошюру, протестуя против политики царского правительства, направленной на искоренение украинского языка.

³⁹ Н. К. Журнальное обозрение//Образование. 1899. № 7—8. Отд. II. С. 126, 131.

⁴⁰ Мир искусства. 1899. Май. № 13—14. О символистской критике, посвященной Пушкину, см. также: Благой Д. Д. Критика о Пушкине//Путеводитель по Пушкину. М.; Л., 1931. С. 206—208 (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Прилож. к журн. «Красная нива». Т. 6); Петрунина Н. Н. 90-е годы — начало XX века//Пушкин: Итоги и проблемы изучения. С. 85—105; Ueland C. *Autobiographical Poets of the Symbolists: Blok's „Vozmezdje“, Ivanov's „Mladenchestvo“, and Bely's „Per-voe svidanie“*. Columbia Univ.: Ph. D. Dissertation (готовится к защите); Levitt M. C. *Pushkin in 1899*.

⁴¹ О Пушкинских днях 1921 г. см.: Вестник литературы. 1921. № 3; Одоевцева И. На берегах Невы. Washington, n. d. С. 311 и след.; Malmstad J. *Mikhail Kuzmin: A Chronicle of His Life and Times*//Кузмин М. А. Собр. стихов. Munich, 1978. Т. 3. С. 256 и след.; Лоцинская Н. В. Александр Блок и Пушкинский Дом//Пушкинский Дом: Статьи; Документы; Библиография. Л., 1982. С. 22—27. В ряде печат-

ных работ того времени протягивалась прямая идеологическая связь, через Достоевского, между празднованиями 1880 и 1921 гг. «Дом литераторов» издал книгу «Пушкин. Достоевский» (Пг., 1921), включавшую речь Достоевского 1880 г. и речи, произнесенные в 1921 г. В брошюре «Достоевский и Пушкин» (Пг., 1921) были перепечатаны речь Достоевского и статьи К. Н. Леонтьева и критика А. Воынского (А. Л. Флексера). Следует отметить, что в 1921 г. исполнялось сто лет со дня рождения Достоевского.

⁴² Речь Ходасевича «Колеблемый треножник» была напечатана в «Вестнике литературы» (1921. № 4—5. С. 18—20), затем включена в книгу «Пушкин. Достоевский» (см. примеч. 41) и сборник: Ходасевич В. Статьи о русской поэзии. Пг., 1922. С. 107—121, впоследствии перепечатана в журнале «Мосты» (1962. № 9. С. 3—10).

⁴³ Блок А. А. О назначении поэта//Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 160, 167. Упоминание «печного горшка» — это перефразированное выражение из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828), которое использовал Писарев в своих напаках на Пушкина.

⁴⁴ Poggioni R. The Poets of Russia, 1890—1930. Cambridge. Mass., 1960. Chap. 9.

⁴⁵ Эйхенбаум Б. Проблемы поэтики Пушкина//Пушкин. Достоевский. Пг., 1921. С. 76—77; переизд. в кн.: Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 23.

⁴⁶ См.: Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем, 1937—1948/Сост.: В. В. Зайцева. Я. Л. Левкович, Н. Н. Петрунина и др.; под ред. Я. Л. Левкович. М.; Л., 1963. С. 546—549; Александров А. Подготовка и проведение Пушкинского юбилея в СССР//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 492—517.

⁴⁷ Пушкиноведение руководствовалось этими установками в «первом опыте коллективной исследовательской разработки формулы, выдвинутой в постановлении Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР об учреждении Всесоюзного пушкинского комитета в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина» (Пушкин родоначальник новой русской литературы: Сборник научно-исследовательских работ/Под ред. Д. Д. Благого, В. Я. Кирпотина. М.; Л., 1941. С. 5). См. также сб.: Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина: Труды Пушкинской сессии Академии Наук СССР. М.; Л., 1938. Характерным для этого направления пушкиноведения популярным трудом является кн.: Кирпотин В. Я. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936; 2-е изд. М., 1938.

⁴⁸ Подготовка к Пушкинскому юбилею 1937 г.//Литературное наследство. Т. 16—18. С. 1161. В предисловии к этому изданию, озаглавленному «Наследство Пушкина» (С. 5—34), А. Цейтлин изложил некоторые идеологические установки, которые будут преобладать в сталинском пушкиноведении, и подчеркнул тесную связь науки с соцреализмом («Среди его предшественников одно из центральных мест принадлежит Пушкину» — с. 20).

⁴⁹ К празднованию юбилея 1937 г. были привлечены целые отрасли промышленности. Например, в РГАЛИ (ф. 384, оп. 1, д. 211) хранится обширная документация о мероприятиях к Пушкинскому юбилею в кожевенной промышленности, которые организовывал Центральный комитет профсоюза работников кожевенной промышленности. Одна из типичных резолюций содержала следующие слова: «Одна из дальнейших задач клубов и библиотек должна заключаться в том, чтобы не было на предприятиях ни одного рабочего, служащего (<...>) не знакомого с творчеством Пушкина. Будем растить и множить ряды наших пушкинистов». В фонде также находится большая машинописная книга, объемом 35 с., в которой детально отмечены все пушкинские мероприятия в этой отрасли и многочисленные отзывы рабочих об их любви к поэту.

⁵⁰ В период 1917—1949 гг. было издано 45 млн. экземпляров сочинений Пушкина, из которых 40 млн. на русском языке. С 1887 по 1917 г. было выпущено 10,7 млн. экземпляров. См. статьи, указанные в кн.: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. С. 126, сноски 2.

⁵¹ Мейлах Б. С. Пушкин и проблема русской культуры: (О некоторых задачах и перспективах изучения)//Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1967. Т. 5. С. 5—6.

⁵² Осипов Д. Достоевскому ответила жизнь//Правда. 1937. 10 февр. № 40.

⁵³ Триумф Великого Пушкина//Известия. 1937. 6 февр. № 33. С. 1. Другие статьи о Достоевском в 1937 г. см.: Ф. М. Достоевский: Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем, 1917—1965. М., 1968. С. 143—148.

⁵⁴ Открылась Пушкинская сессия Академии наук СССР//Правда. 1937. 14 февр. № 44.

⁵⁵ Правда. 1937. 11 февр. № 41. В 1950 г. памятник Опекушина был перенесен на другую сторону улицы Горького. Позади него в 1962 г. на месте бывшего монастыря был построен грандиозный кинотеатр «Россия».

⁵⁶ Солженицын сообщает, что в 1927 г. были арестованы все оставшиеся в СССР выпускники Лицея (Солженицын А. И. Архипелаг Гулаг. New York, 1973. Т. 1. С. 43). Очевидно, что на них бросила подозрение публикация сообщения о том, что группа лицеевцов-эмигрантов собралась в Париже для празднования пушкинской годовщины.

⁵⁷ Здравствуй, Пушкин!//Известия. 1937. 5 февр. № 32. С. 3. Газета приводит слова одного из типичных читателей нового склада: «Воспитывая в себе социалистического, подлинного человека, я никак не могу обойтись без Пушкина».

⁵⁸ Торжественное заседание в Большом театре, посвященное столетию со дня смерти А. С. Пушкина//Правда. 1937. 11 февр. № 41. С. 3.

⁵⁹ Бельчиков Н. Ф. Пушкин и наша современность//Труды первой и второй Всесоюзных пушкинских конференций: 25—27 апреля 1949 г. и 6—8 июня 1950 г./Под ред. Б. И. Бурсова. М.; Л., 1952. С. 12.

⁶⁰ Благой Д. Д. Мировое значение русской классической литературы. М., 1948. С. 15. Цит. в докладе Н. Ф. Бельчикова «Пушкин и наша современность» (С. 17). Монография Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина» (1950) удостоилась Сталинской премии.

⁶¹ Фадеев А. Светлый и всеобщий гений//Литературная газета. 1949. 8 июня. № 46. С. 1. Цит. в кн.: А. С. Пушкин, 1799—1949: Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. С. 13. Характерно, что Фадеев закончил свои утверждения громогласными угрозами в адрес буржуазной культуры.

⁶² Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год/Под ред. Л. Г. Гринберг. М.; Л., 1951.

⁶³ См. краткое изложение доклада Н. И. Поповой, хранителя Музея-квартиры Пушкина на Мойке, 12, в ст.: Немировский И. В. XXIX Всесоюзная пушкинская конференция//Русская литература. 1987. № 3. С. 241—242. Указатель к путеводителю по Пушкинским местам (Пушкинские места России. М., 1984) включает 64 географических названия и содержит несколько страниц перечня «Туристские учреждения и маршруты». Литература о Пушкинских местах занимает значительное место в современной пушкинистике. См., например: Гейченко С. С. Пушкиногорье. М., 1987 (Роман-газета. № 1055).

⁶⁴ Непомнящий В. С. «Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный...»: О некоторых современных толкованиях Пушкина//Новый мир. 1974. № 6. С. 248.

⁶⁵ Интервью с П. В. Палиевским в статье: Пушкинская академия//Литературная газета. 1987. 4 февр. № 6. С. 6. См. также замечания Я. Л. Левкович: Литературная газета. 1986. 24 дек. № 52. С. 2.

⁶⁶ Осуществлявший до войны «редакционное наблюдение» этого издания Л. Домгер детально описал скрытый политический и научный механизм сложной истории этого издания. См.: Domherr L. The Pushkin Edition of the USSR Academy of Sciences. New York, 1953 (Research Program on the USSR. Mimeographed Series No 45).

⁶⁷ К числу незавершенных относятся «Летопись жизни и творчества Пушкина» М. А. Цявловского (в 1951 г. вышел первый том, охватывающий 1799—1826 гг.; 2-е изд., испр. и доп./Отв. ред. Я. Л. Левкович. Л., 1991), а также Пушкинская энциклопедия.

⁶⁸ Томашевский Б. В. Пушкин: Книга вторая (1824—1837). М.; Л., 1961. С. 474.

⁶⁹ Б. С. Мейлах в кн.: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. С. 143.

⁷⁰ См. указ. выше (примеч. 65) интервью с П. В. Палиевским, а также: Березкина С. В., Немировский И. В. Выездное заседание Бюро ОЛЯ АН СССР, посвященное перспективам развития пушкиноведения//Русская литература. 1987. № 4. С. 240—246.

⁷¹ Непомнящий В. С. «Пророк»: Художественный мир Пушкина и современность//Новый мир. 1987. № 1. С. 133.

⁷² Литературная газета. 1987. 11 февр. № 7. С. 1.

⁷³ См., например: Бузник В. В. Мера классики — гуманизм (о чувстве нового в современной литературе и критике)//Русская литература. 1987. № 3. С. 3—18. Говоря о произведениях Юрия Бондарева, Бузник отмечает: «Потребность в перестройке назревала давно, и серьезные художники не могли не отразить этого обстоятельства в своем творчестве» (С. 12). В. С. Непомнящий рассматривает возвращение к Пушкину и классикам в статьях, указанных выше (примеч. 64, 71), и в кн.: Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983. См. также: Скатов Н. Н. Далекое и близкое: Литературно-критические очерки. М., 1981; Он же. Литературные очерки. М., 1985.

⁷⁴ Кушнер А. «Иные, лучшие мне дороги права...»: Заметки//Новый мир. 1987. № 1. С. 233.

⁷⁵ Горбовский Г. Духовная опора//Литературная газета. 1987. 21 янв. № 4. С. 5.

⁷⁶ Литературная газета. 1987. 1 янв. № 1. С. 2.

⁷⁷ Кушнер А. «Иные, лучшие мне дороги права...». С. 235.

⁷⁸ Первая цит.: Скатов Н. Н. Наш Пушкин//Литературная газета. 1987. 11 февр. № 7. С. 4—5. Вторая цит.: Березкина С. В., Немировский И. В. Выездное заседание Бюро ОЛЯ АН СССР... С. 241.

⁷⁹ Залыгин С. Памяти Пушкина//Литературная газета. 1987. 11 февр. № 7. С. 4.

⁸⁰ Фомичев С. А. Дань признательной любви//Литературная газета. 1986. 24 дек. № 52. С. 2.

⁸¹ Битов А. Статьи из романа. М., 1986. С. 211. Эта книга содержит отрывки из сложного металитературного романа А. Битова «Пушкинский Дом», впервые напечатанного на русском языке на Западе в 1978 г., а в английском переводе в 1987 (Bitov A. Pushkin House/Trans. S. Brownsberger. New York, 1987). В беседе, состоявшейся в Калифорнийском университете 9 мая 1988 г., Битов сказал, что целью всего того, что он писал о Пушкине, особенно сатирического описания будущих Пушкинских торжеств в рассказе «Фотография Пушкина (1799—2088)» (Знамя. 1987. № 1. С. 98—120) и его интерпретации стихотворения «Я памятник себе воздвиг...» (Статьи из романа. С. 210—280), была демонументализация и разрушение окостеневшего официального образа поэта. Однако, как и в превосходных, проникнутых духом иконоборчества «Прогулках с Пушкиным» А. Сияяского, написанных в лагере, Пушкин приобретает в подобном сугубо личном, идиосинкретическом восприятии черты некоего мистического идеала.

⁸² Цит. по: Немировский И. В. XXIX Всесоюзная пушкинская конференция//Русская литература. 1987. № 3. С. 240.

⁸³ Seduro V. Dostoevsky's Image in Russia Today. Belmont, Mass., 1975. P. 382.

⁸⁴ Примечательным исключением остается Вадим Кожин (Кожин В. «И назовет меня всяк сущий в ней язык»: Заметки о своеобразии русской литературы//Наш современник. 1981. № 11. С. 153—176). В этой статье предлагается поразительная по своей упрощенности

русифильская интерпретация русской истории, опирающаяся на мессианское толкование национального характера в пушкинской речи Достоевского. Кожин подчеркивает именно национальную, а не христианскую сущность русской культуры. Его политические взгляды близки к панславизму с традиционными имперскими (и антисемитскими) мотивами.

⁸⁵ Тарковский А. Высота духа//Литературная газета. 1987. 11 февр. № 7. С. 4.

⁸⁶ Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983. С. 142. Автор пишет, что в 1880 г. «этот очередной акт самосознания культуры происходил при самом буквальном участии народных масс», затопивших «Страстную площадь Москвы, прилегающие улицы и крыши домов», и что «величие и значительность момента почувствовали все», среди них — Достоевский и Успенский (С. 135).

АББРЕВИАТУРЫ НАЗВАНИЙ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (М.)

РГИА — Российский государственный исторический архив (СПб.)

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив г. Москвы

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абаза А. А. — 167, 168
 Аде (псевд. Дмитриева А. Д.?) — 223, 235
 Айзеншток И. Я. — 172, 173, 202, 247
 Аксаков И. С. — 7, 8, 57, 75, 78, 94, 100, 141, 142, 156, 157, 162, 166, 167, 195, 198, 215, 222, 224, 226, 227, 236, 242, 245
 Аксаков К. С. — 20, 64, 65, 159, 160, 198, 216, 237
 Аксаков Н. П. — 80
 Аксаков С. Т. — 64, 65
 Александр I, имп., — 34, 47, 48, 54
 Александр II, имп., — 21, 47—49, 71, 83, 94, 129, 162, 165, 199, 209, 219, 223
 Александр III, имп., — 165, 166, 199, 245
 Александров А. — 250
 Алексеев Л. — 234
 Алексеев М. П. — 34, 205, 209, 228
 Алексеева Н. В. — 228
 Алмазов Б. Н. — 40
 Анакреон — 221
 Анненков П. В. — 7, 30, 32, 36, 39, 40, 58, 67, 81, 108, 109, 115, 116—119, 125, 141, 142, 204, 224, 228, 231—233
 Анненский Ф. Н. — 55, 212
 Антокольский М. М. — 60
 Аристотель — 146
 Аскоченский В. И. — 39, 207
 Ауэрбах Б. — 80, 221
 Ахматова А. А. — 178, 179
 Ахшарумов Н. Д. — 207
 Базарев В. Н. — 214
 Базунов А. Ф. — 59
 Байрон Д.-Г. — 42, 195, 221
 Бакунии М. А. — 229
 Балувев Б. П. — 218, 220, 245
 Баринов А. А. — 61
 Барклай де Толли М. Б. — 43
 Барсуков Н. П. — 96, 208, 215, 216
 Бартенев П. И. — 67, 80, 82, 116, 142, 175, 204
 Басистов П. Е. — 80, 82
 Баталин И. А. — 139
 Бахман — 52
 Белинский В. Г. — 6, 12—14, 33, 35, 36, 38—41, 56, 69, 106, 120—122, 144, 148, 174, 180, 190, 191, 193, 196, 204—206, 231, 238
 Беллинсгаузен Ф. Ф. — 96
 Белкнап Р. — 236; см. также Belknap R. L.
 Белов С. В. — 222
 Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) — 180, 221, 249
 Бельчиков Н. Ф. — 185, 224, 251, 252
 Беляев Н. — 214
 Бенкендорф А. X. — 13—15, 28—30, 183, 197, 201, 202
 Бердяев Н. А. — 159, 168, 239, 241, 244
 Березина В. Г. — 218
 Березкина С. В. — 252, 253

- Берков П. Н. — 247—249
 Бестужев-Марлинский А. А. — 13
 Бильбасов В. А. — 100
 Бирюков П. И. — 230
 Битов А. Г. — 6, 193, 205, 253
 Благой Д. Д. — 38, 189, 206, 243, 249, 250, 252
 Благолепов Н. П. — 176
 Благосветлов Г. Е. — 200, 207, 237
 Блок А. А. — 178—180, 249, 250
 Богаевская К. П. — 237
 Богомоллов И. С. — 61
 Бондарев Ю. В. — 253
 Бонди С. М. — 180
 Бороздин И. П. — 238
 Боханов А. Н. — 246
 Брокгауз Ф. А. — 210
 Брукс Д. — 199, 220; см. также Wrooks J.
 Брюсов В. Я. — 180, 221
 Бузник В. В. — 253
 Буква см. Василевский И. Ф.
 Булгаков С. Н. — 168, 240—242
 Булгаков Ф. И. — 21, 210, 212—214, 221, 225
 Булгарин Ф. В. — 31, 64, 90, 183, 218
 Буренин В. П. — 247
 Бурсов Б. И. — 251
 Буташевич-Петрашевский М. В. — 56

 Валуев П. А. — 75, 219
 Варнек К. А. — 206
 Варшавский Л. Р. — 214
 Василевский И. Ф. (псевд. Буква) — 17, 70, 76, 95, 96, 117, 141, 198, 217, 219, 223, 226, 231, 233, 235
 Василюк Э. — 237; см. также Wasiolek E.
 Вейнберг П. И. — 172
 Веневитинов М. А. — 231, 236
 Вертинский Ч. — 249
 Веселовский А. Н. — 176
 Веселовский Алексей Н. — 139, 215, 235
 Виардо П., урожд. Гарсиа, — 105; см. также Viardot P.
 Викторов П. П. — 228
 Витте С. Ю. — 176
 Властов Г. К. — 242
 Волков Ю. А. — 36
 Вольтер — 139, 175, 221
 Вольтинский А. (псевд. Флексе-ра А. Л.) — 250
 Воронцов М. С. — 208
 Вяземские — 203

 Вяземский П. А. — 30, 68, 69, 216
 Вяземский П. П. — 226

 Гагарин Г. Г. — 52
 Гаевский В. П. — 81, 109
 Гайдебуров П. А. — 100, 101, 224
 Гаррик Д. — 8; см. также Garrik D.
 Гартман Л. Н. — 73
 Гастфрейд Н. — 209
 Гедронц А. — 235
 Гейченко С. С. — 252
 Геккерн Л.-Б. — 11, 28
 Гершензон М. О. — 205
 Гессен С. Я. — 196
 Гете И.-В. — 14, 42, 121, 122, 146, 175, 221, 232
 Глазунов — 59
 Глинка М. И. — 78
 Гиляров Ф. П. — 64
 Гиляров-Платонов Н. П. — 64, 65, 215
 Глинка Ф. Н. — 65
 Глинский Б. Б. — 197
 Гнедич Н. И. — 238
 Гоголь Н. В. — 5, 14, 42, 142, 143, 148, 197, 236—239, 247
 Голицын Н. В. — 219
 Голохвастов П. Д. — 167
 Гольцев В. А. — 171
 Гомер — 122, 146, 221
 Гончаров И. А. — 80, 117, 172, 221
 Гораций — 35, 205
 Горбов М. А. — 84
 Горбовский Г. Я. — 191, 253
 Горбунов И. Ф. — 235
 Городецкий Б. П. — 206, 215, 232, 239, 248, 249
 Горчаков А. М. — 46, 47, 56, 81, 209
 Горшков Александр см. Протопопов М. А.
 Горький М. — 181, 188, 246
 Грабарь И. Э. — 214
 Градовский А. Д. — 156, 158, 159, 236, 241, 243
 Градовский Г. — 219
 Градовский — 238
 Градовский К. К. — 172
 Грановский Т. Н. — 56, 106
 Греч Н. И. — 44, 65
 Григорович Д. В. — 80, 109, 119, 172
 Григорьев Ап. А. — 39, 40, 42, 148, 149, 193, 207, 239
 Гринберг Л. Г. — 252
 Гришечко-Климов М. А. — 226
 Гроссман Л. П. — 241—243
 Грот К. К. — 53, 55, 56, 61, 211, 212, 214

- Грот К. Я. — 197, 209
 Грот Я. К. — 14, 53, 54, 55, 56, 59, 64, 68, 85, 93, 172, 197, 209, 210, 212, 215
 Гымалэ (Волков Ю. А.) — 206
 Гюго В. — 80, 222
- Давыдов Д. В. — 27, 201
 Даль В. И. — 65, 216
 Данилевский Н. Я. — 159, 243
 Даниэльсон Н. Ф. — 162
 Данте А. — 10, 11, 65, 221, 232
 Дантес Ж. Ш. — 28, 170
 Даргомыжский А. С. — 78
 Дебрецени П. (Debrezeny) — 220
 Дементьев А. Г. — 198, 215
 Де-Пуле М. Ф. — 51, 213
 Державин Г. Р. — 44
 Дмитрнев А. Д. см. Аде
 Добролюбов Н. А. — 40, 193, 248
 Долгоруков (Долгорукий) В. А. — 81, 87, 88, 90, 93, 109, 171, 236
 Долинин А. С. — 235
 Дондуков-Корсаков М. А., кн., — 30
 Достоевская А. Г. — 219, 222, 233, 241
 Достоевский Ф. М. — 7, 9, 20—22, 25, 32, 33, 39, 56, 78, 80, 82, 98, 100, 101, 117—119, 124, 127, 129, 130, 133, 136, 137, 139—162, 165, 168, 183, 185, 193, 194, 198, 199, 214, 219, 222, 224, 225, 227, 231—246, 253, 254
 Дружинин А. В. — 36, 40, 42, 193, 206
 Дудышкин С. С. — 36, 206
- Евгеньев В. В. — 195
 Екатерина II, имп., — 208
 Елисеев Г. З. — 130
 Емельянов Н. — 223
 Ерошкин Н. П. — 222
 Есенин С. А. — 178
 Есин Б. И. — 215, 218
 Ефремов П. А. — 67, 125
 Ефрон И. А. — 210
- Жданов А. А. — 185, 186
 Желнобобов В. С. — 95, 226
 Жуковский В. А. — 14, 27, 28, 32, 33, 44, 45, 128, 184, 201—203, 220, 231, 232
- Забелло П. П. — 61
 Заборова Р. Б. — 202
 Зайончковский П. А. — 217, 245
 Зайцев В. В. — 250
- Закс Н. А. — 61
 Залыгин С. П. — 192, 253
 Замотин И. И. — 147, 238, 243
 Зарецкая З. В. — 208
 Заславский Д. — 223
 Засулич В. И. — 131
 Захаров В. Г. — 190
 Зенковский В. В. — 239
 Зернов Н. — 153
 Златовратский Н. Н. — 130
- Иванов В. И. — 249
 Иванчин-Писарев А. И. — 233
 Иваньо И. В. — 236
 Игнатъев Н. П., гр., — 167
 Иезуитова Р. В. — 203
 Измайлов Н. В. — 126, 201, 231, 232
 Исаков Л. А. — 59, 204
- Кавелин К. Д. — 56, 162, 218, 243
 Калачев — 142
 Каллаш В. — 238
 Каменев В. С. — 214
 Каменская — 119
 Каракозов Д. В. — 51, 76
 Карамзин А. Н. — 201, 202
 Карамзин Н. М. — 14, 27, 28, 44, 45, 46, 96, 208
 Карлейль Т. — 5, 10, 25, 43, 80, 196
 Катков М. Н. — 7, 18, 22, 24, 39, 40, 57, 58, 67, 71—75, 81, 82, 84—86, 89—91, 98—109, 111, 112, 119, 124, 125, 127, 129, 136, 157—159, 165—167, 169, 195
- Керн А. П. — 227
 Киреевский И. В. — 143, 148, 239
 Кирпотина В. Я. — 250
 Клеман М. К. — 229, 246
 Климентова — 119
 Ключевский В. О. — 7, 86
 Кобеко Д. Ф. — 48, 209, 212
 Ковалевский Е. П. — 46, 47, 209
 Ковалевский М. М. — 80, 81, 82, 227—229, 232, 246
 Ковалевский — 90, 99, 105, 124
 Кожанчиков Д. Е. — 59
 Кожинов В. Н. — 253, 254
 Козьмин Б. П. — 246
 Кокар А. — 40; см. также Coguart A.
 Колемин А. И. — 56
 Коломенский Кандид см. Михневич В. О.
 Колосев Иоанн, свящ., — 50
 Кольцов А. В. — 44

- Комаров В. Л. — 184
 Комовский А. Д. — 211, 212
 Комовский С. Д. — 81
 Кони А. Ф. — 176, 227, 229, 232
 Конкин С. С. — 206
 Константин Константинович, вел.
 кн., — 176
 Корнилов — 93
 Корнилов Ф. Д. — 56, 97
 Корнилов Ф. П. — 214
 Корф М. А. — 56
 Котляревский А. А. — 68
 Кохановская Надежда см. Сохан-
 ская Н. С.
 Кошелев А. И. — 66, 148, 159, 238,
 239
 Краевский А. А. — 7, 30, 31, 100,
 109, 118, 202, 203
 Крейн А. З. — 199, 210
 Кривошапкин — 62
 Крузенштерн И. Ф. — 43, 96
 Крылов И. А. — 44, 46, 60, 208,
 247
 Кузмин М. А. — 179, 249
 Кулешов В. И. — 238
 Кунин В. В. — 195, 196
 Кутузов М. И. — 43
 Кушнер А. С. — 6, 191, 192, 253
 Кюхельбекер В. К. — 13, 48, 210
- Лаврецкий А. — 215, 239
 Лаврецкий — 52
 Лавров В. М. — 247, 248
 Лавров П. Л. — 106, 126, 169, 170,
 228, 229, 233, 246
 Лажечников И. И. — 65
 Ламберт Е. Е. — 117
 Ланский Л. Р. — 246
 Ланской С. С. — 49
 Лебедев П. — 241
 Левкович Я. Л. — 203, 250, 252
 Леже Л. — 80, 221, 229
 Лемке М. К. — 246
 Ленин В. И. — 162, 245
 Лентовский — 225
 Леонтьев К. Н. — 8, 159, 195, 199,
 224, 226, 237, 239, 243, 250
 Лермонтов М. Ю. — 202
 Лернер Н. О. — 180
 Лесков Н. С. — 147, 237
 Леткова-Султанова Е. П. — 236,
 244
 Либрович С. Ф. — 214
 Лисовский Н. М. — 220, 245
 Ловягин Е. — 241
 Ломоносов М. В. — 44—46, 65, 208
 Лонгинов М. Н. — 41, 68, 69, 207,
 215, 216, 234
- Лорис-Меликов М. Т. — 72—74, 81,
 87, 109, 131, 165—167, 219,
 224, 229, 245
 Лосский И. О. — 197, 235, 239, 240
 Лотман Ю. М. — 16, 197
 Лошинская Н. В. — 249
 Любимов Д. Н. — 235
 Любимов Н. А. — 82, 217
- Майер Р. — 249
 Майков А. Н. — 67, 172, 227
 Макарий, митрополит (Булга-
 ков М. П.), — 95
 Макашин С. А. — 212
 Макензи У. — 80
 Макпавелли Н. — 38
 Максимович М. А. — 216
 Малиа М. — 146; см. также Ма-
 лия М.
 Мандельштам О. Э. — 178, 180
 Мария Федоровна, имп., — 48, 79
 Маркевич Б. Н. — 107, 229
 Маркс К. — 162
 Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) —
 175
 Мартынов А. И. — 39
 Матюшкин Ф. Ф. — 56, 57
 Маяковский В. В. — 178
 Межов В. И. — 21, 77, 198, 203,
 205, 208, 214, 219
 Мейербер Д. — 98
 Мейлах Б. С. — 47, 182, 205, 209,
 211, 212, 215, 220, 232, 239,
 251, 252
 Мельников — 119
 Мельников-Печерский П. И. — 65
 Мельшинский А. П. — 87
 Мережковский Д. С. — 178, 232
 Мериме П. — 122
 Мертваго Д. Д. — 212
 Миллер В. Ф. — 80
 Миллер Н. И. — 48
 Миллер О. Ф. — 165, 168, 245
 Миллер П. И. — 57, 213
 Миллер Ф. Б. — 65, 80, 82
 Миллютин Д. А. — 167
 Минаев Д. Д. (псевд. Д. М.) —
 213
 Минин К. — 43, 44, 208
 Минский (Виленкин) Н. М. — 178
 Михаил Павлович, вел. кн., — 30
 Михайловский Н. К. — 19, 20, 75,
 104, 129—136, 153—155, 161,
 162, 165, 167, 183, 198, 219,
 224, 230, 233—235, 240, 243,
 245, 246, 249

- Михневич В. О. (псевд. Коломенский Кандид) — 9, 26, 77, 78, 100, 138, 140, 172, 196, 200, 201, 219, 227, 234, 235
 Мицкевич А. — 221
 Модзалевский Б. Л. — 180, 232
 Модзалевский В. Л. — 204
 Мольер Ж.-Б. — 42, 195, 220
 Монтеверде П. А. (псевд. Amicus) — 79, 80, 88, 100, 220, 224, 225, 227
 Муравьев М. Н. — 72
 Муратов М. В. — 204, 247
 Мусоргский М. П. — 78
 Мушина И. Б. — 221

 Н-ский Б. см. Николаевский Б. И.
 Надсон С. Я. — 247
 Наполеон I Бонапарт — 209
 Неведенский С. см. Татищев С. С.
 Незнакомец см. Суворин А. С.
 Немировский И. В. — 252, 253
 Нейман М. Л. — 214
 Нелидова Л. — 232
 Неофит, епископ, — 208
 Непомнящий В. С. — 187, 189, 190, 194, 252—254
 Неттинг А. — 200; см. также Netting A. G.
 Никитенко А. В. — 202
 Николаевский Б. И. (псевд. Н-ский Б.) — 246
 Николай I, имп., — 13, 14, 27, 28, 30—32, 43, 47, 65, 74, 177, 197, 201, 208, 209
 Никольский Ю. — 235, 246
 Ницше Ф. — 240
 Нольде Б. Е. — 244

 Оболенский Л. Е. — 247
 Овсяннико-Куликовский Д. Н. — 243
 Одоевский В. Ф. — 65, 118, 202
 Одоевцева И. В. — 249
 Оксман Ю. Г. — 180, 188
 Опекушин А. М. — 61, 93, 198, 199, 214
 Орлов А. Ф. — 28
 Орлов Н. А. — 169
 Осипов Д. — 251
 Островский А. Н. — 7, 65, 80, 103, 119, 177, 233, 234
 Острогорский В. П. — 174—176, 204, 248
 Оффенбах Ж. — 97

 Павленков Л. Н. — 173, 247
 Павловский И. Я. — 229

 Пайпс Р. — 167; см. также Pipes R.
 Палиевский П. В. — 252
 Палков А. — 210
 Панаев И. И. — 208
 Парамонов О. П. — 62
 Пастернак Б. Л. — 178
 Перикл — 10
 Петр I, имп., — 8, 39, 43, 208, 209
 Петр Георгиевич, принц Ольденбургский, — 48, 52, 56, 59, 93, 210, 211
 Петров В. П. — 35
 Петровский Н. — 204
 Петрунина Н. Н. — 249, 250
 Петрункевич М. И. — 130
 Пешехонов А. — 249
 Пий IX, рим. папа, — 242
 Пиксанов Н. К. — 205, 229, 246
 Писарев Д. И. — 15, 37—41, 78, 174, 193, 197, 206, 207, 214, 250
 Писемский А. Ф. — 65, 80, 119
 Плевс В. К. — 169
 Плетнев П. А. — 14, 197
 Плеханов Г. В. — 162
 Плоткин Л. А. — 206
 Победоносцев К. П. — 156, 166—168, 199, 245
 Погодин М. П. — 45, 57, 201, 208, 215, 216
 Поджоли Р. — 180; см. также Poggioli R.
 Пожарский Д. М. — 43, 44, 208
 Познанский В. — 45, 46
 Покровский М. Н. — 248
 Полевой Кс. А. — 30
 Поливанов Л. И. — 80, 82, 83, 89—91, 218, 220, 221, 224, 225
 Поллард А. — 155, 157, 162, 198, 199; см. также Pollard A. P.
 Полонский Л. А. — 200, 217, 225
 Полонский Я. П. — 67, 80, 233
 Поляков А. С. — 201, 202
 Полянский Л. — 249
 Пономарев С. И. — 208
 Попов — 62
 Попов П. С. — 204
 Попова Н. И. — 252
 Потехин А. А. — 109, 119, 142
 Похвинцев М. Н. — 56
 Преображенский П. А. — 84, 86, 89, 223
 Протопопов М. А. (псевд. Александр Горшков) — 148, 155, 158, 239, 243
 Пушкин А. А. — 175
 Пушкин С. Л. — 202, 232

- Пущин И. И. — 210
 Пыпин А. Н. — 125, 176, 206
 Раевская С. — 208
 Раевский — 231
 Раич С. Е. — 30
 Райефф М. — 22, 217; см. также
 Raeff M.
 Расин Ж. — 220
 Рембо А. — 80
 Римский-Корсаков Н. А. — 78
 Розанов В. В. — 178, 239
 Розенберг В. — 246
 Роткевич Я. А. — 203, 248
 Рубинштейн Н. Г. — 7, 80, 97, 119
 Русанов Н. С. — 162, 245
 Рылеев К. Ф. — 13
 Рябин М. В. — 221
 Сабуров А. А. — 94, 118, 168
 Савина М. Г. — 108, 124, 229
 Сакулин П. Н. — 202, 205
 Салтыков-Щедрин М. Е. — 56, 62,
 63, 80, 117, 119, 129—131, 135,
 142, 154, 165, 212, 215, 221,
 224, 231, 233, 234, 243
 Самарин И. В. — 119, 221
 Самарин Ю. Ф. — 57, 159, 244
 Сандомирская В. Б. — 206, 232
 Седуро В. — 193; см. также Se-
 dugo V.
 Селезнев И. — 209—213
 Селиванов И. С. — 66, 67
 Сенковский О. И. — 183
 Симменс Э. — 115; см. также Sim-
 mons E. J.
 Синявский А. Д. (псевд. Абрам
 Герц) — 242, 253
 Сиповский В. В. — 249
 Сиу М. — 92
 Скабичевский А. М. — 173, 174,
 207, 247, 248
 Скатов Н. Н. — 192, 253
 Скотт В. — 221
 Сладкевич Н. Г. — 215, 239
 Смельский В. Н. — 223
 Смирнов П. — 240
 Соболевский С. А. — 68
 Солженицын А. И. — 241, 251
 Соловьев Вл. С. — 159, 168, 241
 Сологуб Ф. К. (наст. фам. Тетер-
 ников) — 178, 179
 Софокл — 221
 Сорокин Ю. С. — 207
 Соханская Н. С. (псевд. Надежда
 Кохановская) — 42, 43, 68, 207
 Сперанский М. Н. — 47
 Сталин И. В. — 22, 181, 185, 188,
 193
 Станько А. И. — 218
 Стасюлевич М. М. — 81, 109, 115,
 116, 125, 176, 198, 229, 230,
 246
 Стороженко Н. И. — 86
 Стоюнин В. Я. — 31, 32, 203
 Страхов Н. Н. — 7, 32, 58, 59, 67,
 120, 124, 139, 204, 207, 214,
 230—232, 235, 244
 Струве П. Б. — 168
 Суворин А. С. (псевд. Незнако-
 мец) — 7, 101, 173, 174, 176,
 227, 247, 248
 Сумароков А. П. — 35
 Сумбул Л. Н. — 85, 86, 223
 Суслов И. М. — 198, 214
 Сухомлинов М. И. — 176
 Таден Э. — 156, 158; см. также
 Thaden E. C.
 Тарковский А. А. — 254
 Татищев С. С. (псевд. Неведен-
 ский С.) — 217
 Твардовская В. А. — 217, 245
 Теннисон А. — 80
 Терц Абрам см. Синявский А. Д.
 Тихопов Н. С. — 185
 Тихонравов Н. С. — 85, 86, 118,
 223
 Тодд У. — 220; см. также Todd
 W. M.
 Толстой А. К. — 65
 Толстой Д. А. — 56, 59, 74, 94,
 109, 167, 218
 Толстой Л. Н. — 19, 20, 25, 66, 67,
 80, 108—117, 120, 121, 129,
 171, 193, 216, 221, 230, 231,
 244, 246, 247
 Томашевский Б. В. — 180, 188,
 209, 212, 238, 252
 Туманский В. И. — 13
 Трубачев С. С. — 205
 Трутовский К. А. — 221
 Туниманов В. А. — 222
 Тургенев И. С. — 7, 9, 17—20, 22,
 25, 32, 66, 67, 80—82, 88, 99—
 101, 104—112, 114—133, 136,
 137, 139, 140, 142, 143, 145,
 149, 153, 157, 161, 162, 168—
 171, 198, 199, 221, 222, 224,
 226—233, 235, 236, 244, 246,
 247
 Тынянов Ю. Н. — 180
 Тютчев Ф. И. — 66, 67, 236, 237
 Уваров С. С. — 14, 29—31, 44, 45,
 197

- Ульянов М. А. — 192
 Успенский Б. А. — 16, 197
 Успенский Г. И. — 7, 94, 97, 130, 154, 223, 226, 233, 242, 243, 254
 Фадеев А. А. — 186, 252
 Фальконс Э. М. — 43, 208
 Фаресов А. И. — 249
 Феоктистов Е. М. — 167, 171
 Фет А. А. — 67, 80, 107, 111, 221, 230
 Филарет, митрополит (Дроздов В. М.), — 65
 Филофей, монах, — 153
 Филонов А. — 225
 Флексер А. Л. см. Вольтинский А.
 Флобер Г. — 80, 229
 Фомичев С. А. — 192, 193, 253
 Халтурин С. Н. — 72
 Хвощинская Н. Д. — 234
 Хейфец М. И. — 198, 217
 Херасков М. М. — 35
 Ходасевич В. Ф. — 179—193, 250
 Хотяков А. С. — 65, 67, 148, 149, 151, 152, 159, 239, 241, 242, 244
 Хрущов И. — 216, 226
 Цветаева М. И. — 178
 Цейтлин А. Г. — 228, 250
 Цытович П. П. — 87, 223, 224
 Цявловский М. А. — 180, 204, 252
 Чаадаев П. Я. — 13, 203
 Чаев Н. А. — 80, 140
 Чайковский П. И. — 78
 Чернышевский Н. Г. — 36, 39, 40, 174, 193, 248
 Чубинский В. В. — 218
 Шатов Ф. — 213
 Шахматов А. А. — 176
 Шевырев С. П. — 148, 197, 216, 238
 Шекспир У. — 10, 13, 14, 65, 121, 122, 146, 150, 151, 175, 195, 209, 221, 232, 240
 Шелгунов Н. В. — 216, 245, 247
 Шелгунова Л. П. — 245
 Шеллинг Ф. В. — 148, 239
 Шидловский — 234
 Шиллер Ф. — 42, 65, 68, 146, 195
 Шпицер С. — 245
 Штакеншнейдер Е. А. — 157, 241
 Шторх Н. А. — 56, 214
 Щербальский П. К. — 213
 Щеголев П. Е. — 180, 196, 201—204, 219
 Щепкин М. П. — 84
 Эйхенбаум Б. М. — 180, 250
 Эмерсон К. — 220
 Энгельгардт Е. А. — 48, 209
 Юренев Г. Н. — 92
 Юрьев С. А. — 64, 80—82, 84, 89—91, 105, 116, 142, 171, 215, 221, 222, 224, 244
 Языков Н. М. — 201
 Якобсон Р. О. — 226, 238
 Яковлев-Богучарский В. Я. — 219
 Якубович П. Ф. — 246
 Якушкин В. Е. — 177, 246, 247
 Ямпольский И. Г. — 208
 Яшин М. — 202
 Ackerman J. G. — 201, 230
 Apicis см. Монтеверде П. А.
 Andrews Н. (Andrews-Rusicka Н.) — 198
 Balmuth D. — 218
 Banac I. — 201, 230
 Barghoorn F. C. — 197
 Belknap R. L. — 237; см. также Белнап Р.
 Berlin I. — 228
 Billington J. — 224, 233—235, 240
 Brooks J. — 199, 200, 230, 246, 248; см. также Брук Д.
 Brownsberger S. — 253
 Christoff P. K. — 198
 Coquart A. — 207; см. также Кокар А.
 Custine A., de — 203
 Deelman C. — 195
 Domherr L. — 252
 Dowler W. — 199, 239
 Driver S. — 202
 Erlich V. — 238
 Forsyth J. — 206
 Friedberg M. — 247
 Carrick D. — 195; см. также Гаррикс Д.
 Gasparov B. — 226

- Gibson A. B. — 239
 Granyard H. — 230
- Horovsky G. — 240
 Hughes R. — 226
- Jernakoff N. — 235
- Katz M. — 217
 Kruptisch V. S. — 239
- Lantz K. A. — 237
 Levitt M. C. — 248, 249
 Lukashevich S. — 198, 223, 245
- McConnell A. — 197
 Malia M. — 197, 237; см. также
 Малия М.
 Malmstad J. — 249
 Morson G. S. — 242
 Moser C. A. — 228
- Nepomnyashchy C. T. — 217
 Netting A. G. — 198; см. также
 Неттинг А.
- Offord D. — 200
 Ong W. J. — 205
- Palmer W. — 240, 242
 Paperno I. — 226
 Pevsner N. A. — 208
 Pipes R. — 197, 245; см. также
 Пайпс Р.
 Poggioli R. — 250; см. также Под-
 жоли Р.
 Pollard A. P. — 198, 222, 233, 235,
 241, 243—245; см. также Пол-
 лард А.
 Pomper P. — 197
- Raeff M. — 199; см. также Рай-
 ефф М.
 Riasanovsky N. — 197
 Russo P. A. — 200, 218
- Schapiro L. — 228, 229
 Schulak H. S. — 206
 Schwartz M. — 246
 Seduro V. — 253; см. также Се-
 дуро В.
 Simmons E. J. — 230, 235, 243,
 246; см. также Симменс Э.
 Sinel A. — 218
 Szporluk R. — 201, 230
- Terras V. — 206, 239
 Thaden E. C. — 199, 217, 227,
 243—245; см. также Таден Э.
 Todd W. M. — 196, 198, 200, 246,
 248; см. также Тодд У.
 Traill H. D. — 196
 Tyrras N. — 246
- Ueland C. — 249
- Venturi F. — 217, 233, 234
 Viardot P. — 230; см. также Ви-
 ардо П.
- Walicki A. — 198, 239, 244
 Wasiolek E. — 238; см. также Ва-
 сиолек Э.
 Ware T. — 240, 242
 Whittaker C. H. — 197
 Whittaker R. T. — 207, 239
 Wortman R. — 217, 245
- Zernov N. — 242
 Zvigilsky A. — 230

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Пушкинские торжества в 1880 г. и кризис русской культуры	7
1. Определение предмета полемики: вопрос о памятнике Пушкину. 1837—1866	27
2. Те, кто не давал огню угаснуть: путь к памятнику. 1869—1880	53
3. Праздник, который устроился сам собою	70
4. Последняя трибуна Тургенева	104
5. Достоевский «эскамотирует» праздник	137
Заключение. Последствия и наследие: Пушкин, 1880—1987 . . .	164
Примечания	195
Аббревиатуры названий архивных учреждений	254
Указатель имен	255

Маркус Ч. Левитт

ЛИТЕРАТУРА И ПОЛИТИКА: ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК 1880 ГОДА

Художник *В. В. Бродский*. Художественный редактор *В. Г. Бахтин*.
Технический редактор *В. И. Демьяненко*. Корректор *Н. В. Евстигнеева*.

ЛР № 062679 от 02.06.93.

Сдано в набор 1.06.94. Подписано к печати 08.07.94. Формат 60×90¹/₁₆.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 16. Тираж
1000 экз. Заказ № 68.

Гуманитарное агентство «Академический проект». 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга» типография № 8 Мининформпечати РФ. 190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6.

ISBN 5—7331—0024—9

Левитт Маркус Ч.

Л 36 Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года/Пер. с англ. И. Н. Владимирова, В. Д. Рака — СПб.: Академический проект, 1994. — 265 с.

Книга открывает серию «Современная западная русистика». Она посвящена детальному описанию торжеств, связанных с открытием в Москве, в 1880 г. памятника Пушкину, и базируется на огромном фотодокументальном материале. История возведения памятника связывается с общим развитием русского самосознания, а сами пушкинские торжества рассматриваются как уникальная для России ситуация единения общества и власти.

Маркус Левитт — профессор славистики университета Юж. Калифорнии (США), автор работ о русской литературе XVIII в. и Пушкине.

83.34 США